

монографии

Консерватизм  
в России и мире  
Часть I



В



Межрегиональные  
исследования  
в общественных науках

Министерство  
образования  
Российской  
Федерации

«ИНОЦЕНТР  
(Информация. Наука.  
Образование)»

Институт имени  
Кеннана Центра  
Вудро Вильсона  
(США)

Корпорация Карнеги  
в Нью-Йорке (США)

Фонд Джона Д. и  
Кэтрин Т. МакАртуров  
(США)



Данное издание осуществлено в рамках программы "Межрегиональные исследования в общественных науках", реализуемой совместно Министерством образования и науки РФ, "ИНОЦЕНТРОм (Информация. Наука. Образование)" и Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона, при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения, отраженная в данном издании, может не совпадать с точкой зрения доноров и организаторов Программы.

Консерватизм  
в России и мире  
Часть I

Воронежский государственный университет

2004

УДК 32 001 (091)

ББК 62.3

К 65

Редакционная коллегия:

*А. Ю. Минаков* (отв. редактор), *С. Г. Алленов*, *М. Д. Довбилов*, *М. Д. Карпачев*,  
*А. В. Макушин*, *А. В. Репников*, *С. В. Хатунцев*.

Авторы:

*Азизова Е. Н.* (раздел II, глава 4), *Вишленкова Е. А.* (раздел I, глава 1), *Довбилов М. Д.* (раздел II, глава 6), *Зверев В. В.* (раздел I, глава 4), *Иванов О. А.* (раздел II, глава 7), *Карпачев М. Д.* (раздел I, глава 5), *Кондаков Ю. Е.* (раздел II, глава 3), *Малинова О. Ю.* (раздел I, глава 2), *Мартин А.* (раздел II, глава 1), *Минаков А. Ю.* (предисловие), *Парсамов В. С.* (раздел II, глава 8), *Севастьянов Ф. Л.* (раздел II, глава 5), *Шелохаев В. В.* (раздел I, глава 3), *Ячменихин К. М.* (раздел II, глава 2).

Печатается по решению совета научных кураторов программы  
«Межрегиональные исследования в общественных науках»

**Консерватизм в России и мире** : в 3 ч. / редкол.: А. Ю. Минаков (отв. ред.)  
К 65 и др. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2004. – (Серия  
«Монографии»; вып. 3). – ISBN 5-9273-0627-6.

Ч. I. – 264 с.

ISBN 5-9273-0628-4 (ч. I)

В коллективной монографии «Консерватизм в России и мире» исследуются актуальные вопросы истории традиционализма, консерватизма и правых идеологий в России и в Европе. Показывая пример сотрудничества исследователей разных школ, поколений и специализаций, эта книга отличается тематическим и жанровым разнообразием, но при этом обладает хорошо продуманной структурой и не всегда присущей подобным изданиям цельностью содержания. Многоплановость монографии позволила ее авторам и составителям наглядно показать богатство проявлений консерватизма как исторического феномена, а также широкий спектр новейших подходов к его изучению.

Монография ориентирована на научных работников, аспирантов, студентов, а также на всех интересующихся проблемами развития российской государственности и общества.

УДК 32 001 (091)

ББК 62.3

Книга распространяется бесплатно

ISBN 5-9273-0628-4 (ч. I)

ISBN 5-9273-0627-6

© Воронежский МИОН, 2004

© Воронежский государственный университет, 2004

*Посвящается светлой памяти  
Юрия Ильича Кирьянова*

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ( <i>Минаков А. Ю.</i> ) .....	8
--	---

## **Раздел I. Теоретические аспекты традиционализма и консерватизма**

Глава 1. Война и мир в политической риторике России первой четверти XIX века ( <i>Вишленкова Е. А.</i> ) .....	13
---	----

Глава 2. Традиционалистская и прогрессистская модели национальной идентичности в общественно-политических дискуссиях 1830 – 1840-х гг. в России ( <i>Малинова О. Ю.</i> ) .....	27
--	----

Глава 3. Состояние современного историографического поля российского либерализма и консерватизма ( <i>Шелохаев В. В.</i> ) .....	50
--	----

Глава 4. Консерватизм элитарный и консерватизм народный ( <i>Зверев В. В.</i> ) .....	62
--	----

Глава 5. Крестьянский консерватизм и аграрные реформы начала XX в. ( <i>Карпачев М. Д.</i> ) .....	72
---	----

**Раздел II. Русский консерватизм  
и русские консерваторы первой  
половины XIX в.**

Глава 1. «Патриархальная» модель общественного устройства и проблемы русской национальной самобытности в «Русском вестнике» С. Н. Глинки (1808 – 1812 гг.) ( <i>Мартин А.</i> ).....	85
Глава 2. «Аракчеевщина»: историографические мифы ( <i>Ячменихин К. М.</i> ).....	117
Глава 3. Автобиография архимандрита Фотия (Спаского): обстоятельства ее создания ( <i>Кондаков Ю. Е.</i> ).....	129
Глава 4. Государственная и общественно-политическая деятельность Д. П. Рунича ( <i>Азизова Е. Н.</i> ).....	143
Глава 5. Консервативная альтернатива кодификации русского права в первой трети XIX в. (к постановке проблемы) ( <i>Севастьянов Ф. Л.</i> ).....	171
Глава 6. «...Считал себя обязанным в сем участвовать»: почему М. Н. Муравьев не отрекся от Союза благоденствия? ( <i>Долбилов М. Д.</i> ).....	191
Глава 7. Формирование консервативной программы министерства народного просвещения во второй половине 20-х гг. XIX в. ( <i>Иванов О. А.</i> ).....	218
Глава 8. Польское восстание 1830 – 1831 гг., государственная идеология и русская поэзия ( <i>Парсамов В. С.</i> ).....	227
Сведения об авторах .....	260

## Предисловие

Консервативная проблематика в последние годы стала одной из приоритетных тем для гуманитариев, что ясно прослеживается как по количеству и качеству публикаций, так и по тому читательскому спросу, которым они пользуются. Одним из возможных объяснений подобного «бума» является не только слабая исследованность русского консерватизма, но и своего рода идеологическая мода, в какой-то мере инспирированная «сверху». Впрочем, представляется, что наиболее основательная причина повышенного исследовательского интереса – объективная общественная потребность в том, чтобы преодолеть российское «красное смещение в политическом спектре» (Д. Галковский), возникшее в XIX и абсолютно доминировавшее в XX в.

Ответом на эту настоятельную потребность в какой-то мере является настоящая монография, прежде всего, как результат усилий большого авторского коллектива, в котором воронежские историки сыграли иницирующую роль [1]. За сравнительно короткое время на базе исторического факультета Воронежского государственного университета при поддержке Воронежского Межрегионального Института Общественных Наук, Института «Открытое общество» и Российского гуманитарного научного фонда были проведены две международные конференции: «Процессы модернизации в России и Европе: социокультурные, политические и духовные аспекты» (27 – 29 июня 2002), в рамках которой работала секция «Консерватизм в России и мире: традиция и модернизация» [2] и «Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее» (30 октября – 1 ноября 2002 г.). По итогам конференций, в которых участвовали

исследователи из России, Украины, Германии и США, была создана Ассоциация исследователей российского традиционализма, консерватизма и правых идеологий, ставящая своей целью комплексное изучение феномена русского консерватизма XVIII – XX вв. На сайте Ассоциации (адрес: conservatism.narod.ru) имеются разделы: «Публикации», «Конференции», «Рецензии», «Классики» [избранные тексты русской и зарубежной консервативной мысли], «Галерея» [портреты и фотографии русских и зарубежных консерваторов], «Новости» [текущая книжная и журнальная информация, сообщения о готовящихся круглых столах, семинарах, конференциях, защитах диссертаций и т. д.], «Библиография» [свыше 1000 наименований], «Контакты» [электронные адреса исследователей], «Ссылки» [Интернет-адреса родственных исследовательских центров и изданий, позиционирующих себя как традиционалистские, консервативные и правые], «Форум» [обеспечивающий оперативную связь между всеми исследователями и пользователями сайта]. Сайт Ассоциации постоянно растет и обновляется, являясь одновременно исследовательским клубом, библиотекой и справочным центром.

Редакция монографии считает своим долгом особо подчеркнуть, что ее позиция определяется прежде всего стремлением максимально полно и объективно исследовать различные аспекты русского консерватизма, избегая по возможности крайней политизированности, характерной, к сожалению, для многих современных исследований по консервативной проблематике. При этом материалы монографии отражают реально существующий в научном сообществе плюрализм мнений и методологических подходов.

Монография посвящена светлой памяти Юрия Ильича Кирьянова (1930 – 2002), доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН, выдающегося отечественного исследователя рабочего и право-консервативного движения в России начала XX в., оказавшего редакторам неоценимую моральную и интеллектуальную поддержку [3].

Аркадий Минаков

1. Предшественником данной монографии был коллективный труд «Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее». Консерватизм в России и мире...: Сб. науч. тр. / Под ред. А. Ю. Минакова. Вып.1. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. Укажем лишь некоторые отзывы и аннотации (всего их около двадцати, причем преобладают рецензии в центральных изданиях), которые на него

появились: [Аннотация] // Эхо: Сб. ст. по новой и новейшей истории Отечества. Вып. 5. М., 2001. С. 121; Р.[оман] Р.[омов]. [Рец.] // Свободная мысль. 2001. № 9. С. 125; Е. Вишленкова. // Ab Imperio. 2001. № 4. С. 467 – 472; [Аннотация] // Родина. 2002. № 2. С. 31; Hans-Heinrich Nolte // Zeitschrift für Weltgeschichte. 2002. № 1. S. 164 – 165; И. А. Христофоров. // Отечественная история. 2002. № 5. С. 200 – 202; С. Н. Полторак. [Рец.] // Клио. 2002. № 3(18). С. 226; Hamburg G. M. Notes. Chronology. Paper. Slavic Review. – Spring 2003. – Vol. 62. – № 1. – P. 177 – 179.

2. Часть материалов этой конференции готовится к публикации в сборнике «Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления», который должен выйти в 2004 году в издательстве Воронежского государственного университета.

3. В монографии публикуется статья Ю. И. Кирьянова «Формирование, принятие программы и тактика Русского собрания».

Вплоть до последних недель своей жизни Юрий Ильич интересовался судьбой данной монографии, постоянно вносил правки в свою главу, делал замечания и т. д.

Теоретические аспекты  
традиционализма и консерватизма

## Глава 1

# Война и мир в политической риторике России первой четверти XIX в.<sup>1</sup>

Исследователь политического сознания России Александровской эпохи неизменно оказывается в довольно сложной лингвистической ситуации. Анализируемые им тексты политической семантики как будто играют с читателем словами-перевертышами. И авторы, которых мы признаем консервативными мыслителями, и либералы говорят о необходимости просвещения, признают значимость прогресса, ценят семью, почитают себя истинными сынами православной церкви, верноподданными российского престола. И при этом мыслят себя идейными противниками. Таким образом, на уровне декларируемых ценностей политический словарь един и едины аффективные окраски составляющих его понятий.

Но если мы попытаемся восстановить консервативный и либеральный тезаурус политической риторики, то получим любопытную картину: в «консервативном лагере» окажутся слова-символы, строительный материал для конструирования социального идеала («традиция», «прошлое», «старина»). Либеральный словарь будет изобиловать словами, семантика которых относится к методам

---

<sup>1</sup> Поддержка данного проекта была осуществлена АНО ИНО-Центр в рамках программы Межрегиональные исследования в общественных науках совместно с Министерством образования Российской Федерации, Институтом перспективных российских исследований им. Кеннана (США) при участии Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения, отраженная в данной главе, может не совпадать с точкой зрения вышеперечисленных благотворительных организаций.

решения политических проблем («революция», «конституция», «представительное правление», «эволюция»). Таким образом, мы получим гипотезу о демаркационной линии внутри оппозиции «консерватизм – либерализм»: она лежит в присущем данному человеку способе освоения пространства политического. Причем индивидуальная готовность разрешать политические проблемы тем или иным способом может быть ситуативной и не иметь определенного алгоритма. Постараюсь продемонстрировать это на истории использования в риторической практике первой четверти XIX века культурных универсалий – «война» и «мир», показать характерные для того времени способы порождения смыслов политических ситуаций. Полагаю, что это позволит напомнить о зыбкости границ «консерватизма» в исследуемое время.

Война является важнейшим элементом культурной рефлексии. И если на одном полюсе в ходе войны нередко разрушаются культурные ценности, не только материальные, но и нравственные, то на другом полюсе как бы в порядке компенсации стимулируется создание культурных текстов, осмысляющих войну с тем, что представления о войне неизбежно предполагают наличие тех или иных представлений о мире. По тому, каким образом понятия войны и мира вписываются в аксиологическую модель культуры, можно судить о ней самой.

В настоящей работе я бы хотела указать на специфику осмысления проблем войны и мира в русской культуре первой четверти XIX в. Данная эпоха выбрана не случайно. Во-первых, этот период и в России, и в Европе отмечен небывалой за всю новую историю военной активностью. По подсчетам Н. А. Троицкого, с 1805 по 1812 г., т. е. всего за 8 лет, Россия провела 8 войн: в 1805, 1806 – 1807 и 1812 гг. – с Францией, в 1806 – 1812 гг. – с Турцией, в 1806 – 1813 гг. – с Ираном, в 1807 – 1812 гг. – с Англией, в 1808 – 1809 гг. – со Швецией, в 1809 г. – с Австрией (последние пять войн – одновременно) [1].

Во-вторых, в рассматриваемый период Россия была в наибольшей степени по сравнению со всеми предшествующими этапами ее истории интегрирована в Европу. Сто лет, прошедшие после

Петровских реформ, принесли свои плоды, и русская культура не только начала осмыслять себя как культура европейская, но и в действительности сделалась таковой. Победа над наполеоновской Францией позволила петербургскому кабинету фактически формировать общеевропейскую политику. В 1815 г. Александр I выступил с известной, но до сих пор еще недостаточно осмысленной идеей Священного союза, положившего начало мирному сосуществованию в Европе.

В-третьих, относительная либерализация общественного мнения в александровской России способствовала быстрой и довольно откровенной реакции общества на происходящие события в Европе и России. Множество публицистических и художественных произведений, преобразовательных проектов, писем, мемуаров и т. д. так или иначе затрагивают проблему жизни общества в условиях войны и мира. И, наконец, в-четвертых, русское офицерство играло исключительно важную роль в динамике русской культуры того времени, что уже само по себе актуализировало интересующую нас проблему.

Итак, предметом исследования является культурная рефлексия над понятиями война и мир. Универсальный характер данной позиции обусловлен тем, что вовлекает в себя целую парадигму других важнейших понятий. Если мир в рассматриваемый период противопоставляется только войне и мыслится в первую очередь как отсутствие войны, то само понятие войны включается в целую систему противопоставлений: *война – парад; война – религия; война – деспотизм; военная служба – чиновничья служба; война – народное восстание; война – революция* и т. д. Кроме того, война оказывается в одном ряду с такими ключевыми понятиями, как *свобода, честь, слава, карьера, благородство, искусство* и др. Это выводит ее за рамки политико-социально-экономических отношений и делает важным элементом общекультурного пространства.

Представления о войне и мире людей начала XIX в. формировались как под воздействием внешнеполитического курса России второй половины XVIII в., так и под воздействием просветительской философии. Первый аспект прочно ассоциировал войну со славой и победой. Имена крупных военачальников мифологизи-

ровались культурным сознанием и возводились в ранг античных героев и богов.

Что касается философии Просвещения, то здесь война оценивалась по-разному, в зависимости от того, чему она противопоставлялась. В фундаментальной для Просвещения оппозиции *Разум – Предрассудки* война относилась к предрассудкам и мыслилась как некая аномалия – «судорожная и жестокая болезнь политического организма» (Дидро). Но при этом в противопоставлении *Свобода – Деспотизм* война могла осмысляться как средство борьбы против тирании за восстановление исконной свободы. В представлении Руссо и Радищева, народ имеет безусловное право на вооруженное восстание в случае узурпации его природных прав. Войны же, которые правительства ведут между собой, заслуживают осуждения. Отсюда противопоставление справедливых и несправедливых войн, проведенное Л. де Трессаном. Справедливая война есть неотъемлемое, естественное право человека и государства на самозащиту. Все войны, преследующие иные цели, признаются несправедливыми.

Вступление Александра I на престол было воспринято обществом как возвращение к политическим принципам Екатерины II на новом историческом этапе. Эти ожидания, в частности, были высказаны Н. М. Карамзиным в стихотворении «Его императорскому величеству Александру I, самодержцу всероссийскому, на восшествие его на престол». Екатерина прославила русское оружие (*Уже воинской нашей славы // Исполнен весь обширный свет*), а Александр должен продолжить ее славные дела, но уже не на военном, а на мирном поприще (*Монарх! Довольно лавров славы, // Довольно ужасов войны! <...> // Ты будешь гением покоя*).

Любопытно отметить, что сам Александр I, будущий идеолог Священного союза, на раннем этапе своего правления отказ от войны в области внешней политики формулировал как принцип невмешательства во внутренние дела государств [2]. Во внутренней политике идее войны противостояла идея законности, правда, по-разному понимаемая и самим императором, и обществом. О том, насколько в тот момент молодой царь был охвачен идеей внутреннего реформаторства и как мало внимания уделял

военным делам, свидетельствуют записи П. А. Строганова: «Что касается военных дел, то они мало значительны и ограничиваются производством по службе и слушанием докладов в военном совете» [3]. Жозеф де Местр, ожидавший от петербургского кабинета решительных военных действий против наполеоновской Франции, сокрушался: «У Русского Императора только два помышления: мир и бережливость» [4].

Восшествие Александра на престол и первые годы его правления проходили в обстановке относительного затишья в Европе. Казалось, что с революционными войнами покончено и можно заниматься внутренними делами. Причем идеи европейского мира и порядка в этот период ассоциируются с Наполеоном, о чем довольно много говорится на страницах «Вестника Европы» Карамзина.

Для русского дворянина той поры противопоставление войны и мира необязательно имело характер оценочной альтернативы. Слишком много отрадных для патриотического чувства воспоминаний было связано с военными победами екатерининских и павловских времен. Появлялись даже довольно причудливые идеи соединения военного и мирного труда. Так, например, В. Н. Карзин в записке на имя царя в марте 1801 г., высказывая надежду, что «вооруженная сила не останется бесполезною», фактически предвосхитил идею военных поселений: «Он <Александр I> соединит война с поселянином» [5].

Несколько позже, но еще до военных поселений, эта идея в инверсионном виде воплотилась в манифесте об организации «внутренней временной милиции» (1806 г.), куда рекрутировались крестьяне. Приветствуя этот манифест, Г. Р. Державин писал: *Ура, российские крестьяне // В труде и в бое молодцы.*

Вступление России в антифранцузскую коалицию и начало боевых действий в целом с одобрением было встречено обществом. С одной стороны, это было обусловлено мощным пропагандистским воздействием со стороны правительства, а с другой – откровенно захватнической политикой самого Наполеона. Своего рода детонатор этих настроений послужил расстрел герцога Энгиенского, организованный Талейраном. Активную роль в антинаполеоновской пропаганде и соответственно в пропаганде войны против

него в эти годы (1805 – 1807) играет церковь и литература. В христианской системе противопоставлений Наполеон выступает как Антихрист. Поэтическая традиция широко использует языческую символику, изображая Наполеона как явление хаоса, лишенное антропоморфных черт: *Стальночешуйчатый, крылатый // Серпокохтистый, двурогатый, // С наполненным зубов-ножзей, разверстым ртом, // Стоящим на хребте щетинным тростником, // С горящими, как уголь, кровавыми глазами // От коих по водам огонь стелется струями* и т. д. (Г. Р. Державин). Война против Наполеона мыслится как война за свободу. Державин в цитируемом стихотворении уподобляет Европу Андромеде, а Россию – Персею. Наполеон, соответственно, то чудовище, которое приковало Андромеду к скале.

Пик военно-патриотических настроений пришелся не на 1805 год, когда Россия вступила в войну, а на 1806 год и был вызван в первую очередь Аустерлицким поражением. Даже Карамзин, который еще совсем недавно был противником войны, пишет патриотическое стихотворение «Песнь воинов», где призывает продолжать войну: *Еще судьба не решена! // Не торжествуй, о Гал надменный! // Твоя победа неверна: // Се росс, тобой не одоленный!*

Тильзитский мир впервые в александровское царствование провел разделительную черту между правительственным курсом и общественным мнением по вопросу войны и мира. Сам император стремился вернуться к мирной политике начала своего царствования и вновь заняться законотворчеством. Но если в первые годы его правления такая политика на фоне предшествующих военных побед казалась вполне естественной и необходимой, то теперь, на фоне унижительных поражений, она воспринималась как предательство национальных интересов. Общество резко поделилось на немногочисленных сторонников правительственного курса и на большинство, его не приемлющее. Если первые отстаивали идеи мира, то для вторых были характерны настроения осажденного города. Вот тогда и формируется идея внутреннего врага, питающая оппозиционные и ксенофобские настроения.

Правительство в этот период было не в состоянии управлять общественным мнением и вынуждено перейти к обороне, про-

явившейся в цензурных запретах на негативные высказывания о наполеоновской Франции, что еще в большей степени спровоцировало подобные выпады. На имя самого царя шли письма, требующие смены политического курса. Одно из них (автор неизвестен) начинается так: «Государь! Время, в которое я осмеливаюсь призывать внимание Вашего Императорского Величества на обозрение пользы народа, коего вы Отец! может быть есть последнее, которое всем остается для избежания ужасного, но неизбежного падения, которое угрожает Отечеству всему и его главе, как и последнему из его подданных!» [6]. Любопытно, что не война, а мир в этом документе ассоциируется с концом света. Автор прямо не призывает к началу войны, подспудно полагая, что она еще не окончилась и что враг уже находится внутри государства.

Сила подобного рода настроений и их популярность в обществе в первую очередь объясняется действительно невыгодными и унижительными для России условиями тильзитского договора. Оба эти фактора обусловили в итоге новую смену правительственного курса и начало подготовки к войне с Францией.

1812 год принес совершенно новое понимание войны. Представление о войне как о «споре между государями или государствами, который решается силой оружия» (Л. де Трессан) если и не вытесняется вовсе, то, во всяком случае, начинает конкурировать с идеей народной войны. Сама эта идея рождалась на смене культурных парадигм. Просветительское представление о народе как о некой коллективной личности, лишенной специфических национальных черт, сменилось романтическим представлением о народе как о совокупности уникальных языковых, психологических, культурных, исторических и т. д. качеств. С одной стороны, народ, воюющий против Наполеона, мыслится как единое тело, как коллективная личность, или как организованное общество, отечество и т. д. [7]. Он является воплощением руссоистской идеи общей воли, не только ставящей интересы народного целого выше индивидуальных устремлений, но и практически полностью исключаящей их. По словам Ф. Глинки, «в отечественной войне и люди ничто!» [8]. С другой стороны, Денис Давыдов уже вынужден переодеваться в

русский народный костюм, отпустить бороду и носить на груди образ Николая угодника. И не случайно народная война ассоциируется у него не с идеями Руссо, а со «строфой Байрона».

Если в 1812 г. идея войны строилась на отрицании мыслей о мире (мирные предложения исходят от Наполеона, а Александр упорно продолжает войну), то в 1813 г. ситуация меняется. Русская пропаганда оказалась перед необходимостью объяснять европейцам смысл присутствия большого количества русских войск в Европе. Так родилась идея войны ради мира. Усталость народов Европы от войны породила в общественном сознании представление о ней как об архаизме. С наибольшей полнотой эти идеи выразил Бенжамен Констан в своей знаменитой брошюре «О духе завоевания и узурпации в отношении к европейской цивилизации». Принципиально новым в ней было противопоставление двух концепций свободы: античной и современной. В античности, по мнению Констан, свобода обеспечивалась войнами и понималась как свобода всего народа, без выделения личностного начала. В современности свобода обеспечивалась торговлей и понималась прежде всего как свобода отдельно взятой личности.

Изгнание Наполеона из Франции поставило вопрос о новом послевоенном устройстве Европы. Идея общеевропейского мира неизбежно должна была стать конструирующим принципом. Александр I откликнулся на этот запрос времени актом о Священном союзе. Существующая давняя традиция рассматривать идею Священного союза в контексте мистических увлечений императора исчерпала свои когнитивные возможности.

Исследователей в данном случае сбивают с толку два обстоятельства. Во-первых, увлечение Александра I мистицизмом, а во-вторых, евангельская лексика самого текста договора. Что касается первого обстоятельства, то увлечение царя мистикой началось еще до войны, и прямого отношения к проблемам войны и мира не имело. Что же касается евангельского учения, на основе которого Александр предложил строить новые отношения в Европе, то почему оно обязательно связано с мистицизмом? Мистическую сторону христианской религии составляет, как известно, учение о чуде, но именно этот аспект в тексте договора отсутствует. Ев-

ропейским монархам предлагается «руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сей святой веры, заповедями любви, правды и мира».

Ключевым для данного текста является слово «мир», которое ассоциируется с такими понятиями, как *любовь, семья, братство* и т. д. Вещи столь же очевидные для христианской этики, сколь и непривычные для политического языка той эпохи. Именно неожиданность для международной политики такого рода выразительных средств, помноженная на ставшую притчей во языцех неискренность царя, склонного к тому же к мистицизму, и позволила видеть в этом некий иной, непостижимый смысл, и отсюда возникла мистическая трактовка идей Священного союза.

В действительности же мы имеем дело с попыткой переосмысления просветительских идей с позиций христианской морали. Первое, что обращает на себя внимание, это то, что Александр предлагает строить внутривнутриполитические и внешнеполитические отношения на одних и тех же принципах. Для просветительской мысли было характерно противопоставление внутренней политики, основанной на идее общественного договора, и внешней, в основе которой лежит естественное право. Идее общественного договора царь противопоставляет семейные отношения, основанные на любви. Сама идея любви делает излишним любой договор. Соответственно во внешней политике монархи должны руководствоваться не принципами эгоизма, а братскими отношениями, связывающими членов родственных семей.

Таким образом, нет никаких оснований трактовать эти идеи как мистические. Они скорее утопические. Однако прежде чем говорить об их беспочвенности, следует учесть своеобразие того исторического момента, когда они были высказаны. Позади были годы международной политики, основанной на эгоизме и откровенном цинизме, окончившиеся крахом, обнаружившим всю их непривлекательность. И как в этих условиях было не попробовать строить политические отношения на простых и всем понятных принципах христианской морали! В мемуарных и исследовательских суждениях о Священном союзе происходит наложение намерений царя на знание об их практическом вопло-

щении. Между тем, для уяснения смысла, который Александр вкладывал в свое детище, необходимо смотреть на проблему не ретроспективно, а исторически, то есть проследить появление и развитие тех идей, которые отразятся в тексте договора.

Полагаю, что, помимо общехристианских идей, идея Священного союза подпитывалась лежащей на периферии просветительской мысли идеей вечного мира. Сформулированная в начале XVI-II в. аббатом Сен-Пьером проблема вечного мира позже привлекла внимание Руссо, изложившего обширный трактат Сен-Пьера в двух небольших статьях. Привлекательность этих мыслей для Александра усиливалась тем, что они связывались с политикой такого популярного монарха, как Генрих IV, и его министра Сюлли. В свое время Генрих IV обдумывал и даже пытался воплотить в жизнь проект Христианской республики, объединявшей европейские монархии, в противовес австрийскому господству в Европе. Идеи религиозной терпимости и утверждение единства христианской веры противостояли в то время губительной практике религиозных войн. Для Александра I, который в мирной Европе претендовал на роль, какую Наполеон играл в военной, и рассчитывал стать, по выражению Карамзина, «гением покоя», важен был исторический прецедент, и фигура Генриха IV, самого популярного и миролюбивого монарха Франции, была для русского царя актуальной и весьма привлекательной. Традиционно с личностью Генриха IV так же связывались идеи соединения политики и морали, как с Наполеоном принципы макиавеллизма.

В эти годы знаком моральной политики становится христианско-пацифистская риторика. «Принципы морали, справедливости, прямоты, коими определяется в наши дни европейская политика», «охранение мира», «международное право», «политическая мораль», «терпение, мудрость, умеренность» – вот ключевые термины дипломатических документов российского МИДа в послевоенное десятилетие.

Тем не менее, Александру I не удалось христианизировать общественное сознание в России. С одной стороны, победа над Францией и вызванный ею бурный патриотический подъем явно не способствовали распространению идей пацифизма. С другой

стороны, личность самого Александра, несмотря на всю его популярность тех лет, оставляла почву для сомнения в искренности его христианских устремлений. «Люди, хорошо знавшие характер императора Александра и его тогдашний образ мыслей, – писал Н. И. Тургенев, – вовсе не придавали важного значения христианской идее этого союза, которая у него оказалась всего лишь минутным порывом» [9]. Популярность Александра в 1814-15 гг. связывается с образом победителя Наполеона и освободителя Европы, а не миротворца.

За пять лет, отделяющих подписание акта Священного союза от начала европейских революций, идея мира так и не была ассимилирована русской культурой. С войной слишком прочно в этот период связаны идеи свободы, чести и славы. Идею мира еще предстояло осмыслить. Однако европейская политика складывалась таким образом, что мир все больше и больше воспринимался как остановка в общественном и национальном развитии. Менялось соотношение войны и революции. Если антинаполеоновские войны мыслились как борьба против революционной Франции, а сам Наполеон воспринимался как порождение революции, то в условиях мирной Европы разбуженное этими войнами национальное самосознание трансформировало идеи международной войны в войну внутреннюю против своего правительства. Это привело к началу военных революций в Европе и, как следствие, к замыслу аналогичной революции в России. Начавшееся в 1821 г. греческое восстание вновь актуализировало идею внешней войны как освобождения. Общественное ожидание того, что Россия начнет войну против Турции за свободу греков, отразилось в целом ряде произведений с военной тематикой. Пушкин в 1821 г. пишет стихотворение «Война», где собственно греческая тема отсутствует, однако прославляется война как губительная, но в то же время бодрящая душу страсть, исполненная высокой поэзии.

Почти одновременно с написанием этого стихотворения поэт делает заметки «О вечном мире», в которых излагает размышления Руссо над миротворческими идеями аббата де Сен-Пьера. Такое соединение столь противоречивых идей, прославляющих войну и отрицающих ее, нуждается в пояснении. Дело в том, что

проблема вечного мира в руссоистском варианте не только не исключала, но подразумевала насилие: «Это может быть достигнуто лишь средствами жестокими и ужасными для человечества» [10]. Пушкин считал, что революции, начавшиеся на юге Европы, а также греческое восстание против турецкого султана и есть те «ужасные средства», которые покончат со старым порядком и на его обломках можно будет создать новое европейское сообщество, на новых принципах.

Не отрицая идею военной революции как таковую, Пушкин вместе с тем внимательно присматривался к тем людям, которые намереваются ее осуществить. Особое беспокойство у него вызывал М. Ф. Орлов. Именно с ним Пушкин спорил с позиций вечного мира, видимо, зная, что Орлов в это время готовил свою дивизию к вооруженному восстанию. Военные революции чреваты рецидивом бонапартизма, который неизбежно приведет не к вечному миру, а к новому витку насилия. Другим идеологом военной революции, вызывавшим столь же недоверчивое отношение Пушкина, был Пестель, по замыслу которого военная революция должна была в перспективе вылиться в установление диктатуры в России и в революционную войну в Европе.

Пушкинская идея вечного мира противостояла не войне как таковой, а тому порядку, который был установлен в Европе Священным союзом. Мир, о котором говорил Пушкин, и мир, о котором шла речь в акте Священного союза – понятия совершенно различные. Для Александра I мир – это отсутствие революций и войн. Для Пушкина – определенным образом устроенный общеевропейский порядок, гарантируемый не армиями, а конституциями. Таким образом, мир ассоциируется с конституцией, а война мыслится как путь к ее установлению. Отрицая миротворческие идеи Александра I 1813 – 1815 гг., Пушкин фактически их воспроизводит в иной идеологической модификации. Если в Священном союзе либералы усматривали «сговор государей против народов» (Н. И. Тургенев), то Пушкин вслед за Руссо речь ведет о договоре народов против монархов.

Ситуация коренным образом изменилась в 1823 г., когда Священный союз одержал самую крупную за свою историю победу.

Революционное движение во всей Европе было подавлено. Это вызвало глубокий идейный кризис в общественном сознании. Одним из его проявлений стало переосмысление проблем войны и мира.

Теперь у Пушкина мир связывается уже не с конституционной свободой, а с реакцией. В 1824 г. он пишет два стихотворения (оба остались незавершенными): «Недвижный страж дремал на царственном пороге» и «Зачем ты послан был и кто тебя послал». В первом стихотворении мир отчетливо ассоциируется с неволей и позором. Что касается войны, то ее проблематика лишь намечена в образе Наполеона. Смещая времена, Пушкин сталкивает Александра, стоящего во главе Священного союза и несущего миру «тихую неволю», и Наполеона в момент его наивысшей славы – в период между Аустерлицем и Тильзитом. На этом текст обрывается. Зато военная проблематика, включающая в себя и проблему революционного насилия, находится в центре второго отрывка. Здесь война связывается с неволей: *мечи и цепи зазвучали*. Однако прекращение ее приводит не к свободе, а к развратному и продажному миру: *за золото продал брата брат*. В итоге война и мир как бы уравниваются в своей бесчеловечности и сама человеческая жизнь становится призрачной тенью, достойной презрения.

Александровская эпоха клонилась к закату. Миротворческая концепция Священного союза, закрепленная в договорах 1815 – 1818 годов, не выдержала испытания. Неравенство в распределении власти между участниками европейского сообщества позволяло более сильным державам блокировать насилие, идущее от периферийных европейских стран. Но это достигалось ценой нарастающего насилия, исходящего от Священного союза, что само по себе разрушало его идеологию и было индикатором распада его властных ресурсов. Это дискредитировало саму идею мира, все больше и больше ассоциирующегося с деспотизмом. Выход из тупика проходил через войну как способ обновления общественной жизни внутри России и в Европе. Поэтому, когда Николай I активизировал восточную политику и оказал вооруженную помощь Греции, это было воспринято обществом как начало позитивных перемен во внешней и внутренней политике. На какой-то период правительственный курс и общественное мнение опять совпали.

1. *Троицкий Н. А.* 1812. Великий год России. М., 1988. С. 20.
2. Летом 1801 г. русские представители в Лондоне, Вене и Берлине получили рескрипт от высочайшего имени, в котором, между прочим, говорилось: «Я не вмешиваюсь во внутренние несогласия, волнующие другие государства; мне нет нужды, какую бы форму правления ни установили у себя народы, пусть только и в отношении к моей империи руководствуются тем же духом терпимости, каким руководствуюсь и я, и мы останемся в самых дружественных отношениях» (Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. II. СПб., 1897. С. 59).
3. Там же. С. 331 (оригинал по-французски).
4. Цит. по: Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I. Опыт исторического исследования. Т. 1. СПб., 1912. С. 33.
5. Шильдер Н. К. Указ. соч. Т. II. С. 329.
6. Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I. Т. 1. С. 576. О проблеме авторства этого документа см.: Парсамов В. С. Жозеф де Местр и Михаил Орлов (К истокам политической биографии декабриста) // Отечественная история. 2001. № 1. С. 33 – 36.
7. Ср. из обращения М. И. Кутузова к жителям Смоленской губернии в 1812 г.: «Царство Российское издревле было едина душа и едино тело» (*Кутузов М. И.* Письма. Записки. М., 1989. С. 313).
8. *Глинка Ф. Н.* Письма русского офицера. М., 1987. С. 21.
9. *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 2001. С. 47.
10. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1958. Т. 7. С. 749.

## Глава 2

### Традиционалистская и прогрессистская модели национальной идентичности в общественно-политических дискуссиях 1830 – 1840-х гг. в России<sup>1</sup>

XIX век часто называют «веком идеологий»: пользуясь термином К. Манхейма, можно сказать, что именно в этот период активно формировались основные «стили мышления», определявшие различные способы осмысления проблем, поставленных современностью. Разумеется, идеи, развивавшиеся либерализмом, социализмом и консерватизмом, имели долгую родословную. Однако именно после Французской революции в Европе оказались запущены те процессы политической трансформации, которые придавали «идеям» новые функции и новое качество. Складывавшиеся системы «смысловых значений» помогали различным социальным группам ориентироваться в быстро меняющейся действительности, создавая необходимые предпосылки коллективного действия, «упрощая и унифицируя во имя деятельности многообразие жизни» [1]. Будучи одним из механизмов, определяющих поведенческие практики, идеи и сами становились частью социальной реальности. Одной из таких «влиятельных» идей, несомненно, была идея нации. (Автор разделяет подход, при котором нации рассматриваются как «воображаемые сообщества» (термин Б. Андерсона), «возникновение» которых является результатом становления определенных дискурсивных практик [2]. Идея нации включает в себя комплекс представлений о том, что такое нации, каковы критерии принадлежности к

---

<sup>1</sup> Исследование проводится при поддержке РГНФ, грант № 03-03-00203а.

ним, чем определяется идентичность данной конкретной нации, что этой идентичности угрожает и что нужно для ее благополучия. В сумме эти представления задают некую систему координат, определяющих, кто есть мы, составляющие нацию, чем мы отличаемся от других и каковы наши перспективы. Формирование и последующая трансформация такой идеи представляют собой динамичный процесс, в ходе которого, как правило, соперничают между собой несколько альтернативных проектов.)

Хотя политическая теория издавна признавала наличие у народов и государств исторически сложившихся культурных и языковых различий, лишь после Французской революции этому факту начинают придавать определяющее значение для конституирования политических сообществ. В этом смысле нации – новое для XIX века явление, которое по-разному осмысливалось в различных идеологических традициях. Каждая из них внесла свой вклад в формирование того, что принято называть национализмом. Следует отметить, что последний занимает особое место в ряду «измов», ибо не претендует на оформление всесторонней политической картины мира и отличается исключительной способностью к взаимодействию с разными «стилями мышления». По словам британского социолога Э. Смита, «у национализма нет своей теории относительно того, как может быть реализована воля нации или образованы ее границы; для решения этих задач он нуждается в других идеологиях, от либерализма до коммунизма и расизма. Базовые доктрины национализма дают всего лишь схему социального и политического миропорядка, которая должна быть заполнена благодаря другим системам идей и конкретным обстоятельствам, в которых оказывается то или иное сообщество» [3]. Таким образом, и либералы, и консерваторы, и социалисты участвовали в становлении националистических дискурсов в разных странах, предлагая собственные интерпретации феномена нации и вытекающих из него политических и культурных притязаний. Сравнительный анализ трактовок нации, предложенных либералами и консерваторами, позволяет лучше понять не только динамику развития конкретных националистических дискурсов в тех или иных странах, но и специфику каждого из мировоззрений.

Очевидно, что особенности консервативного и либерального национализма могут существенно варьироваться в зависимости от условий, в которых формируются и протекают соответствующие дискурсы. Поэтому выработанные в рамках этих мировоззрений интерпретации идеи нации следует изучать в конкретном контексте. Благодатный материал для такого исследования дают общественно-политические дискуссии, имевшие место в 1830 – 1840-х гг. в России. Задача настоящей статьи – реконструировать в представлениях участников этих дискуссий то, что может быть названо традиционалистской и прогрессистской моделями идеи нации. В целях компактности изложения мы сосредоточим внимание на позициях двух главных лагерей в этих спорах – славянофилов и западников, хотя реальный спектр позиций, безусловно, был гораздо шире.

Мы оставляем в стороне вопрос о том, в какой мере славянофилов и западников можно рассматривать в качестве, соответственно, консерваторов или либералов [4]. Безусловно, для такого рода характеристик имеются определенные основания, хотя несомненно и то, что и «консерваторы», и «либералы» в самодержавной крепостнической России не могли не отличаться от своих прообразов в западноевропейских странах. Для нас существенно то, что модели национальной идентичности, которые реконструируются в позициях славянофилов и западников, действительно являются выражением двух отчетливо разных стилей мышления – традиционалистского (где традиция интерпретируется в духе консервативной утопии) и прогрессистского (где смысл и механизмы прогресса понимаются так, как это характерно для либеральной теории). Поэтому анализ дискуссий 1830 – 1840-х гг. – периода, чрезвычайно важного для формирования националистического дискурса в России, – проливает свет на то, какую роль в этом процессе играли консервативные и либеральные идеи.

Для осуществления сравнительного анализа будет полезной категория «стилей мышления», предложенная К. Манхеймом: мы можем рассматривать либерализм и консерватизм не только как оппозиционные друг другу системы идей, различающиеся набором ценностей и принципов, но и как разные способы интерпретации

одной и той же социальной реальности. В таком случае, по мысли Манхейма, «ядром нашей исследовательской техники будет... *анализ значений*. Слова никогда не означают одно и то же, если произносятся представителями разных общественных групп, даже в одной стране. А небольшие различия смысла служат лучшим проводником к различным мыслительным тенденциям определенного общества» [5]. Автор «Консервативной мысли» блестяще показал различие двух стилей мышления на примерах категорий свободы и собственности. Мы попытаемся понять, как интерпретировалась в рамках этих стилей категория нации.

Впрочем, термин «категория» в данном случае не совсем точен: в дискуссиях 1830 – 1840-х гг. слова «нация», «национальное», «национальность» не выступали в качестве ключевых понятий, по-разному определяемых участниками дискуссии. У оппонентов, по-видимому, не было особой потребности привязывать эти слова к точным дефинициям (хотя в некоторых текстах и предпринимались попытки развести и определить понятия «нация», «национальность» и «народ», «народность» [6], однако предложенные интерпретации не отличались единообразием и не оказали видимого влияния на использование этих терминов). Главным предметом споров был вопрос о характере русской национальной идентичности и ее отношении к европейской культуре. Для обозначения субъекта этой идентичности использовалось преимущественно местоимение «мы». Примечательно, что никто из участников дискуссии не использовал в качестве синонима этого «мы» подлежащее «русские». Можно лишь строить предположения, было ли это следствием неактуальности этнических характеристик по сравнению с культурными или сказывалось чересчур очевидное расстояние между образованной элитой, мучительно решающей вопрос о культурной идентичности, и народом. Наконец, отчетливой потребности в определении «нас» в качестве нации могло не возникать и по причине того, что политическая составляющая данного понятия (нация как легитимная основа политического сообщества) не была предметом обсуждения. Западники и славянофилы предлагали разные модели понимания (и конструирования) русской национальной идентичности в уже существующем

государстве, которое бесспорно полагалось русским. Для них, как позже для В. Соловьева, национальный вопрос был «вопросом не о существовании, а о *достойном* существовании». Перед Россией не стояла проблема интеграции нации в одно политическое целое (как перед Германией и Италией) и не обозначилась еще в полный рост перспектива стремления к национальной самостоятельности народов, вошедших в состав империи. Единственным исключением была Польша, но в 1830 – 1840-х гг. общественное мнение еще не было взбудоражено «польским вопросом» так, как это будет после восстания 1863 г. Оба лагеря мыслили русскую идентичность в «спокойном» имперском контексте. У их представителей не вызывал сомнения сам факт наличия «национальной жизни» в русском народе, равно как и его перспективы стать «историческим народом», призванным «сказать свое слово». Расхождения касались того, каким должно быть это «слово», и что нужно сделать, чтобы предстоящая миссия могла быть выполнена. Наиболее актуальным аспектом идеи нации был вопрос о содержании и перспективах русской национальной идентичности, а не о способах конституирования нации и критериях принадлежности к ней.

Русская общественная мысль 1830 – 1840-х гг., несомненно, развивалась в русле европейских тенденций и подошла к осмыслению идеи нации вполне синхронно с Европой. То обстоятельство, что оба лагеря формулировали свое кредо в контексте европейских интеллектуальных веяний, отмечалось и современниками, и исследователями. Однако комплекс проблем, осмысление которых выливалось в формирование идеи нации, в России был отличен от большинства стран Западной Европы. Главной в этом комплексе становилась проблема сохранения национальной идентичности в ситуации «догоняющей модернизации», и то или иное решение этой проблемы (тоже-Европа или не-Европа) было связано с готовностью или неготовностью поддержать программу модернизации, причем в ситуации, когда очевидны стали не только преимущества, но и недостатки буржуазного развития.

Стержнем споров 1830 – 1840-х гг. был вопрос об оценке влияния «европейской образованности» на русское общество и о перспективах сохранения и развития национальной идентичности

последнего. Позиции западников и славянофилов здесь отчетливо различались, хотя эти различия и не были так резки, как стороны пытались представить в пылу полемики. Оба лагеря признавали существенное отличие русской истории от европейской, основывая свои концепции на примерно одинаковой сравнительно-исторической схеме. И те, и другие так или иначе объясняли *необходимость* петровских реформ и сближения с Европой. Славянофилы в 1830 – 1840-х гг. не призывали отказаться от плодов европейского просвещения и возражали против воскрешения отживших старых форм [7]. Западники говорили о необходимости вступления русского общества в новую «самобытную» стадию развития [8]. И те, и другие признавали, что под влиянием чужой культуры усвоено может быть только то, что народ способен воспринять [9]. И тем не менее, различия касались отнюдь не деталей. Спорящие стороны действительно по-разному видели перспективы русской «самобытности»: если западники говорили о необходимости «быть русскими в европейском духе» [10], то славянофилы полагали, что одно исключает другое и призывали интеллектуальную элиту осознать односторонность европейского просвещения и «обратиться к чистым источникам древней православной веры своего народа» [11]. Налицо были две модели национальной идентичности, основанные на разных типах мировоззрения.

Примечательно, что различались оценки не только русской, но и европейской идентичности. Проблема культурного своеобразия наций была поднята в Европе консервативными романтиками; русские западники и славянофилы были неплохо знакомы с их идеями. В своей наиболее «западнической» статье «Девятнадцатый век» И. В. Киреевский даже упрекал «обвинителей великого создателя новой России» в том, что их «стремление к национальности есть не что иное, как непонятое повторение мыслей... европейских» [12]. Однако позже акценты изменились, и в 1845 г. он, напротив подчеркивал тенденцию стирания культурных различий в Европе. По мысли Киреевского, эта тенденция оказалась парадоксальным результатом стремления «каждого народа изучить, восстановить и сохранить свою национальную особенность»; но поскольку «в общей основе европейской жизни лежит одно господствующее

начало», именно оно и было обнаружено в результате поисков истоков национальных традиций [13]. Подчеркивая культурное единство Европы, славянофилы утверждали принципиальное отличие российского общества от западного. В силу этого, хотя по европейским меркам наша страна и является отсталой, залогом ее великого будущего является «самобытное» развитие. Согласно метафоре Киреевского, «вы конечно не услужите дубу тем, что привьете к нему ракиту», хотя последняя растет быстрее, «рано даст тень, рано кажется деревом и годится на дрова» [14].

Западники, напротив, стремились представить Россию страной, которая обладает такой же «национальной физиономией», как и каждая отдельно взятая страна Европы. Интенсивный культурный обмен, по их мнению, не отменяет национальных различий. Отмечая тенденцию к сближению народов, Белинский писал, что «из этого отнюдь не следует, чтобы просвещение сглаживало народности и делало все народы похожими один на другой, как две капли воды. Напротив, наше время есть по преимуществу время сильного развития национальностей. Француз хочет быть французом и требует от немца, чтобы тот был немцем, и только на этом основании и интересуется им. В таких точно отношениях находятся теперь друг к другу все европейские народы. А между тем они нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности» [15]. Таким образом, в интерпретации западников, Европа – это не царство единственного господствующего начала, а ансамбль разных культур, в который может войти и Россия с ее особенностями.

Оба лагеря рассматривали нации как составные части одного целого, воспроизводя трехзвенную связку «индивид – нация – человечество», в которой каждое предыдущее звено является способом бытия последующего. Эта связка отчетливо оформилась в работах И. Г. Гердера, критиковавшего абстрактный универсализм Просвещения; к ней апеллировали многие мыслители XIX века, по-разному истолковывая отношения между ее элементами. В том, как работали с этой триадой западники и славянофилы, отчетливо проявилось различие их стилей мышления, по-разному интерпретирующих природу социальных связей и характер общественного развития.

В логике западников органичность [16] является основой развития, понимаемого как движение от низшего к высшему. По словам К. Д. Кавелина, «жизнь народа есть органическое целое, в котором изменения происходят последовательно и по внутренним причинам; все в ней условлено одно другим, так что настоящее есть последовательный результат прошедшего, прошедшее естественно переходит в настоящее...» [17]. Настоящее нетождественно прошлому и будущему, органичность воплощается в преемственности. Национальное в логике прогрессистской концепции западников оказывается *формой* связи между человеком и субъектом прогрессивного развития – человечеством. Причем форма эта не является неподвижной: она развивается, обеспечивая со временем новое *качество*.

Характерным примером прогрессистских представлений о динамике данной формы является концепция Белинского, различавшего два этапа в развитии общества – народ и нацию. В статье «Россия до Петра Великого» он обратил внимание на факт параллельного использования двух слов с одинаковым значением, русского и французского (восходящего к латинскому корню *patio*) – народность и национальность. Поскольку, по мысли Белинского, слова, абсолютно тождественные по значению, не могут сосуществовать в одном языке, наличие двух терминов должно отражать различия смыслов. Объясняя эти различия, автор заключал, что «народность» есть низшая ступень в развитии «национальности». Первое понятие относится к патриархальному, внутренне недифференцированному обществу, однородному в вере и обычаях и неподвижному, ибо развитие неизбежно означает разделение целого на противоположные, борющиеся друг с другом части. Второе же понятие применимо к внутренне дифференцирующемуся обществу, образующему уже новую, способную к динамичному развитию целостность. Народность, по Белинскому, «есть первый момент национальности, первое ее проявление... Общество, – писал он, – есть всегда *нация*, еще и будучи только *народом*, но *нация* в возможности, а не в действительности», ибо «народность... предполагает что-то неподвижное, раз навсегда установившееся, не идущее вперед; показывает собою только то, что есть в народе

налицо в настоящем его положении. Национальность, напротив, заключает в себе не только то, что было и есть, но что будет или может быть» [18].

В этих рассуждениях Белинский, несомненно, отдавал дань гегелевской диалектике. Интересно, что не он один писал о стадиях развития народной/национальной общности в подобных категориях: через увлечение гегельянством прошли и некоторые из будущих славянофилов. В статье, написанной в конце 1838 – начале 1839 г., т. е. еще до разрыва с кружком Станкевича [19] К. С. Аксаков представлял эволюцию сообщества как диалектику общего, особенного и единичного. Роль общего в его изложении отводилась человеку, его «отречением» в особенное оказывалась «нация» – стадия, на протяжении которой «всякий индивидуум известного народа имеет значение во столько, во сколько он *национален*», – а синтез общего и особенного в единичном трактовался как «возвышение» до «народности», когда «индивидуум освобожден, имеет качественное значение и таким образом вместе с жизнью индивидуума проявляется и жизнь общая» [20]. Таким образом, хотя «нация» здесь оказывалась не высшей ступенью, как у Белинского, а низшей, аналогия налицо. Однако ее вряд ли можно считать полной. Очевидно, что будущие оппоненты в разном объеме использовали «арсенал» гегелевской диалектики: Аксаков ограничивался «приложением» триады общего, особенного и единичного, тогда как внимание Белинского занимало развертывание «народной субстанции» через двойное отрицание и борьбу противоположностей. В дальнейшем, эволюционируя в сторону славянофильства, К. Аксаков отказался от сочувствия идее освобождения личности, но сохранил приверженность интерпретации развития национальной культуры (и в частности, литературы) в терминах триады общего, особенного и единичного [21]. Как показал в своей книге А. Валицкий, философия Гегеля оказалась «важной «системой соотнесения» (frame of reference) для почти всех философских и историософских идей в России между 1837 и 1845 гг.», однако славянофилам приходилось испытывать серьезные трудности, приспособлявая диалектику к своим концепциям. По словам польского историка, «православно-гегельянская позиция противо-

речила самой себе: как славянофилы, Аксаков и Самарин должны были защищать православие и Древнюю Русь, но как гегельянцы, они вынуждены были рассматривать все это как «моменты», которые должны быть преодолены...» [22].

В связке «личность – нация – человечество» в роли главного творческого начала, в понимании западников, выступало именно первое звено. По словам Кавелина, «...когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлеченно: собственно, действуют, чувствуют, мыслят единицы, лица, его составляющие. Таким образом, личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, – есть необходимое условие всякого духовного развития народа» [23]. Последовательная эмансипация личности, высвобождение ее из состояния «естественной непосредственности» (термин Белинского) рассматривалось западниками в качестве показателя и одновременно – условия прогресса. Двигатель прогресса – именно личное начало; народ же в прогрессистской концепции выступал как «сила охранительная, консервативная». Поддаваясь «с упорством натиску врывающихся к нему сверху нововведений», он «предохраняет само общество от произвольных уклонений от нормы народной жизни, ибо никогда не примет ничего несвойственного и, стало быть, вредного ей; с другой, делает прочными все результаты исторического развития, которых не может не принять. Непосредственное начало, – писал Белинский, – есть условие всего живого, и все сознательное и искусственное, чтоб быть действительным, а не призрачным, должно иметь свои корни в непосредственном» [24]. Однако непосредственное начало, в понимании лидера западников, есть часть природы, оно неподвижно и неспособно к развитию; человеческое и в индивиде, и в народе «развивается по мере их освобождения от естественной непосредственности» [25].

Согласно концепции Белинского, движение от племени к нации одновременно есть и движение в сторону большей интеграции с человечеством в целом: эта связь всегда существует, но различается качеством. В «Статьях о народной поэзии» (1841) он характеризовал народность как принадлежность младенческой «эпохи естественной непосредственности», нацию же – как по-

казатель вступления в «эпоху сознательного существования» [26]. В первую эпоху резче выражается «национальная особенность каждого народа», во вторую его культура становится достоянием всего человечества (хотя и оказывается менее доступной низшим слоям общества, хранящим прежние, примитивные формы «простонародной» культуры). По Белинскому, «общечеловечность» культуры не отменяет ее национальности. В этом отношении он полемизировал с В. Майковым, а также с Кавелиным, который в своей программной статье «Взгляд на юридический быт древней России» (1847), утверждал, что «мы заимствовали у Европы не ее исключительно национальные элементы; тогда они уже исчезли или исчезали» [27]. Белинский же в этом отношении готов был солидаризироваться скорее со славянофилами: «Что *личность* в отношении к *идее* человека, то *народность* в отношении к *идее* человечества, – писал он. – Другими словами: народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения» [28]. Впрочем, признавая незыблемость этой триады, Белинский вовсе не покидал свой лагерь: как отмечалось выше, в понимании западников ее среднее звено также играло важную, хотя и не доминирующую роль.

Субъектом прогресса, в понимании западников, выступает все человечество; однако деятельно в нем участвуют лишь народы, вступившие в «эпоху сознательного существования»: «...Народ, не сознающий себя живым членом в семействе человечества, – писал Белинский, – есть не нация, но племя, подобно калмыкам и черкесам, или живой труп, подобно китайцам, японцам, персиянам и туркам... Чтобы народ был действительно историческим явлением, необходимо, чтобы его народность была только формой, проявлением идеи человечества, а не самой идеей» [29]. Разделяя гегелевскую идею об «исторических народах», западники полагали, что разные общества движутся по пути прогресса неравномерно. В настоящее время бесспорным лидером прогресса является Европа. В одной из своих статей Белинский с присущей ему прямоотой заявлял: «Все человеческое есть европейское, и все европейское – человеческое...» [30]. Однако в концепции западни-

ков это обстоятельство не влекло за собой вывода о национальной неполноценности других народов; как и славянофилы, они были убеждены в великом будущем своей страны. Как писал Белинский, России еще предстоит «сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль – об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими...» [31]. Именно поэтому его не смущала многосторонность, с какой русский человек усваивает «себе все чуждое, ничем не увлекаясь, ничему не покоряясь исключительно», ибо «русский человек еще не живет, а только запасается средствами на жизнь, беря их везде и всюду, где ни встретит, – и видно, богата должна быть жизнь его в будущем, если для нее ему нужен такой огромный запас!» [32] – заключал Белинский.

Совсем другое понимание трехзвенной связки «личность – нация – человечество» мы находим у его оппонентов. Славянофильская модель фиксировала внимание на среднем звене триады: именно народ рассматривался в качестве главного субъекта истории. Роль личности по отношению к народу виделась иначе, чем у западников. В представлении славянофилов индивиды являются не творческим началом и движущей силой прогресса, а органом сознания, чутко отражающим то, что зреет в обществе. Нация для них – не совокупность отдельных личностей, а единое целое. Рассуждая о перипетиях британской истории, А. С. Хомяков в 1848 г. писал, что залогом успешного развития общества является единство самобытного жизненного начала, «присущего всему составу», и «сознательного и рассудочного» начала, присущего личностям. Последнее есть «сила никогда ничего не создающая и не стремящаяся что-нибудь создать, но постоянно присущая труду общего развития, не позволяющая ему перейти в слепоту мертвенного инстинкта» [33]. Характерным примером стилей мышления западников и славянофилов являются предложенные ими решения проблемы народности литературы. В пылу дискуссии оба лагеря формулировали свои позиции весьма резко. Белинский, полемизируя с поклонниками народной поэзии, настаивал, что художественно лишь то, что является выражением общечеловеческой идеи, хотя

и имеет национальную форму, а потому «одно небольшое стихотворение художника-поэта неизмеримо выше всех произведений народной поэзии вместе взятых» [34]. По мнению же славянофила Хомякова, «художество... не есть произведение единичного духа, но произведение духа народного в одном каком-нибудь лице. Сохранение же имен в памяти народной или их забвение есть чистая случайность, не составляющая действительно никакой разницы в истории искусства» [35].

В представлении славянофилов, каждое общество самобытно, и его развитие должно происходить «из своих начал, из своих органических основ»; попытки привить элементы чужой культуры бесплодны и вредны. В этом смысле Запад демонстрирует более органичное развитие, нежели Россия. В 1845 г. в программной статье для «Москвитянина» И. В. Киреевский, сожалея о подражательности русской литературы, противопоставлял ей органичность литературы западной: «История всех словесностей Запада представляет нам неразрывную связь между движениями литературы и всею совокупностью народной образованности. Такая же неразрывная связь существует между развитием образованности и первыми элементами, из которых слагается народная жизнь. Известные интересы выражаются в соответственном устройстве понятий; определенный образ мыслей опирается на известные отношения жизни». В результате «даже те словесности, которые подчиняются влиянию других народов, принимают это влияние только тогда, когда оно соответствует требованиям их внутреннего развития, и усваивают его только в той мере, в какой оно гармонирует с характером их просвещения». Собственно, эти влияния потому и возможны, что в Европе «образованности различных народов развились из одинакого начала и, проходя каждая своим путем, достигли наконец одинакого результата, одинакого смысла умственного бытия». В России же «существует явное разногласие» между «литературной образованностью... и коренными стихиями нашей умственной жизни» [36].

Однако несмотря на это неблагоприятное для России сравнение, Европа, по мнению славянофилов, далека от воплощения идеала органичного общества. В их понимании органичность

определяется не только преемственностью. Органичное общество – это общество «совокупно цельное», «устроившееся естественно из самобытного развития своих коренных начал». Развитие такого общества не предполагает скачков и переходов в новое качественное состояние, оно «может совершаться только гармонически и неприметно, по закону естественного возрастания в односмысленном пребывании» [37]. Органичное развитие спонтанно. Оно исключает как насилие и случайности войны, так и преднамеренные изменения по произволу разума – и то, и другое ведет к «односторонности», в которой славянофилы единодушно упрекали «Запад». Вопрос о том, в какой мере эти упреки были справедливы в отношении России, решался гораздо менее однозначно. С одной стороны, налицо был культурный раскол между образованным обществом и народом, привнесенный петровскими реформами и европеизацией. С другой стороны, по мнению славянофилов, Россия была гораздо ближе к консервативному идеалу органичного развития, нежели Запад (в доказательство чему приводились и погодинская схема различий в историческом процессе, и крестьянская община, и православие как воплощение истинного христианства).

Более сложно обстояло дело с интерпретацией последнего звена триады «индивид – нация – человечество». Как уже отмечалось, в представлении славянофилов в роли субъекта развития выступают отдельные народы, являющиеся носителями самобытного жизненного начала. Человечество воспринималось скорее в христианском смысле, и связь между национальным и человеческим виделась в контексте воплощения божественного замысла, предназначившего каждому народу его особую миссию. Исходя из этого, признавалось, что «самобытное» развитие не лишено односторонности и нуждается в дополнении. Однако поскольку славянофилы не принимали либеральную концепцию универсального прогресса, их представления об «общечеловеческом» существенно отличались от представлений западников. В 1847 г., полемизируя с Белинским и Кавелиным, Ю. Ф. Самарин совершенно справедливо указывал, что внешнего признака, по которому можно было бы отличить человеческое от национального, не существует. «Мы дорожим старой Русью, – писал он, – не потому, что она старая или что она

наша, а потому, что мы видим в ней выражение тех начал, которые мы считаем человеческими или истинными, а вы, может быть, считаете национальными и временными. Точно так г. Кавелин полагает, что мы заимствовали у Европы не ее исключительно национальные элементы, которые во время реформы, будто бы, исчезли или исчезали, а общечеловеческие; а мы, вероятно, по ближайшем определении этих элементов, признали бы в них многое за народное и ложное» [38]. Славянофилы, в отличие от западников видели воплощение общечеловеческих идеалов не в Европе. Они полагали, что Россия стоит ближе к идеалу консервативной утопии, поскольку сохранила способность к целостному органическому развитию, утраченную Западом. И в этом смысле именно она, по их мнению, является воплощением общечеловеческих ценностей и, возможно, еще выполнит роль спасителя Запада.

Вопрос о том, каким образом может быть выполнена эта миссия, оставался не вполне ясным. Согласно логике прогрессистской концепции западников, народы вносят свой вклад в дело развития человечества благодаря тому, что плоды их опыта могут быть усвоены всеми. Заимствование элементов чужой культуры здесь рассматривалось как нормальный процесс, который несколько не вредит национальной самобытности. По словам Белинского, «даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается национально. Иначе нет прогресса». Он считал, что заимствования вредны лишь для народов, в которых «нет зерна жизни», вроде Китая и Персии, но не для России [39]. Успех заимствования определяется способностью усвоить чужой опыт, сделать его своим. Поскольку в понимании западников органичность развития определяется преемственностью, надлежащим образом переработанное влияние чужой культуры не может повредить национальной самобытности. По словам Белинского, «чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить ни в литературе, ни в жизни отсутствия своего собственного, национального содержания; но оно может переродиться в него со временем, как пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть и поддерживает в нем силу, здоровье и жизнь» [40].

Иначе обстояло дело у славянофилов. С точки зрения их концепции, позиция тех, кто призывал перенимать все, что есть доброго у Запада, не забывая своего, представлялась неприемлемой эклектикой. По словам Хомякова, «тут действительно исчезает народность своя, как и всякая другая. Все русское является, также как французское, китайское, индийское и прочее, не как жизненное начало, подчиняющее себе своею силою всякую другую мысль и всякую личность, но как бесхарактерный материал, годный только для переделывания и перелаживания согласно с высшими соображениями так называемого общества» [41]. Хотя он был убежден, что «наше народное начало... не может никогда ни подчиниться выводам, исторически возникшим из-за западной двойственности, ни принять их в себя» [42], тем не менее влияние западной культуры представлялось ему опасным, поскольку оно порождало раскол между народом и усвоившей плоды этой культуры элитой. С течением времени славянофилы все больше стали склоняться к идее о необходимости ограничения внешних влияний, и в 1863 г. Самарин уже прямо заявлял: «...Во всем, что обуславливается в жизни началами религиозными, политическими и племенными, Россия должна развиваться самобытно, и хотя бы результаты, к которым она придет, расходились далеко с результатами развития народов западных, однако мы этим нисколько не должны смущаться...» [43].

Идея закрытости логически вытекает из представления о человечестве как о совокупности народов, естественно развивающихся на основе своих самобытных начал [44]. Однако славянофилам также не чужда была идея об «исторических народах», и миссия России формулировалась ими гораздо более определенно, чем западниками. Поскольку «просвещение истинное, которое есть достояние всех и ничем иным быть не может, доступно только тем странам, которых внутренний состав основан на единстве стихий племенных и умственных», по мысли Хомякова, от «живого единства», доступного «нам и нашим единокровцам», славянам, возможно, «получит начало исцеления... неисцелимая своими собственными силами и в началах своих раздвоенная, западная наша братия» [45]. Очевидно, что в логике славянофилов «исцеление»

Запада не может наступить за счет непосредственного заимствования «славянских начал». Вероятно, механизм такого исцеления может быть уподоблен приходу мессии, указывающего истинный путь и внушающего новую веру. Логика славянофильской концепции вела к мессианству – идее избранного народа-спасителя, хотя необходимо признать, что в 1830 – 1840-х гг. никто из представителей славянофильского лагеря не делал этого вывода со всей определенностью.

Анализ моделей национальной идентичности, родившихся в спорах западников и славянофилов, не был бы полным, если бы мы не отметили еще одно обстоятельство. Особенностью ситуации «догоняющей модернизации» был существенный разрыв между «обществом» (по определению Белинского «избранными, т. е. наиболее просвещенными, образованными и цивилизованными классами и сословиями в государствах» [46]) и народом. Задачу преобразования русской национальной идентичности оба лагеря адресовали «обществу». Однако они по-разному видели проблему отношения последнего к народу.

В понимании западников, двигателями прогресса всегда были представители «общества». По словам Белинского, «разделение народа на классы было необходимо для развития человечества. Личность вне народа есть призрак, но и народ вне личности есть тоже призрак. Одно обуславливается другим. Народ – почва, хранящая жизненные соки своего развития; личность – цвет и плод этой почвы. Развитие всегда и везде совершалось через личности...». Европейская образованность элиты, в представлении западников, не должна служить препятствием к взаимопониманию, поскольку «общество» – это тоже часть нации: «Выйти из привычек и обычаев простого народа, – продолжал Белинский, – совсем не значит выйти из стихии народной жизни в какую-то пустоту и отвлеченность и сделаться призраком. Один народ, разумея под этим словом только людей низших сословий, не есть еще нация: нацию составляют все сословия» [47]. Функция «общества» заключается в том, чтобы воспитывать народ, постепенно подтягивая его к собственному уровню. В действительности такая модель взаимодействия элиты и обще-

ства характерна для большинства либеральных концепций, в том числе и в «развитых» странах. К сожалению, в силу нехватки ресурсов, недальновидной политики властей и многих других факторов успешное осуществление этой модели оказалось невозможным, и культурный разрыв между образованной элитой и народом сохранился надолго.

Славянофилы расходились со своими оппонентами и в оценке отношения между элитарной и народной культурой (как писал И. В. Киреевский, разногласие между первым и вторым «происходит не от различия степеней образованности, но от совершенной их разнородности» [48]), и в определении перспективы выхода из ситуации культурного разрыва. Возможность преодоления этого разрыва славянофилы, как и западники, связывали с образованным классом, который, согласно их программе, должен пересмотреть основы своей «образованности». По мысли Киреевского, «прочное здание просвещенной России» может быть воздвигнуто лишь тогда, когда, «вырвавшись из-под гнета рассудочных систем европейского любомудрия, русский образованный человек... в прежней жизни отечества своего... найдет возможность понять развитие другой образованности», корни которой еще живы в народе и Святой Православной Церкви [49].

Весьма сложным представлялся вопрос о том, что делать с образованием народа до тех пор, пока элита сможет решить поставленную перед ней задачу создания «науки, основанной на самобытных началах». В 1839 – 1840 гг. И. В. Киреевский подготовил «Записку о направлении и методах первоначального образования народа в России», в которой, опасаясь, что «понятия, получаемые народом посредством грамотности, будут неистинные», предлагал ограничить учебную программу народных училищ изучением старославянского языка (ибо «на нем нет ни одной книги вредной, ни одной бесполезной, не могущей усилить веру»), отложив изучение русской словесности до гимназии, а также минимальными сведениями по географии, истории, арифметике и др. По мысли автора «Записки», «направление народного образования должно стремиться к развитию чувства веры и нравственности преимущественно перед знанием» [50].

Вместе с тем, славянофилы пребывали в уверенности, что народ является носителем особого, сокровенного знания. Предубеждение к рациональному познанию, свойственное консервативному мировоззрению, заставляло их сочувственно относиться к интуитивным формам познания. Там, где западникам виделась примитивная «естественная непосредственность» и отсутствие движения, славянофилы усматривали присутствие особой мудрости. Возражая Белинскому, Самарин писал: «Сближение с народом, может быть, еще более необходимо для образованного класса, чем для самого народа. Во всех странах мира круг образованности, приобретаемый учением в городском быту, с каждым днем стесняется и мелеет. Везде знание логическое, которому подножием служит отрицание непосредственности и сознания жизненного, отказывает человеку в удовлетворении духовных потребностей...». Однако до «неотуманенного разума» народа «назидательные уроки жизни доходят прямо и беспрепятственно», поэтому, «усваивая себе жизнь народную и внося в нее свое знание и свой опыт, образованный класс не останется в накладе – он получит многое взамен» [51]. Таким образом, в концепции славянофилов народ рассматривался и как объект заботы образованного класса, и как носитель премудрости, которую представителям этого класса еще только предстоит постичь.

Идеи, высказанные в спорах западников и славянофилов, несомненно, оказали существенное влияние на формирование националистического дискурса в России. Участниками этих споров были представлены две отчетливо различающиеся модели русской национальной идентичности. Различия этих моделей определялись не только относительной открытостью или закрытостью в отношении европейской культуры; они основывались на разных мировоззрениях. Если позиция западников, разделявших идею универсального прогресса, субъектом которого является все человечество, считавших главным двигателем этого процесса творчество индивидов и рассматривавших национальную культуру как форму реализации и развития общечеловеческого содержания, очевидным образом тяготела к либеральному полюсу, то во взглядах славянофилов, отстаивавших идею естественного развития

общества из его собственных самобытных начал, ясно просматривались черты консервативной утопии. Ответ на вопрос о том, в какой мере и почему каждая из этих моделей оказалась реализована в складывавшемся каркасе националистического дискурса, находится за хронологическими рамками данного исследования. Можно лишь предположить, что поскольку мобилизационные возможности того или иного варианта «идеи нации» в немалой степени определяются его «компенсаторными возможностями», способностью повышать самооценку коллективного субъекта, которому эта «идея» адресована, шансы либеральной модели в условиях «догоняющей модернизации» были невысоки. В 1840-х годах еще можно было говорить о великом европейском будущем России, относя содержание ее миссии на усмотрение «детей и внуков»; два поколения спустя было уже очевидно, что отставание от Запада не сокращается, и в этих условиях голос либералов, предлагающих свой вариант «идеи нации», едва ли мог обладать большим влиянием. Консервативная модель в данном смысле гораздо более привлекательна, и именно этим объясняется многократный ренессанс «русской идеи». Однако консервативный проект ориентирован в прошлое; его «обновление» опять-таки определяется успехами модернизации, создающими новые форпосты, которые необходимо защищать, увязывая с прежними традициями. Таким образом, в ситуации «запаздывающей модернизации» и эта модель также оказывается уязвимой, ибо ее трудно приспособлять к вызовам времени.

1. Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994. С. 25.

2. Подробнее см.: Миллер А. И. О дискурсивной природе национализмов. Pro et contra. 1997. № 4. С. 141 – 151.

3. Smith A. Nations and Nationalism in a Global Era. – Cambridge, 1995. P. 150; Ср.: Guibernau M. Nationalisms. The Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century. Cambridge; Mass., 1996. P. 63 – 64.

4. В этом отношении мнения исследователей расходятся. Если западников более или менее единодушно причисляют к либеральному лагерю (см.: Шуккин В. Русское западничество 40-х гг. XIX в. как общественно-литературное явление. Краков, 1987; Шуккин В. Русское западничество. Генезис – сущность – историческая роль. Лодзь, 2001; Олейников Д. И. Классическое российское за-

падничество. М., 1996), то с классификацией позиции славянофилов дело обстоит не так однозначно. С одной стороны, как блестяще показал А. Валицкий, славянофильство является классическим примером консервативной утопии (см.: *Walicki A. The Slavophile Controversy. History of a Conservative Utopia in the Nineteenth-Century Russian Thought.* Notre Dame (Ind.), 1989; книга частично переведена на русский язык: Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого: Реф. сб. Вып.1. – М., 1991; Вып. 2. – М., 1992). С другой стороны, принимая во внимание оппозиционность славянофилов по отношению к властям и их позиции по конкретным политическим вопросам, их нередко характеризуют как либералов (подробнее см.: *Кутаев В. А. Славянофильство и либерализм // Вопросы истории.* 1989. № 1. С. 133 – 143). Очевидно, что одно не обязательно противоречит другому: сторонники консервативных и либеральных ценностей могут придерживаться одинаковых позиций по тем или иным вопросам, однако делать это из разных соображений. В работе над данной статьей автор в значительной степени опирался на анализ, проделанный А. Валицким.

5. *Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени.* С. 575.

6. См.: *Белинский В. Г. Россия до Петра Великого // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13-ти т. М., 1953 – 59. Т. 5. С. 123 – 124; Аксаков К. С. О некоторых современных собственно литературных вопросах // Вопросы философии. – 1990. – № 2. С. 164 – 171).*

7. В программной статье в «Москвитянине» в 1845 г. И. В. Киреевский писал: «...Каково бы ни было просвещение европейское, но если однажды мы сделались его участниками, то истребить его влияние уже вне нашей силы, хотя бы мы того и желали. Можно подчинить его другому, высшему, направить к той или другой цели; но всегда останется оно существенным, уже неизъемлемым элементом всякого будущего развития нашего». А потому «нужно принять его в себя, оценить, поставить в свои границы и, подчинив таким образом собственному превосходству, сообщить ему свой истинный смысл» (*Киреевский И. В. Обзорение современного состояния литературы // Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1861. Т. 2. С. 38, 39).*

8. В свою очередь, В. Г. Белинский в программной статье для «Современника» признавал, что «...Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования... реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и... настало для России время развиваться самобытно, из самой себя» (*Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 10. С. 19).*

9. Ср.: *Хомяков А. С. О возможности русской художественной школы // Хомяков А. С. Сочинения: В 8-ми т. М., 1878. Т. 1. С. 83; Белинский В. Г. Сельское чтение, издаваемое кн. В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 10. С. 367.*

10. Белинский В. Г. Россия до Петра Великого // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 5. С. 144.
11. *Киреевский И. В.* О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России // Киреевский И. В. Указ. соч. Т. 2. С. 279. Даже Киреевский, занимавший в славянофильском лагере наиболее взвешенную позицию в отношении плодов европейской культуры, считал, что «русскому человеку... надобно было почти уничтожить свою народную личность, чтобы сродниться с образованностью западною» (Там же. С. 237).
12. *Киреевский И. В.* Деятнадцатый век // Киреевский И. В. Указ. соч. Т. 1. С. 82. Авторы комментариев к современному изданию этого текста указывают, что это замечание было адресовано Н. М. Карамзину (*Киреевский И. В.* Критика и эстетика. 2-е изд. М., 1998. С. 438).
13. *Киреевский И. В.* Обзорение современного состояния литературы. С. 24.
14. *Киреевский И. В.* В ответ А. С. Хомякову // Киреевский И. В. Указ. соч. Т. 1. С. 189.
15. *Белинский В. Г.* Взгляд на русскую литературу... С. 30.
16. Идеей о том, что органицизм и развитие имеют разный смысл в консервативной и либеральной интеллектуальной традиции, автор обязан А. И. Миллеру.
17. *Кавелин К. Д.* Ответ «Москвитянину» // Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 68.
18. *Белинский В. Г.* Россия до Петра Великого // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 5. С. 123 – 124.
19. Обстоятельства написания этой статьи подробно описаны в предисловии к ее первой публикации: *Кошелев В. А.* «Чудная страна» Константина Аксакова // Вопросы философии. 1990. № 2. С. 155 – 157.
20. *Аксаков К. С.* Указ. соч. С. 169 – 170.
21. По мнению В. А. Кошелева, цитируемая здесь статья «стала своеобразным провозвестником... будущих эстетических, критических и даже публицистических построений» К. Аксакова (*Кошелев В. А.* Указ. соч. С. 156).
22. *Walicki A.* Op. cit. P. 287, 306.
23. *Кавелин К. Д.* Взгляд на юридический быт древней России // Кавелин К. Д. Наш умственный строй. С. 22.
24. *Белинский В. Г.* Сельское чтение... С. 367.
25. *Белинский В. Г.* Взгляд на русскую литературу... С. 29.
26. *Белинский В. Г.* Статьи о народной поэзии // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 5. С. 308.
27. *Кавелин К. Д.* Взгляд на юридический быт... С. 65. Разночтения связаны отчасти с используемыми Кавелиным формулировками. Как и Белинский, он различал два этапа в развитии народа и считал, что на начальном этапе, «когда народ пребывает в непосредственном, природном состоянии, народность в его глазах неразрывно связана с внешними формами его существования». Под «исчерпанием исключительно национальных элементов» он,

очевидно, понимал именно эти внешние формы, ибо был убежден, что «не Европа к нам пришла, а мы оевропеились, оставаясь русскими по-прежнему» (Там же. С. 63, 64).

28. *Белинский В. Г.* Взгляд на русскую литературу... С. 28.

29. *Белинский В. Г.* Статьи о народной поэзии. С. 305 – 306.

30. *Белинский В. Г.* Россия до Петра Великого. С. 105.

31. *Белинский В. Г.* Взгляд на русскую литературу... С. 21.

32. *Белинский В. Г.* Общее значение слова литература // *Белинский В. Г.* Указ. соч. Т. 5. С. 651.

33. *Хомяков А. С.* Письмо из Англии // *Хомяков А. С.* Указ. соч. Т. 1. С. 127.

34. *Белинский В. Г.* Статьи о народной поэзии. С. 308; ср.: *Белинский В. Г.* Взгляд на русскую литературу... С. 23 – 32.

35. *Хомяков А. С.* О возможности русской художественной школы // *Хомяков А. С.* Указ. соч. Т. 1. С. 96.

36. *Киреевский И. В.* Обзорение современного состояния литературы. С. 33, 27 – 28.

37. *Киреевский И. В.* О характере просвещения Европы... С. 266.

38. *Самарин Ю. Ф.* О мнениях «Современника», исторических и литературных // *Самарин Ю. Ф.* Избранные произведения. М., 1996. С. 478 – 479.

39. *Белинский В. Г.* Взгляд на русскую литературу... С. 29 – 30.

40. Там же. С. 9.

41. *Хомяков А. С.* О возможности русской художественной школы. С. 84.

42. Там же.

43. *Самарин Ю. Ф.* По поводу мнения «Русского вестника» о занятиях философию, о народных началах и об отношении их в цивилизации // *Самарин Ю. Ф.* Избранные произведения. С. 546.

44. По-видимому, консервативный национализм действительно тяготеет к закрытости. Следует, однако, отметить, что не обязательно верно обратное: «исключающие», «закрытые» типы национализма могут, говоря словами Э. Смита, «заполняться» благодаря разным системам политических идей, в том числе основываться на расизме.

45. *Хомяков А. С.* О возможности русской художественной школы. С. 96, 85.

46. *Белинский В. Г.* История Малороссии Николая Маркевича // *Белинский В. Г.* Указ. соч. Т. 7. С. 45.

47. *Белинский В. Г.* Сельское чтение... С. 368 – 369.

48. *Киреевский И. В.* Обзорение современного состояния литературы. С. 33.

49. *Киреевский И. В.* О характере просвещения Европы... С. 279.

50. *Киреевский И. В.* Записка о направлении и методах первоначального образования народа в России // *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1998. С. 417 – 425. «Записка» была составлена в связи с выполняемой Киреевским функцией почетного смотрителя уездного училища в г. Белеве и адресована попечителю уездного округа графу С. Г. Строганову.

51. *Самарин Ю. Ф.* О мнениях «Современника»... С. 467 – 468.

## Глава 3

# Состояние современного историографического поля российского либерализма и консерватизма

В последнее десятилетие в отечественной историографии не только возрос, но, можно сказать, обострился (в общественно-политическом смысле) интерес к либерализму и консерватизму. Этому есть свое объяснение. На протяжении целого ряда десятилетий обществоведы, включая и историков, настолько были «перекормлены» марксистско-ленинским «видением» исторического процесса, что, почувствовав веяние горбачевской гласности, «ошарашенно и без разбору», как это и свойственно российской интеллигенции, стали лихорадочно искать «новую идеологическую отмычку», не понимая смысла и значения альтернативных моделей преобразования России. Такой «скачок» в изменении интереса, без теоретического осмысления и глубокой источниковой проработки либерализма и консерватизма, не мог не привести (и, естественно, привел) к масштабному разбросу оценок, суждений и мнений, что еще больше запутало историографическую ситуацию. Правда, на фоне разгула историографической стихии, инициированной горбачевской перестройкой, появился ряд новаторских исследований, прошли плодотворные конференции, в том числе и в Воронеже, по проблемам либерализма как целого, консервативного либерализма и консерватизма, в которых приняли участие молодые талантливые историки и философы, привнесшие новый взгляд на изучение данных проблем. Парадоксально, но факт: либерализмом и консерватизмом, наряду с новой генерацией исследователей, стали заниматься и те

историки, кто до горбачевской перестройки на дух не переносил ни либералов, ни, тем более, консерваторов, считая их контрреволюционерами и врагами трудового народа. Разумеется, что любой исследователь вправе избрать новую тему, изменить или скорректировать прежние оценки. Суть не в этом. «Новообращенцы» подошли к изучению либерализма и консерватизма, отбросив, как ненужную ветошь, марксистско-ленинскую парадигму, поменяв ее на цивилизационную, и уже наломали немало дров по всем параметрам анализа этих двух направлений общественной мысли и социально-политического движения.

Не претендуя на исчерпывающее освещение состояния историографического поля либерализма и консерватизма, что вполне может и должно стать предметом самостоятельного монографического исследования, сосредоточу внимание на некоторых общих теоретико-методологических проблемах, которые нуждаются, на мой взгляд, в предварительном обсуждении.

Во-первых, в историографии последнего десятилетия продолжают оставаться до конца не проясненными мировоззренческие истоки русского либерализма и консерватизма. Безусловно, позитивным моментом современной отечественной историографии является осознание значимости этих проблем; предпринимаются в конкретно-историческом и историографическом планах в целом плодотворные попытки если не раскрыть, то, по крайней мере, обозначить комплекс западноевропейских и национальных идей, которые легли в основу мировоззрения либерализма и консерватизма. Сложность же проблемы, на мой взгляд, состоит в том, чтобы, выявив отдельные компоненты мировоззрения, сосредоточить исследовательское внимание на анализе самого процесса «сборки» идей в качественно новое целое, получившее название русский либерализм и консерватизм. На современном уровне понимания концепции заимствования и теории идентичности могут быть сданы «в архив» идея трансплантации либерализма и идея «самозарождения» и «самодостаточности» консерватизма. Вместе с тем, амбивалентный процесс «сборки» собственного национального варианта либерализма и консерватизма продолжает еще находиться в начальной стадии теоретико-методологического осмысления и

предварительного конкретно-исторического анализа. В этом плане исследовательски важно понять, кем и как осуществлялся отбор компонентов мировоззренческих концепций (моделей) либерализма и консерватизма, кем и как производилась их «сборка» в самостоятельный национальный вариант, претерпевающий трансформацию в новой исторической среде. Разумеется, я имею в виду, что процесс отбора и «сборки» являлся не одномоментным, а довольно растянутым, зависел от совокупности фактов объективного и субъективного характера, от динамично меняющейся среды – и интеллектуальной, и общественно-политической. По сути, являясь диалектически сложным и длительным историческим процессом, создание качественно нового феномена становилось лишь начальным моментом его самосуществования и последующей эволюции в рамках соответствующей национальной среды.

Во-вторых, на этапе историософского и исторического анализа самого процесса «сборки» важно теоретически осмыслить соотношение инноваций общемирового (в данном случае западноевропейского) и традиций собственно национального характера. От того или иного соотношения зависят характеристика нового качества и последующая траектория эволюции. В этом контексте актуализируется проблема культуры заимствования, ибо от выбора «трансплантанта», его качественных характеристик, механизмов переноса в иную среду в значительной степени зависит и выживание организма, получившего либо сам «трансплантант», либо «прививку ствола», укорененного в национальной почве. Не менее сложной является проблема, связанная с отбором собственно традиционных идей, уже имевших свою «корневую систему» и свою логику развития. Недостаточная теоретико-методологическая проработанность проблемы как целого, так и ее составляющих обуславливает разброс в определении понятий «традиция» (к слову, она тоже могла быть результатом «сборки»), «национальная идея», «русская идея» и т. д. Отсюда нередко «традиционализм» и «консерватизм» рассматриваются как синонимы. Действительно, при формировании консервативной мировоззренческой системы традиционалистские компоненты представлены достаточно отчетливо и нередко имеют определяющее

значение, но тем не менее ролевые функции их по мере эволюции консерватизма не константны.

В-третьих, при разработке понятийного аппарата и языка описания предмета исследования важно соблюдать историзм, ибо употребление терминов «либерализм», «консерватизм», «традиционализм» без учета изменения как объема, так и структуры этих понятий нередко приводит к искажению понимания их онтологической сущности в меняющемся историческом контексте. Напомню, что в разных странах либерализм и консерватизм в своей эволюции проходили разные стадии (как по хронологической протяженности, так и по сущностным изменениям). В странах органического типа развития (например, Англия) поступательность стадий обеспечивала именно эволюционный путь поступенчатого развития и либеральных, и консервативных моделей. В странах же догоняющего типа развития (например, Россия) имело место не только хронологическое сжатие стадий, но и «перескоки» через стадии. История русского либерализма и консерватизма подтверждает данное наблюдение. В этой связи в ходе исследования крайне важно логически увязать проблему отбора не только мировоззренческих трансплантантов, но и самих стран-доноров. В отечественной историографии давно (прямо или подспудно) идет дискуссия по данной проблеме. Так, одни исследователи при анализе мировоззренческих истоков русского либерализма отдают предпочтение английскому источнику, другие же – германскому. Представляется, что российская интеллектуальная среда, благодаря ее традиционной «привязке» к западноевропейским странам, имела уникальную возможность производить (и производила) заимствования из самых разных мировоззренческих источников. Причем в стране догоняющего типа развития производился «отбор» уже апробированных практикой вариантов, что и обеспечивало возможность «перескока» через стадии. С формальной точки зрения, именно Германия как «донор» по многим параметрам общественно-политического развития была более близка к России. Но из этого автоматически не следует, что теоретики и идеологи русского либерализма и консерватизма не заимствовали идеи английских и французских либералов и консерваторов. Другое дело, что на данном этапе наиболее полно историографически изучены английский и германский либерализм и

консерватизм. Однако новейшие исследования, например, французского либерализма и консерватизма позволяют найти и французский след при «сборке» национальных вариантов либерализма и консерватизма. В связи с новейшими исследованиями целесообразно говорить о наличии весьма обширного ареала мировоззренческих источников, о том, что русские интеллектуалы имели реальную возможность для создания именно интегральных либеральных и консервативных моделей преобразования России. Более того, догоняющий тип развития предоставлял им уникальную возможность отобрать и синтезировать те составляющие интегральные компоненты, которые уже прошли проверку в западноевропейских странах, стали реальной и действенной общественно-политической силой.

Подчеркивая мысль о непрерывности западноевропейского воздействия, отмечу, что либерализм и консерватизм в России, пройдя в своей эволюции ряд стадий на собственной национальной основе, ни в коей мере не ограничивались пассивной ролью рецептов, а проявили огромное самостоятельное творчество, обогащая тем самым и западноевропейскую общественную мысль. Так, например, теоретические наработки русских интеллектуалов-кадетов в области философии и социологии, обосновывающие идеи «притязания личности», вошли в мировоззренческий арсенал западноевропейских либералов и социалистов. В этом плане историко-софски и историографически важно показать «точки» концептуального роста русского либерализма и консерватизма. Динамичное развитие исторических процессов в России в конце XIX – начале XX века настолько стимулировало развитие либеральной и консервативной мысли, что можно без особого преувеличения говорить о том, что в разработке ряда актуальных проблем русские либералы и консерваторы вышли на передние рубежи. Поэтому актуальной представляется специальная разработка проблем «точек роста» и «стадий эволюции» русского либерализма в общем контексте эволюции мирового либерализма и консерватизма.

В-четвертых, мировой исторический опыт XX века убедительно показывает, что либерализм и консерватизм, при всех своих концептуальных мировоззренческих различиях, все же имеют тенденцию к сближению. В странах органического типа развития либерализм

и консерватизм показали, что в условиях стабильного развития они вполне могут сотрудничать и взаимодействовать, обеспечивать ротацию друг друга у власти. Ситуация осложнена в странах догоняющего типа развития. В условиях, когда в стране еще не завершена борьба за выбор пути общественного развития, либерализм и консерватизм, предлагающие собственные модели выхода из системного кризиса, выступают в роли политических и идеологических конкурентов. Не случайно в историографии акцент исследования был смещен именно в сторону разработки проблемы противостояния либерализма и консерватизма. Вместе с тем, их сближающие составляющие изучены до сих пор недостаточно. В настоящее время уже сама логика историографического процесса подвела к постановке данной темы. Не случайно в последние годы предприняты плодотворные попытки обратиться к исследованию именно пограничных состояний либерализма и консерватизма – «либеральный консерватизм» и «консервативный либерализм». Характерно также, что в исследовательский контекст прочно вошла идея о либерально-консервативном синтезе. Однако введение в научный оборот новых понятий, безусловно обогащающих современные исследования, предполагает дополнительное теоретическое и конкретно-историческое усилие в разрешении следующего вопроса: происходит ли в результате такого синтеза утрата «инвариантных ядер» либерализма и консерватизма? Важен и другой вопрос: новое качество охватывает в числе прочего и теоретический уровень, или же консервативный синтез имеет ситуационное значение, ограничивается сферой политических технологий? Если, например, иметь в виду российскую действительность начала XX века, то такой синтез носил ситуационный характер, вынуждаемый конкретной политической обстановкой (революция 1917 года и Гражданская война). Думаю, что в условиях длительного стабильного капиталистического развития (например, в той же Англии) либерально-консервативный синтез охватывает и сферу идеологии, хотя либерализм и консерватизм продолжают сохранять неизменными собственные мировоззренческие «инвариантные ядра».

В-пятых, констатация факта, что либерализм и консерватизм являются самостоятельными мировоззренческими системами, не отрицает, а, наоборот, предполагает необходимость комплекс-

ного анализа применения теми и другими однородных системообразующих понятий: «государство», «общество», «личность», «свобода», «власть», «собственность», «революция», «реформа», «патриотизм», «национализм» и т. д. Дело в том, что в историографии недостаточно внимания уделяется анализу смыслового значения того или иного понятия в его эволюционном развитии, иному их комбинированию в либеральной и консервативной моделях на различных стадияльных уровнях. Констатация данной очевидности необходима потому, что обществоведы разных специальностей, решая собственные профессиональные задачи, мало внимания уделяют разработке понятийного аппарата, который претерпевал изменения в процессе эволюции как в содержательном, так и структурном смыслах. Поэтому специальное обращение к этой стороне проблемы позволило бы значительно углубить и обогатить исследовательские представления о внутренней динамике эволюции либеральной и консервативной мировоззренческой систем, либеральной и консервативной идеологии и политики в динамике исторических трансформаций.

В-шестых, в историографии еще не нашла специальной разработки проблема среды восприятия либерализма и консерватизма. В настоящее время представляется историографически доказанным, что русский либерализм и консерватизм по преимуществу были интеллектуальными направлениями общественной мысли, слабо укорененными в национальной почве. Демократические выборы в Учредительное собрание 1917 года убедительно показали, что ни либералам, ни, тем более, консерваторам так и не удалось сформировать адекватной среды восприятия их идей. Безусловно, правы те исследователи, которые говорят о сравнительно коротком сроке существования либерализма и консерватизма в России, о слабости среднего класса и т. д. Тем не менее, эта правильная констатация не снимает, а, наоборот, подчеркивает значимость проблемы формирования среды восприятия. Напомню, что идейно-политические противники либералов и консерваторов – левые радикальные партии – находились в не менее сложных условиях. Однако они на выборах в Учредительное собрание получили абсолютное большинство избирателей. В этом реально существую-

щем контексте острого идейно-политического противостояния в России важно выявить всю совокупность причин объективного и субъективного порядка, которые в конечном счете обусловили узость либеральной и консервативной среды восприятия в стране догоняющего типа развития. Тем более это важно сделать в условиях современной России, где логика трансформации объективно ставит проблему возрождения либерализма и консерватизма.

В-седьмых, в историографии большое внимание уделено изучению программных документов либерализма и консерватизма. Однако сам процесс «переработки» концептуальных либеральных и консервативных идей в соответствующие программы изучен, на мой взгляд, еще недостаточно. Более того, в историографии проблемы программатики преимущественно рассматриваются изолированно, без должного сравнительного анализа. В контексте обоснования идеи либерально-консервативного синтеза такой сравнительный анализ позволил бы более обстоятельно прояснить и вопрос об узости социальной базы либерализма и консерватизма в России. Проблема осложняется тем обстоятельством, что в России начала XX века и России начала XXI века воспроизводится одна и та же ситуация: политические структуры либералов и консерваторов насаждались (и продолжают насаждаться) сверху интеллигенцией, пытающейся найти для себя соответствующую социальную нишу. Программы выполняли (и продолжают выполнять), образно говоря, роль приманки для избирателей и будущих партийных членов. Именно этим объясняется наличие проблемных «полей» между собственно теоретиками-интеллектуалами и практикующими идеологами и политиками в отношении адекватности воспроизведения программными документами концептуальных идей. Поэтому обращение исследователей к изучению этих «проблемных полей» позволит, с одной стороны, выявить различия между концепциями и программами, а с другой – поставить вопрос о технологической трансляции программно «приземленных» идей в возможную среду восприятия.

В отличие от западноевропейских либералов и консерваторов, для которых было характерным органическое вызревание «снизу», что и обеспечивало прочные связи со средой восприятия, делало их программные документы более адекватными этой среде, рус-

ские либералы и консерваторы лишь мечтали о формировании в перспективе такой среды, вели практическую разработку путем проб и ошибок. Именно отсюда проистекает большая зависимость либерализма от левого радикализма, а консерватизма – от традиционализма. Не имея прочной социальной основы и разветвленной социальной базы, либерализм и консерватизм были вынуждены лавировать, с одной стороны, между революционной стихией (либералы), а с другой – между традиционалистами (консерваторы). Не случайно, в экстремальных ситуациях трудно отличить, например, левого кадета от умеренного социалиста, а правого консерватора от черносотенца. Вместе с тем через частокол этих полярностей, хотя и робко, но пробивалась и другая тенденция: попытка найти общий язык либералам и консерваторам. Ее можно проследить в ходе избирательных компаний в Государственную думу и местное земско-городское самоуправление, в деятельности самой Думы и особенно ее комиссий, в работе общественных организаций в годы Первой мировой, а затем и Гражданской войне, в деятельности Российского зарубежья.

В-восьмых, обращая внимание на необходимость разработки проблемы либерально-консервативного синтеза, не следует упускать из вида не менее актуальную и еще более неразработанную проблему взаимовлияния и противостояния традиционализма с либерализмом и консерватизмом. В традиционном обществе, которое лишь ступило в пореформенную эпоху на путь медленной трансформации в гражданское и правовое, традиционализм как система мировоззренческих представлений и как общественно-политическая сила, поддерживаемая всей мощью авторитарного государства, подпитываемого к тому же традиционалистским менталитетом большинства, играл весьма важную и еще в полной мере ни теоретически, ни историографически не осознанную роль. Нередко в историографии традиционализм и консерватизм рассматриваются как некое синонимическое целое. В известной мере такой подход, правда, с определенной коррекцией на догоняющий тип развития России, большинство исследователей считают оправданным. Однако в контексте современных исследований проблем традиционализма и консерватизма необходимо проводить

между ними различия по всем составляющим: теории, идеологии, политики. Едва ли нужно доказывать, что консерватизм, в отличие от традиционализма, является продуктом нового времени. Будучи результатом развития буржуазных отношений, консерватизм как мировоззренческая доктрина и политика в большей степени, чем либерализм, был связан с традиционализмом. Тем не менее (при всем их сходстве) традиционализм и консерватизм в европейском контексте развития представляют собой две разные мировоззренческие системы, две разные идеологии и политики. Подобная ситуация (правда, с большей пролонгацией во времени) имела место и в России, где еще в начале XX века консерватизм продолжал испытывать влияние традиционализма. Тем не менее, и здесь достаточно определенно прослеживается тенденция к его постепенному, хотя и весьма болезненному и далеко неоднозначному, очищению от влияния традиционализма и становлению как самостоятельного и саморазвивающегося целого. В ходе процесса очищения, который, к сожалению, в историографии даже не обозначен как возможная исследовательская проблема, происходит его сближение с либеральным консерватизмом, который, в свою очередь, интенсивно очищается от примесей народнического и марксистского социализма.

В-девятых, наиболее интенсивно и результативно в историографии изучались политические структуры либерализма и консерватизма. Как правило, эта проблема разрабатывалась изолированно, акцент делался на противостоянии кадетских и октябристских политических структур. Вместе с тем вопросы взаимодействия данных структур оставались в тени. Напомню, что даже в начале XX века в рамках протопартийных структур (например, кружок «Беседа» и отчасти «Русское собрание») дебатировался вопрос о возможности создания некоей аморфной организации политическо-го освобождения России. Наиболее интенсивно шло обсуждение вопроса о возможности создания единой либеральной партии на страницах журнала «Освобождение» и в земско-городской среде. И только идеологическая и политическая непримиримость, царящая и среди либералов, и среди консерваторов не позволила ни тем, ни другим выработать общую платформу, создать (там и тут)

единые политические структуры. Тем не менее, в ходе избирательных кампаний в Государственную думу, в земско-городской среде либеральные и консервативные партии вынуждены были (под влиянием прежде всего «левой угрозы») вступать во взаимодействие по ряду вопросов. Первая мировая война и февральская революция привели не только к перегруппировке сил внутри либерализма, но и заставили многих консерваторов пересмотреть свою позицию.

В-десятых, в дополнительной проработке нуждается проблема взаимоотношения либералов и консерваторов с массами. Что касается либералов как целого, то эта проблема давно поставлена и для ее решения уже проделана значительная работа. Что же касается консерваторов, то проблема нуждается как в теоретическом осмыслении, так и в выявлении материала. Однако в том и другом случае требует специальной проработки целый ряд важных вопросов: механизмы трансляции и восприятия массовым сознанием либеральных и консервативных идей; причины отторжения их массовым сознанием. В историографии обозначена, но еще не стала самостоятельным предметом исследования возникшая в России парадоксальная ситуация, когда в целом традиционалистски мыслящее большинство не поддержало не только либералов, но и консерваторов, и традиционалистов. В историографии фундированно обоснована мысль о том, что вектор развития пореформенной России всецело совпал с вектором западноевропейского капиталистического общественного развития, в рамках которого действовали и либералы, и консерваторы. К слову, российские социалисты и социал-демократы, выступившие с теоретическим обоснованием капиталистического развития России в пореформенную эпоху, самым решительным образом настаивали на ликвидации пережитков феодализма и «расчистке» пути для капиталистического развития страны. Было бы также наивным считать, что большинство народа осознавало перспективную значимость революционного скачка и так называемого «социалистического выбора». Трагизм ситуации состоял не в том, что теоретики и политики либерализма и консерватизма не понимали вызовов современной им эпохи, а в том, что их миропонимание, мировоззрение и мироощущение разошлись с миропониманием, мировоззрением и мироощущением большинства народа. В посткоммунистической

историографии стало модным писать о некультурности русского народа, которому, в силу его неграмотности, несознательности и т. п. леворадикальные партии и, прежде всего, большевики, насильно навязали свой собственный выбор. Думаю, что суть проблемы состоит не в навязывании социалистических утопических доктрин, а в совпадении их содержательной составляющей с коренными интересами большинства. Для большинства важно было установить реальную демократию и радикально решить земельный вопрос. Характерно, что наиболее дальновидные теоретики русского либерализма и консерватизма, оказавшись в эмиграции, осознали, что именно революция 1917 года и последовавшая за ней кровопролитная Гражданская война провели разделяющую линию между старой, дореволюционной, и новой, постреволюционной, Россией, что требуется серьезная корректировка и доктринальных основ, и программатики, и тактики. Не случайно уже в годы Гражданской войны в рамках Всероссийского Национального Центра, а затем в эмиграции либералы, как и в 1905 и 1917 гг., пытались возобновить переговорный процесс с умеренными социалистами, рассчитывая вместе с ними создать единый широкий антибольшевистский фронт борьбы, который, кстати, мог включить в себя и консерваторов, и традиционалистов.

Таким образом, аккумуляция историографического опыта изучения русского либерализма и консерватизма выдвигает целый ряд новых исследовательских задач, которые могут быть решены только совокупными усилиями обществоведов разных специальностей. Представляется, что в условиях глобализации научных исследований целесообразно создание трудов синтетического характера, охватывающих всю совокупность проблематики либерализма и консерватизма как единого целого. При этом марксистско-ленинская парадигма ни в коем случае не должна быть заменена или подменена цивилизационной парадигмой, которая в своих теоретико-методологических основаниях не менее бесперспективна. В исторических исследованиях должен возобладать именно здравый смысл ученого, ищущего истину, которая базируется на реальных исторических фактах и не имеет ничего общего с идеологическими и политическими пристрастиями.

## Глава 4

### Консерватизм элитарный и консерватизм народный

Все более усиливающийся в последнее время интерес к истории отечественного консерватизма вполне закономерен и правомерен. Тому существует много причин. В их числе, без всякого сомнения, чисто сциентистское стремление понять и дать толкование одного из важных течений общественной мысли России, без которого наши представления о прошлом будут неполны и обрывочны. Но наряду с этим существует и другой посыл – желание разобраться в разумном сочетании традиций и новаций, выявить и закрепить то позитивное, что требует сохранения и приумножения в будущем и без чего сам человек лишается тех корней, которые питают его существование. Тем более, что весьма динамичный и непостоянный в своих настроениях прошедший век наглядно продемонстрировал неустойчивость многих идеологических конструкций и созданных на их основе «идеальных» обществ. В очередной раз человечество столкнулось с феноменом, который Гегель назвал иронией истории.

В ряду рассматриваемых вопросов много интересных и заслуживающих внимание тем. Здесь и теоретические аспекты эволюции консерватизма, и взгляды отдельных мыслителей, и влияние различных теорий на формирование идеологических конструкций. Однако один из аспектов, как мне кажется, нуждается в расширенном изучении. Речь идет о соотношении консерватизма интеллектуальной элиты и народных представлений, их взаимодействия и противостояния. Другими словами, почему консерватизм элитар-

ный, свойственный определенным слоям отечественной интеллигенции не встретил поддержки и понимания со стороны основной массы населения? Собственно, сама по себе проблема не нова. Она логически вытекает из более широкого контекста «сшибки» традиционной культуры и нового миропонимания, моделей грядущего социального обустройства. В данном случае мы сталкиваемся с двумя понятиями, которые и образуют исследовательское поле – архаика традиционного бытия и цивилизационные инновации. Причем, обговорим сразу, использование и первого, и второго понятия отнюдь не содержит негативистского элемента, скорее каждое выступает в качестве констатирующей составляющей. Сегодня утверждение о гигантском культурном разрыве между интеллигенцией и народом не представляет ничего нового, как впрочем и то, что основы понимания этого феномена следует искать в рациональном и нерациональном восприятии окружающего мира. Также важно определиться и с хронологическими рамками. Представляется, что наиболее интересным и плодотворным может быть обращение ко второй половине XIX – началу XX вв., времени проверки на прочность всей социальной структуры страны.

Тезисно выделим некоторые из основных моментов, во многом определяющих существование русского крестьянина как одного из главных акторов процесса взаимодействия интеллигенции и народа. Первый – жизнь человека русской деревни (как, впрочем, сельских жителей и в других странах) генетически связана с окружающей природой, определяется и подчинена климатическим и географическим особенностям окружающей среды. Русские особенности – в принадлежности к зоне рискованного земледелия и, как следствие, – в периодическом чередовании урожайных и неурожайных лет, реальной опасности голодной смерти. В этих условиях крестьянин действует, сообразуясь с обстоятельствами и полагаясь на здравый смысл, выработанные и проверенные в веках способы выживания. Второй – выработка инструментария самозащиты, самосохранения, где главная роль отводится общинной взаимопомощи и взаимоподдержке. Ее главная задача состоит в обеспечении биологического существования. Коллективизм и совместная работа, может, и не обеспечивали роста благосостояния,

но, по крайней мере, не давали умереть с голоду. Третий – характер и целевая направленность труда заключаются не в получении прибыли, а «нормальном» (относительно равном) материальном уровне. Идеальный тип для деревни – средний крестьянин. Четвертый – поскольку окружающая природа является божьим творением, то и земля, в крестьянском представлении, не может принадлежать отдельному лицу. Отношение к частной собственности в целом – отрицательное, и уж тем более к нажитой не трудом (занятие торговлей, ростовщичество и т. п.). А раз это так, то по отношению к ней не грех относиться с презрением, ленцией, небрежением к работе. Другое дело, если это касается своих, таких же, как и ты землеробов, равных в бедности и нужде. Пятый – требование жить в своей среде по совести и правде, где главными чертами считались трудолюбие, уважительное отношение к старшим, «непротивопоставление» собственной персоны миру, готовность прийти на выручку односельчанам. Шестой – безусловный авторитет веры, но не авторитет знания. В крестьянской среде воспринимается и принимается та истина, которая реальна, осязаема и проверяема на практике. Отвлеченное теоретизирование и рассуждения на общие темы – баловство и забава, пустое времяпровождение. Наряду с этим человек не может не верить в бога, хотя бы потому, что это придает ему силы, дает надежду. Трудно говорить о глубокой набожности русского крестьянина, обращение к религии было скорее следованием традиции, где логика отступала на второй план, и оставалась вера в чудо. Седьмой – локальность проживания, кратковременность контактов с жителями других населенных пунктов, привычность пейзажа, окружение людьми одной национальности и т. п. оказывали влияние на становление неподдельной любви к родным местам. Отечеством для крестьянина было обычное русское село, а центром мира – волость. Патриотизм понимался как готовность в минуту суровых испытаний отдать свою жизнь за родных и близких, защитить их от грозящих напастей. В этом было мало от рационального понимания достоинств нации, но не было и презрения к другим народам, националистического самомнения. В худшем случае национализм проявлялся лишь на бытовой почве. Восьмой – характер общественных порядков

определялся на основе подчинения миру, а внутри семьи и крестьянского двора – старшему, «большаку». В его руках находилась власть, не допускающая ослушания и противления. Венчала эту цепь подчинения фигура царя, стоящая над всеми. Прав был К. Маркс, писавший, что «...сельские общины, сколь безобидными бы они ни казались, всегда были прочной основой восточного деспотизма...» [1]. Но если вера в царя являлась выражением веры крестьянина в патернализм государства, то власть в целом воспринималась как чуждое деревне явление, воплощением которой являлся продажный и жадный чиновник, которого не грех было обмануть, нарушить навязываемые нормы поведения. На большее, как правило, крестьянин решался крайне редко. Для того, чтобы это стало возможным, должны были произойти экстраординарные события внешнего и внутреннего порядка (война, стихийное бедствие и т. п.). Девятый – инертность, устойчивость, стабильность влияли на пассивность в формировании своих требований. Желание сохранить устои существования не приводило к осознанному формулированию идеологической программы действий. Крайне редко из крестьянской среды появлялся и руководитель движения. Для этого он должен был обладать набором качеств выдающегося человека, приобрести в глазах деревенских жителей ореол непогрешимости и непобедимости. Далеко не случайно часто повторяющимся явлением в России стало самозванство.

Другими словами, ограниченность интересов крестьянина вопросами сиюминутного существования, приверженность традиции, пассивность – действительно превращали его в надежную опору «трона и амвона». По меткому замечанию А. И. Герцена, «народ – консерватор по инстинкту... у него нет идеала вне существующих условий... Он держится за удручающий его быт, за тесные рамы, в которые он вколочен, – он верит в их прочность и обеспечение. Не понимая, что эту прочность он-то и дает. Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое. Он даже новое понимает только в старых одеждах» [2]. Но такой порядок вещей возможен лишь до определенного предела.

Эта крепко сколоченная и выдержавшая проверку временем социальная конструкция, естественно, рассчитана не на эфемерное и малопонятное крестьянину развитие, а на стабильное и длительное существование, при котором главный принцип звучал обезоруживающе просто: «Не было бы хуже!». Вместе с тем она внутренне противоречива и совмещает казалось бы несовместимые черты: признание общей собственности на землю и земельные переделы, убежденность в самоценности и значимости собственного труда и пренебрежение к другому рода занятиям («перо легче сохи»), уважение к власти и готовность к ее обвинению во всех смертных грехах и т. п. Архаика и традиционность, переплетаясь между собой, пронизывали насквозь миропонимание крестьянина и в зависимости от изменяющейся обстановки консервации и защите мог подвергнуться каждый из обозначенных элементов.

Консерватизм интеллектуальной элиты построен на совершенно иных основаниях, несопоставимых с народными представлениями. Начнем с исходной точки – появления консервативной доктрины и идеологии. Они – дети эпохи Просвещения, той эпохи, когда главными составляющими представлений о существовании человека становятся убежденность в динамике, а не статике бытия, в решающей роли знаний, образования и целенаправленной деятельности человека. Такой деятельности, при которой можно добиться желаемых и прогнозируемых результатов. Но в зависимости от того, как планировать и осуществлять намечаемые преобразования, сторонники Просвещения расходятся. Приверженцы идеи Прогресса настаивают на эволюционном или революционном пути развития. Им противостоят сторонники сочетания элементов старого и нового. Причем консерватизм появляется как реакция на быструю трансформацию привычных условий существования, мнимую или действительную поспешность в решениях, забвение заветов предков и т. п. При этом сама борьба и столкновение взглядов, как правило, происходят в рамках одной и той же интеллектуальной среды и часто напоминают игру ума, имеющую мало реальных связей с действительностью.

Причина этого достаточна проста: в их основе могут лежать разные научные доктрины, имеющие общую черту – достиже-

ние истины. И если исходить из этой посылки, то размышления консерваторов в чисто сциентистском аспекте имеют равную ценность в сравнении с размышлениями оголтелых либералов или неумных радикалов. Скажем, наблюдения Н. Я. Данилевского об особенностях российской цивилизации в некоторых аспектах не менее точны и убедительны, чем экономические выкладки Маркса, а политологические прогнозы К. Н. Леонтьева и И. А. Ильина пугают своей парадоксальной предсказуемостью даже сегодня.

Совершенно иная картина вырисовывается при переходе в область идеологии, где идеи имеют строгую направленность в достижении поставленной цели, конкретные задачи – ориентацию на определенные социальные слои. В том случае, если идеологические постулаты не выдерживают проверку временем, они отбрасываются и заменяются новыми. На идеологическом поприще консерватизм вторичен, поскольку вынужден реагировать на появление «опасных» и «вредных», с точки зрения существующей системы ценностей, идей. Отсюда – в общем-то оборонительная, а отнюдь не наступательная позиция консерваторов.

Что же отстаивали в своих идеях русские консерваторы? Роль и значимость религии (православия) как хранительницы моральных ценностей; национальные основы культуры, быта и существования нации; здравый смысл в противоположность безоглядному эволюционизму; государственное устройство (самодержавие). Но уже сама постановка этих идеологием чаще всего шла в русле рационального истолкования понятий. Вряд ли можно говорить о нерациональном или антирациональном подходе, когда речь идет о влиянии веры на существование человека. Обращение к Богу необъяснимо с точки зрения формальной логики, но анализ самого факта и база доказательств строятся на основе рационального понимания феномена. И здесь консерваторы – прямые последователи и одновременно заложники интеллектуальных поисков. Они изначально говорят на разных языках с народным консерватизмом.

В целом народ безучастен к прославлению основ национальной культуры. Гневные филиппики против «засилья» западного влияния и «разрушения соборности» русской цивилизации ему непонятны по одной простой причине – он не знает иных способов

существования кроме традиционного быта, который ему не с чем сравнивать. А вот жизнь города, «барская жизнь» не принимается и отвергается, как явление инобытия, непонятного, необъяснимого, а, значит, и неприемлемого.

В понимании здравого смысла консервативно настроенная интеллигенция и народ также расходились. Одно дело – разумность обыденной хозяйственной деятельности. И совершенно иное – принятие решения в жизни общественной, где требуются совершенно другие навыки и где господствуют другие законы взаимоотношений с властью.

Да и проблемы отношения к самодержавию как к форме государственности, пожалуй, не существовало в народной среде. Гораздо важнее был вопрос об истинности власти. Настоящей (истинной) считалась такая власть, которая удовлетворяла насущные требования населения и защищала его от внешней угрозы. Если этого не происходило, то реальный носитель власти объявлялся ложным избранником. Происходила десакрализация его, но не десакрализация власти как таковой.

Столкнувшись с серьезными изменениями второй половины XIX в., элитарный консерватизм по большому счету не смог им ничего противопоставить кроме идеологического триединства – православие, сильное централизованное государство и русский национализм. Но этих сакральных, с точки зрения интеллектуальных консерваторов, ценностей, даже воплощенных в простые и доступные лозунги, было недостаточно, чтобы овладеть сознанием масс. Их консерватизм был иного порядка и их ценности разительно отличались от интеллигентской среды.

К тому же масштаб потрясений, испытанных крестьянским миром после проведения реформ 60 – 70-х гг. XIX в., был несопоставим с горечью и болью идейных поисков, и может быть сравним только с современными трансформациями. Рыночное хозяйство, врезавшееся в российскую повседневность, по образному выражению В. П. Воронцова, со стороны предстало в облике исчадия ада, предвестником близкого конца света. В действительности русский капитализм стал предзнаменованием быстрого конца традиционного и архаичного существования крестьянского мира.

И дело не только в чисто экономических показателях: разрушение замкнутости хозяйственной деятельности, изменение ее мотивации, этики трудовых отношений. Произошло столкновение взаимоисключающих величин – ориентированной на развитие, прогресс и извлечение прибыли системы, где индивидуализм и рационализм господствуют и подавляют, со структурой, стремящейся к самосохранению и самовоспроизведению. Агрессивности и наступательности одной противостоял вековой опыт борьбы за существование другой. Нельзя сказать, что русская деревня не менялась, но она менялась весьма своеобразно. Она скорее стремилась не приспособиться к изменяющимся обстоятельствам, а приспособить эти обстоятельства к традиционным условиям существования. Не обладая для этого широким набором средств, русский крестьянин использовал хорошо апробированный и проверенный временем инструмент общины. Этот институт должен был смягчить социальное расслоение, обеспечить элементарное взаимопонимание, а где необходимо, и принудить к повиновению строптивых. Быстроте происходивших изменений крестьянский мир противопоставил отторжение правовых норм и жизнь по неписанным правилам и канонам трудовой этики. Жители деревни достаточно своеобразно трактовали интенсификацию труда, использование новых способов повышения урожайности, помощь (там, где она была) агрономов, земств и т. п. Правда, сама община справлялась с новыми задачами с трудом, тем более, что, лишившись в начале века поддержки государства, она испытывала серьезные трудности, однако смогла устоять и ответить вышедшим из нее отрубникам и хуторянам погромами и поджогами уже в начале 10-х гг. XX в. Не менее важен и другой факт – нехватка земли и демографический взрыв конца позапрошлого века привели в гигантскому выбросу в город выходцев из деревни. Сельское перенаселение привело не к урбанизации деревни, а к перенесению в город социальной психологии крестьянства, где по-прежнему продолжали играть главную роль коллективизм, отрицание частной собственности, обостренное неприятие и сопротивление несправедливому социальному порядку. Деревня мстила ускоренной модернизации, защищая и консервируя свои устои на ментальном уровне.

Решительный сдвиг наступил в годы первой мировой войны, когда в глазах людей произошла десакрализация власти в стране. Внешний толчок совпал с внутренними бедами и испытаниями, справиться с которыми можно было, только используя традиционные способы выживания. Если отбросить идеологические клише марксизма, то в Гражданскую войну произошел реванш общинности и ее дальнейшая победа на общегосударственном уровне. Даже кровавый и страшный «великий перелом» конца 20-х – начала 30-х гг. не изменил устоявшегося крестьянского мировоззрения. В очередной раз оно приспособило произошедшие изменения, сохранив основы своего бытия.

Сошлюсь на авторитетное мнение В. О. Ключевского. В одном из своих афоризмов он определил традицию и цель как цементирующую силу [3]. Это действительно так. А по отношению к советскому обществу следует признать, что некоторые элементы традиционной жизни народа (общинность, коллективизм и др.) были сохранены, появилась цель, на реализацию которой были направлены основные силы населения (коммунизм). Даже возвеличивание вождя совпадало с традицией: дистанция от мудрого отца семейства до мудрого отца народов оказалась не так уж велика. В результате государство на определенном этапе стало воплощением надежд и чаяний людей. А в государстве, вернемся опять же к Ключевскому, «...народ становится не только юридическим лицом, но и исторической личностью с более или менее выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения» [4].

Но такое «единение» не могло продолжаться долго. Как только в массе складывается убеждение в иллюзорности и невыполнимости поставленных задач, целевая установка рушится. Власть все больше теряет свое влияние. Нарастает внутриобщественное напряжение. Кажется, что происходит переоценка ценностей. Но на поверку, уже после первых попыток преобразований, оказывается, что основная масса населения так же привержена традиции, как и ранее. Представление о том, что достаточно изменения одного политического устройства для воплощения жизненно необходимых новаций, оказалось ложным. Круг замкнулся. И сегодняшние

попытки выработать национальную идеологию, включающую и консервативную составляющую, рискуют повторить уже совершенные ошибки, если по-прежнему их творцы будут оперировать понятиями, относящимися к макроуровню (государство, общество и т. п.). Выход – в точном и адресном определении ценностей, подлежащих консервации, и соотнесении их с интересами и представлениями как народа в целом, так и отдельного человека. Если не произойдет такой коррекции на микроуровне, то сложноорганизованная система начнет восстанавливать себя ускоренными темпами и с еще более ярко выраженными характеристиками.

1. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Изд. 2-е. Т. 9. С. 134.
2. *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. XX. Кн. 2. С. 589.
3. *Ключевский В. О.* Сочинения. М., 1990. Т. IX. С. 423.
4. Там же. С. 437.

## Глава 5

### Крестьянский консерватизм и аграрные реформы начала XX в.<sup>1</sup>

Важнейшей особенностью консервативных течений общественно-политической мысли всегда являлась апелляция к народным устоям, традиционная прочность которых рассматривалась как залог успешного и органического развития государственной и общественной жизни. В этом отношении особой заботой идеологов и практиков консерватизма неизменно пользовалось русское крестьянство. В построениях консерваторов оно рассматривалось как естественный носитель национальной самобытности и, в связи с этим, как главный оплот государственного строя.

Основания для таких построений были. Российское самодержавие на протяжении многих веков опиралось не только на узкий слой привилегированных классов, но и в не меньшей степени на монархизм народа, в первую очередь, конечно, крестьянства. Крестьянский монархизм нередко именуют наивным. Однако таков он только на первый взгляд. В действительности же наивного в нем мало. За столетия своей нелегкой истории крестьянство прочно усвоило представление о неограниченном самодержавии как о наиболее оптимальной для России форме политического устройства. Понятия о долге перед родиной и о царской воле в массовом крестьянском сознании были неотделимы, что консерваторы впол-

---

<sup>1</sup> Выполнено при поддержке Российского Гуманитарного научного фонда, проект № 03-01-008-10 а/ц.

не закономерно рассматривали как условие морально-политической устойчивости русского общества.

На устойчивость консервативной мысли во второй половине XIX в. свое влияние оказали некоторые условия крестьянского освобождения. Реформа 19 февраля 1861 г. оставила массовое сознание России в особом правовом пространстве. Крестьяне, объединенные в сельские общества, обособлялись от прочих социальных слоев. В общинах сохранялись сословные учреждения самоуправления, порядок совершения которого определялся традицией. В качестве основного юридического регулятора крестьянской жизни был сохранен волостной суд. Глава третья второго раздела «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» гласила, что в пределах волости крестьяне должны были из своей среды ежегодно избирать суд в количестве от четырех до двенадцати судей. Избранным в состав такого суда крестьянам необходимо было ведать «как споры и тяжбы между крестьянами, так и дела по маловажным их проступкам» [1].

Стоит обратить внимание на то, что по внешним признакам волостной суд был самым демократическим учреждением. Самодержавное правительство демонстрировало доверие к здравому смыслу народа, полагая, что режим крестьянского самоуправления сможет стать достойной заменой исчезавшей крепостнической опеке дворянства. При этом инициаторы преобразований хорошо понимали, что волостные суды не могли руководствоваться в своей деятельности нормами писаного закона. Для этого крестьянским судьям не хватало ни общей грамотности, ни традиций гражданского поведения. Расчет был, естественно, только на силу народных обычаев, на сложившиеся в крестьянском сословии нормы морали и стереотипы поведения.

Долгое время в консервативных кругах России держалось убеждение в том, что сохранение специфических форм крестьянского самоуправления, включая волостной суд, надежно служит общественному спокойствию и безопасности государства. Известные основания для такой уверенности у коронной власти были. Устройство крестьянского мира на протяжении столетий было одной из самых надежных опор самодержавного строя. Всем

своим строем крестьянская семья, а вместе с ней и община, воспроизводили на уровне народной жизни модель авторитарного государства с неограниченным правителем во главе. Естественная забота о стабильности государственного порядка побуждала верховную власть к сохранению сословной и правовой обособленности многомиллионного российского крестьянства и после отмены крепостного права.

Таким образом, стихийный консерватизм крестьянских установлений вполне соответствовал традиционализму самодержавного политического строя; ни тот, ни другой не были склонны к восприятию глубоких новаций. Отменив крепостничество, самодержавное государство искало залогов стабильности в народных обычаях и надеялось, что с потерей помещичьего административного контроля именно общинные порядки и обычное право не дадут освобожденному народу войти в состояние социальной неуправляемости. Как известно, о такой опасности неизменно предупреждали открытые противники крестьянской эмансипации. Надо учесть к тому же, что положиться на традиционные крестьянские обычаи верховная власть должна была и по необходимости. Правительству просто нечем было заменить уходящую власть помещиков. Кроме того, надо принять во внимание, что авторитарный режим в России довольно уверенно функционировал при торжестве коллективистского начала над индивидуальным. Словом, крестьянская община с ее обычным правом была для самодержавного государства жизненной необходимостью. И она до определенного времени оправдывала расчеты властей.

Однако к концу века ситуация стала быстро ухудшаться. Настойчивая поддержка общины с ее круговой порукой неожиданно для властей обернулась стремительным ростом социальной нестабильности в русской деревне. Крестьянская общинная солидарность все чаще стала проявляться в откровенно противоправных акциях: самовольных захватах частновладельческих земель, коллективных столкновениях с администрацией и помещиками, в грабежах дворянского имущества и т. п. Анализ происходивших перемен в социальном поведении общинников показывал, что сохранение патриархальных институтов народной жизни способ-

ствовало обострению крайне болезненной проблемы относительной избыточности аграрного населения. Внешним выражением этой проблемы стал популярный в революционных кругах вопрос о крестьянском малоземелье, единственным способом разрешения которого радикальная интеллигенция считала упразднение частной собственности на землю и ее уравнительный передел. При быстром росте населения и естественном сокращении душевого надела общинное крестьянство неминуемо тяготело к конфискационно-перераспределительным решениям, которые, с точки зрения властей, никак не соответствовали понятиям о законности и праве.

Большим достоинством общины в глазах консерваторов долгое время считалось ее противодействие развитию пролетариата в среде русского крестьянства. Действительно, общинные уравнительные переделы неизменно оставляли абсолютное большинство русских крестьян в положении собственников. Больше того, крестьянская надельная земля после реформ 1860-х гг. была фактически выведена из рыночного оборота и не могла быть продана другим владельцам. По этой причине общие размеры крестьянского общинного землевладения за пореформенные десятилетия заметно увеличились, хотя душевое земельное обеспечение сократилось из-за роста населения в среднем по стране почти в два раза (с 4,8 до 2,6 дес.). Но защитники традиционных устоев старались не замечать, что уравнительные переделы и хозяйственная солидарность прекрасно уживались внутри общинного крестьянства с проявлениями крайнего индивидуализма. При переделах крестьяне чрезвычайно ревниво следили за тем, чтобы земельные участки разного качества и разной удаленности получала каждая «душа» поровну. Поэтому-то крестьянский надел состоял из многих (иногда до 50 – 60) полос. Такая чересполосица создавала крайние неудобства в работе (одни переезды чего стоили!), однако душу общинника согревала мысль о том, что страдает не он один, что так трудятся все его односельчане. «Тебе хорошо, а мне худо, так пускай же и тебе будет худо. Поровнять...» – так горестно оценивал рутину сельской жизни популярный в свое время герой очерков Г. И. Успенского хозяйственный мужик Иван Ермолаич [2].

Добавим к этому, что при систематических переделах крестьяне не проявляли особого желания заботиться о качестве земли; хорошо удобренные и обработанные участки легко могли перейти к другим хозяевам. При страшной чересполосице вывоз навоза на поля нередко был просто убыточен, и крестьяне черноземных губерний порой просто вываливали его в овраги. Не случайно использование земельных угодий общинным крестьянством нередко характеризовалось специалистами как хищническое.

Столыпинское землеустройство всем своим содержанием было направлено на всемерную рационализацию аграрного строя и не могло не встретить упорного сопротивления основной массы общинного крестьянства. Причин негативного отношения большинства общинников к аграрным новациям было много. Но одна из важнейших состояла, безусловно, в том, что в крестьянском сознании общинные традиции связывались с относительной безопасностью деревенской жизни, со способностью народа противостоять суровым натискам природы или властей. Такое отношение, в свою очередь, свидетельствовало о том, что для большинства великорусских крестьян ценности экономической свободы и рыночного процветания были еще совсем не доступны. Традиционный аскетизм русского крестьянина был отражением того непреложного факта, что материальная безопасность бытия ценилась народом куда больше, чем вероятность хозяйственного, и, тем более, производственного успеха.

Вот почему для многих крестьян было характерно враждебное отношение к попыткам разрушения общины, особенно в первые годы реализации столыпинского законодательства. Крестьяне многих селений отказывались дать согласие на выделение наделов тем односельчанам, которые отваживались принять новые условия хозяйствования, препятствовали работам землеустроительных комиссий, порой открыто и буйно сопротивлялись властям. Корреспонденции из Воронежской губернии сообщали, что крестьянам, выходявшим на отруба, общинники нередко били рамы, угрожали физической расправой, не пропускали скот через общие угодья и т. п. Тем же, кто все-таки настаивал на выделении, пытались отвести самые непригодные земли, рытвины, глину и т. п. [3].

Агрессивное отношение общинников к односельчанам-новаторам совсем не означало, что большинству крестьян было вообще чуждо стремление к материальному успеху. Жить богаче и сытнее хотел, конечно, каждый. Но такое желание не должно было размывать традиционных устоев. Вот почему община вполне мирно уживалась с кулаком, а кулак, в свою очередь охотно поддерживал общинные порядки. Кулачество не подрывало общинного строя, и поэтому не отвергалось крестьянским сознанием. На это обстоятельство обратил внимание еще авторитетный знаток сельской жизни А. Н. Энгельгардт. «Известной дозой кулачества, – замечал он, – обладает каждый крестьянин, за исключением недоумков да особенно добродушных людей и вообще «карасей». Каждый мужик в известной степени кулак, щука, которая на то и в море, чтобы карась не дремал». У крестьян, подчеркивал А. Н. Энгельгардт, «крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству – все это сильно развито в крестьянской среде. Кулаческие идеалы царят в ней, каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянин, если обстоятельства тому поспособствуют, будет самым отличнейшим образом эксплуатировать другого, все равно, крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду» [4]. Это вполне достоверное свидетельство писателя-народника лишний раз убеждало: общинный консерватизм отнюдь не мешал духу индивидуальной наживы, что неизбежно вело к деформации крестьянской морали.

Община была вполне совместима с резкими контрастами в имущественном положении крестьянства. Она была несовместима лишь с таким хозяйственным успехом, который достигался на почве производства товарной продукции. Как подмечал тот же А. Н. Энгельгардт, непредприимчивое большинство крестьян не только не может быть хорошими хозяевами, но даже и работать хорошо не умеет. «Положительно можно сказать, что деревня и общинное владение землей спасают многих малоспособных к хозяйству от окончательного разорения» [5]. Именно эта сторона

общины была дорога большинству крестьян. Но она же становилась совершенно неприемлемой для предприимчивых людей пореформенной генерации. С негодованием отвергал косность консервативного большинства преуспевающий персонаж повести И. А. Бунина «Деревня»: «Ты подумай только: пашут землю целую тысячу лет, да что я! больше! – а пахать путем то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы», – только и всего» [6]. Разумеется, деятельный герой повести в запальчивости мог сгустить краски. Но в данном случае важны не его преувеличения. Приходится признать, что именно развитие предприимчивости в производственной сфере представляло для общины главную угрозу и побуждало ее к активному противодействию правительственным преобразованиям либерального характера.

Защитные действия общинников в годы столыпинских нововведений были подчас чрезвычайно энергичными. Неизбежные в ходе размежевания сельскохозяйственных угодий конфликты порой выливались в полные разгромы хозяйства «выделенцев» и даже в физические расправы с «новыми помещиками». Погромы такого рода свидетельствовали не столько о росте революционных настроений в деревне, сколько об активизации консервативных устремлений бунтовавших крестьян, об их стремлении вернуть «новаторов» в прежнюю общинную колею [7]. Как убедительно показал в своем исследовании В. П. Булдаков, именно этот агрессивный традиционализм общинного крестьянства сыграл решающую роль в разгуле грандиозного «черного передела», прокатившегося по просторам России во время революционных потрясений 1917 – 1918 гг. [8]. Крушение традиционной российской государственности практически немедленно привело к уничтожению всех столыпинских новаций. Большевистский Декрет о земле и диктатура комбедов только легализовали стихию общинного бунта.

Однако с обобщениями по поводу крестьянского традиционализма спешить не стоит. Российское крестьянство в начале XX столетия было представлено как консервативно настроенным общинным большинством, так и гораздо более предприимчивым меньшинством, определенно тяготившимся традиционными

стеснениями и вполне готовым к поддержке правительственных начинаний, прежде всего, курса на индивидуализацию земельной собственности. Вопреки распространенным представлениям, такое меньшинство было представлено не столько кулачеством, сколько представителями молодых и более динамичных поколений крестьян, чье мировоззрение довольно быстро менялось в эпоху пореформенного развития России. Если бы часть крестьян к началу XX в. не обнаруживала своего стремления избавиться от оков общинной регламентации, П. А. Столыпину вообще нельзя было бы ставить и решать проблему внутренней реорганизации крестьянской жизни на путях выхода отдельных домохозяев из общин и закрепления земельных наделов в частную собственность. Как полагает современный исследователь Б. Н. Миронов, «около трети крестьян сделали шаг в сторону личной собственности еще до столыпинской реформы» [9]. Региональные исследования полностью подтверждают этот вывод.

Таким образом, в начале XX столетия крестьянство вовсе не являлось однородным социальным бастионом консерватизма. Значительные слои крестьянства сразу же и охотно поддержали правительственный курс на устройство рациональных хозяйств хуторского или отрубного типа. Даже в относительно менее развитой Воронежской Губернии из почти 400 тыс. крестьянских дворов более 135 тыс. изъявили желание перейти к подворному землевладению. При этом, для заявления о выходе из общины от домохозяев нередко требовалось большое мужество: противодействие общинного большинства поначалу ощущалось очень заметно, а жить приходилось в одном селении.

Количество крестьянских хозяйств, проявивших склонность к отходу от привычного традиционализма, неуклонно возрастало. Конечно, рост числа крестьян-новаторов прямо зависел от экономических успехов нового аграрного курса. Среднегодовые объемы сельскохозяйственного производства за годы преобразований выросли примерно на 25 – 30 %. Общий объем производства хлебов достиг в 1913 г. 5,6 млрд. пудов, причем сельскохозяйственные продукты являлись главным предметом российского экспорта [10]. По оценкам наблюдателей, крестьяне-новаторы стали проявлять

гораздо более устойчивый интерес к новой технике, к общим и агрономическим знаниям. Пробуждавшуюся в крестьянской среде тягу к сельскохозяйственным знаниям отмечали и земские агрономы, хорошо осведомленные о протекавших в русской деревне процессах. Нередки даже случаи, писал один из них, «когда поступающие в деревню книги читаются целыми группами и кружками земледельцев, объединившихся вокруг хорошо грамотного и любознательного чтеца» [11].

Ярче всего преимущества частного крестьянского хозяйства выявлялись на сельскохозяйственных выставках, проводившихся в ту пору довольно часто. Например, на выставке в Бобровском уезде в 1912 г. крестьяне-отрубники демонстрировали рожь, давшую на их наделах от 110 до 160 пудов с десятины, что по меньшей мере вдвое превышало урожай на общинных полях. Зная картину всходов у большинства крестьян, отмечал обозреватель, «стоишь перед этим ящиком (со всходами – *М. К.*) и удивляешься. Больно становится за крестьян, которые никак не могут расстаться с тяжелым наследием отцов, терпя от этого голод и холод» [12]. Первые успехи реформ заставляли сознательную часть крестьян встряхнуться и с большим вниманием отнестись к изменению привычного жизненного уклада. Все свидетельствует о том, писал, например, участковый агроном Землянского уезда В. Семенцов, «что вопросы разумного хозяйствования не в далеком будущем привлекут большой контингент хозяев» [13].

Своеобразным испытанием крестьянской способности воспринимать непривычные новшества стало введение правительством «сухого закона» в самом начале первой мировой войны. Как ни удивительно теперь отмечать, запрет на производство и продажу спиртных напитков совсем не вызвал массового недовольства крестьян. При этом в деревне запрет действовал гораздо эффективнее, чем в городе. Если городским властям пришлось практически сразу же столкнуться с проблемой распространения всевозможных суррогатов, то сельская администрация могла быть спокойна. По заключениям многих наблюдателей, в 1914 – 1915 гг. произошло массовое отрезвление деревни. И в данной ситуации надежды властей больше всего оправдывали сторонники проведе-

ния нового аграрного курса. Исследователи русской крестьянской жизни давно подметили, что сохранение общинных порядков способствовало сильному распространению пьянства. Писатель-демократ Н. М. Астырев в своих очерках с горечью отмечал все возрастающую склонность односельчан к винным угощениям. Сельский сход легко мог принять любое, подчас даже явно невыгодное для себя решение, если за этим маячила перспектива хорошей выпивки. «Я решительно не могу себе представить..., до чего еще может дойти в дальнейшем склонность к водке сельских сходов. Кажется, дальше идти некуда, ибо и теперь уже делаются невероятные вещи» [14].

Напротив, крестьяне, покинувшие общину, нередко демонстрировали желание избавиться от пагубной привычки «обмывать» любое событие. Так, в апреле 1914 г. крестьяне-собственники села Чернава Елецкого уезда на своем сходе заявили, что бедность происходит «исключительно от злоупотребления спиртными напитками» и что дальнейшее существования этого зла грозит полнейшей гибелью «нашего имущественного благосостояния и нравственности». Поэтому вышедшие из общины крестьяне «единогласно решили прекратить указанное зло в самом его корне, а именно: совершенно прекратить как продажу, так и употребление спиртных напитков» [15]. Об отрезвлении деревни в первые месяцы войны писали многие публицисты. В печати отмечалось даже, что сокращение пьянства привело к росту цен на сельскохозяйственные продукты, так как крестьяне стали расчетливее относиться к их продаже. Сильное влияние на повышение цен, сообщал воронежский полицмейстер, имело «закрытие винных лавок: крестьяне, вследствие прекращения пьянства, не стали, без особой нужды, вывозить на рынок хлеб по дешевым ценам» [16]. Кстати сказать, самогоноварения деревня в первые годы войны еще не знала.

Таким образом, по ходу реформ столкнулись два принципиально разных подхода, которые, условно говоря, можно назвать консервативным и новаторским. Первый из них был характерен для общинников и кулаков, второй – для крестьян, решивших воспользоваться новым законодательством. Со вторым были связаны зримые перемены к лучшему. «Русская деревня последнего деся-

тилетия, – писал современник, – усиленно менялась. На какую бы сторону ее жизни мы ни взглянули – везде шла стройка, стучали топоры, звучали новые речи, и всюду из-под обомшелых камней старины пробивалась молодая сильная поросль» [17]. Однако экономические и социальные перемены давались буквально с боем. На всех новшествах, отмечал очевидец, «лежат следы большой борьбы, долгих усилий, нередко большого взаимного озлобления. «Чтобы передохли все эти старые хрычи», – вырывается у одной стороны. «Подождем еще. Умнее отцов захотели быть... молоко-сосы!» – гневно отвечали вторые, и они протестовали, боролись, мешали» – так характеризовал обстановку в деревне обозреватель С. Маслов [18].

Потеря привычного образа жизни с неизбежностью повышала социально-политическую напряженность в русской деревне. Страна в очередной раз встала перед историческим выбором.

1. Российское законодательство X–XX веков. М., 1989. Т. 7. С. 57.
2. Успенский Г. И. Крестьянин и крестьянский труд // Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 62.
3. Чернышов И. В. Община после 9 ноября 1906 г. Пг., 1917. Ч. 1. С. 106.
4. Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872 – 1887. М., 1987. С. 520.
5. Там же. С. 287.
6. Бунин И. А. Собр. соч. М., 1988. Т. 2. С. 205.
7. Карпачев М. Д. Волнение крестьян-общинников в Козловке в августе 1914 г. // Из истории Воронежского края. Воронеж, 2000. С. 138.
8. Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 105 – 115.
9. Миронов Б. Н. Социальная история России. СПб., 1999. Т. 1. С. 480.
10. Россия, 1913. СПб., 1991. С. 58 – 59.
11. Южнорусская сельскохозяйственная газета. 1912. 5 окт.
12. Там же. 1912. 3 мая.
13. Семенцов В. Внешкольное образование в современной деревне Воронежской губернии // Наше хозяйство. 1914. №12. С. 3.
14. Астырев Н. М. В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления. М., 1886. С. 244.
15. Наше хозяйство. 1914. № 9. С. 25.
16. ГАВО, ф. 21, оп. 1, д. 2237, л. 24.
17. Вестник кооперации. 1916. № 5. С. 64.
18. Там же.

Русский консерватизм  
и русские консерваторы  
первой половины XIX в.

## Глава 1

### «Патриархальная» модель общественного устройства и проблемы русской национальной самобытности в «Русском вестнике»

С. Н. Глинки (1808 – 1812 гг.)<sup>1</sup>

Долгое время в Европе считалось, что власть отца над его детьми должна быть столь же непререкаемой, как и абсолютная власть королей и знати, поскольку они также считались «отцами» своих подданных. Глубокие изменения в этих представлениях произошли в XVIII столетии, когда нарастающая критика отцовской опеки и надзора разрушила патриархальную идеологию, поддерживавшую старый режим. Современные исследования даже связывают начало американской и французской революций с изменившимися представлениями о природе семьи [1]. Эти идеи оказали мощное влияние на российский прозападно настроенный высший слой, и вынудили консерваторов искать не столь жестко авторитаристское оправдание старого режима. Большая часть их духовных исканий была своего рода попыткой сочетать самодержавие и крепостничество с уважением человеческого достоинства и тонкой моральной чувствительностью, которая во все возрастающей степени требовалась от каждого культурного европейца. Славянофильство, которое возвеличивало простонародье и подчеркивало обязанности самодержца и дворянства, было результатом подобных поисков. Болезненный процесс, в результате которого протославянофильские воззрения возникли на почве дворянской культуры Екатерининской эпохи, удивительным образом отразился в бурной биогра-

---

<sup>1</sup> Данная статья была опубликована на англ. языке в *Slavic Review* 57, № 1 (Spring 1998). Перевод А. Ю. Минакова, Е. Н. Азизовой, Н. Н. Лупаревой.

фии поэта, драматурга и историка-дилетанта Сергея Николаевича Глинки [2].

Жизненный путь Глинки почти полностью совпал с «эпохой революций». Американская Декларация независимости была принята за двенадцать дней до его рождения [3]. В середине его жизни Наполеон предпринял неудавшееся вторжение в Россию; а умер Глинка в апреле 1847 г., накануне последнего революционного урагана, прокатившегося по Европе. Он сам в своем личностном и интеллектуальном развитии явился зеркалом этого мятежного времени. Как и многие по обе стороны Атлантики, он находил старый режим и его антитезу одинаково неприемлемыми и жаждал синтеза, который снял бы социальные противоречия без болезненных судорог революционного насилия. Когда выяснилось, что это невозможно, Глинка оказался перед проблемой выбора, которая стояла и перед его современниками. Хотя он не был особенно глубоким философом или одаренным писателем – а возможно, именно из-за отсутствия гениальности и оригинальности – его жизнь и труды отразили опыт и интересы многих представителей этого поколения.

Глинка был жестким социальным критиком, который испытывал отчуждение от благородного сословия, к которому сам принадлежал, и одновременно мучительно ощущал отчуждение дворянства от простонародья. Причиной последнего он считал западное культурное влияние и «философов осьмагонадесять столетия», хотя как раз эти самые философы повлияли на формирование его собственных интеллектуальных воззрений и наиболее глубоких убеждений. В конце концов он разрешил эту дилемму, подобно тому, как это позже сделали славянофилы, сконструировав версию истории, в которой ценности Просвещения – моральное чувство, уважение достоинства всех людей, беззаветное служение нации, вера в то, что правящий класс будет править, руководствуясь только лишь моральными законами, не прибегая к насилию – все это идентифицировалось с допетровской Русью, в то время как французская революция и Наполеоновская империя представлялись им как тотальное отрицание этих ценностей. Фундаментом этих ценностей была концепция добродетели и власти, которая, по мысли Глинки, должна была укрепить правящие структуры в России и

устранить пороки российского общества. Трагедия его воззрений, как и взглядов славянофилов, состояла в том, что они оказались тупиковыми, поскольку эти властные структуры так и не захотели отказаться от своих пороков [4].

Глинка родился в 1776 г. в Смоленской губернии, в дворянской семье среднего достатка, и в возрасте шести лет был принят в Санкт-Петербургский сухопутный шляхетский кадетский корпус. Эти два факта его детства серьезно повлияли на мировоззрение Глинки. Начнем с того, что Глинка на всю жизнь сохранил привязанность к скромному сельскому поместью, противопоставляя его извращенному образу жизни аристократии в крупных городах. Как он позже вспоминал, его отец «жил без спеси и без чванства, в мире с самим собой и со всеми. Алчная роскошь не отделяла еще тогда резкими чертами помещиков от почтенных питателей рода человеческого, то есть от крестьян» [5].

Пребывание в кадетском корпусе, в котором Глинка учился с 1782 по 1795 гг., дало ему огромный жизненный опыт. Это было одно из ведущих образовательных заведений в России. Его закончили А. П. Сумароков, М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин и другие известные деятели культуры, а также многие видные государственные чиновники и будущие участники декабристского движения. Под руководством И. И. Бецкого (1765 – 1782) и барона Ф. А. фон Ангальта (1786 – 1794) в кадетском корпусе предпринимались попытки воспитать учащихся в духе идей романа Ж. Ж. Руссо «Эмиль». Кадеты были в курсе политических и литературных новостей, читая последние русские и зарубежные периодические издания; в корпусе широко поощрялось чтение и обсуждение прочитанного вместе с наставниками, в атмосфере открытости и терпимости. В курсе наук упор делался на изучении греко-римской классики, французской культуры, хотя наряду с этим заучивались народные русские поговорки, для того, чтобы тем самым попытаться свести к минимуму кастовые кадетские предрассудки. Во всех отношениях кадеты понуждались к проявлениям нравственной чистоты, любви, храбрости, доброты, благородства, оценке людей по их нравственным достоинствам, а не по положению в обществе или в военно-бюрократической иерархии. Сентиментальность, нравственный самоанализ находились в центре обучения в кадетских

корпусах, чего нельзя сказать об эмпирическом изучении российского общества. В результате кадеты зачастую переживали сильное разочарование, выйдя из родных стен и обнаружив, что реалии российской жизни далеки от идеалов Руссо [6].

Трудности, переживаемые кадетами, иллюстрируют парадокс Екатерининского «просвещенного абсолютизма», который одновременно желал распространения понятий о свободе и достоинстве личности и усиления жесткой социальной иерархии. Тот факт, что уроки, извлеченные из романа «Эмиль», сделают в конце концов некоторых кадетов неподготовленными к «реальной жизни» при старом режиме, был абсолютно предсказуем, и это, действительно, глубоко повлияло на мировоззрение ряда будущих декабристов. Екатерина II понимала это, когда в 1763 г. жаловалась, что «слышно, что в Академии наук продают такие книги, которые против закона и доброго нрава направлены и которые во всем свете запрещены, как, например, «Эмиль» Руссо». Естественно, она затем приказала, чтобы крамольные литературные произведения были сразу же удалены с книжных полок Академии [7].

Глинка обнаружил, что подобное образование едва ли подготовит его к тому, чтобы стать «нормальным» русским дворянином, который делит время между государственной службой и управлением крепостными. Действительно, во время первой поездки домой после окончания обучения в 1795 г., он взял с собой запрещенную книгу А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой осуждались крепостничество и абсолютизм и идеализировалось русское крестьянство [8]. Затем Глинка поступил на военную службу в Москве, но вскоре пришел к убеждению, что его служба бесполезна для общества. Он был шокирован распущенностью и высокомерием московской аристократии. Его привлек мир театра. Глинка стал переводить иностранные оперы, писать стихи и в конечном итоге оставил военную службу (в чине майора) в 1800 г. При этом он не желал жить на доходы от крепостного хозяйства и отказался от подаренных другом шестидесяти крестьянских «душ», а также от доли материнского наследства после ее смерти в 1801 г. [9]. Глинка стал (и в дальнейшем таковым и остался) бедным писателем, осужденным в силу нравственных убеждений и принадлежности к

городской культуре на самоизоляцию от мира государственной службы и образа жизни помещиков, а, с другой стороны, психологически неспособным полностью отказаться от системы крепостничества и дворянских привилегий.

Социополитические убеждения Глинки уходили корнями в традицию «республиканизма» XVIII в., который провозглашал, что аристократия культурных, самоотверженных и добродетельных патриотов имеет одновременно право и обязанность возглавлять народные массы. Политически «республиканизм» был палкой о двух концах, так как он, с одной стороны, представлял аргументы против коррупции, эгоизма старого режима, с другой стороны, выступал против демократических попыток ослабить власть аристократии [10]. Глинка весьма серьезно воспринимал те моральные обязательства, которые подобный «республиканизм» накладывал на монарха и дворянство. Эта сторона его взглядов вдобавок заставляла его сентиментально идеализировать крестьянство. Однако, нет причин полагать, что его критические стансы по отношению к реалиям старого режима могли бы привести его к постановке вопроса о законности основных структур этого режима. В целом его концепция истории была обращена к роли великих личностей. Почти нигде в своих работах он не предполагал, что развитое общество требует особых государственных институтов; с его точки зрения, для этого требовались лишь добродетельные вожди. Французская революция помогла ему оформить эти взгляды: она началась, когда Глинке было тринадцать лет, и достигла своей кровавой кульминации, когда ему было почти восемнадцать, вероятно, ее жестокие эксцессы произвели на него неизгладимое впечатление. Глинку мало интересовали изменения, которые произошли во французском обществе в период революционного и наполеоновского режимов, он с ужасом наблюдал крах порядка, общественных приличий и военную агрессию, которые сопровождали революцию. Впоследствии в его писаниях встречалась доля восхищения Наполеоном как масштабной исторической фигурой, но при этом он обличал французского императора, как человека, жаждущего крови, войны и насилия. Следовательно, хотя Глинка критиковал определенные аспекты старого режима, он не верил в

то, что его базовые структуры имеют неисправимые изъяны, а также в то, что другая система доказала свое превосходство.

В любом случае, его взгляды на «политические» события поначалу не пошли дальше личного отвращения к государственной службе и владению крепостными. Его энергия ушла на борьбу с последующими трудностями повседневной жизни. Не имея семьи (он не был женат до 1808 г.), крепостных, постоянной работы, постоянного дохода, а также заметного литературного успеха, он поначалу вел жизнь неудачника, который был выброшен из традиционного дворянского общества. Все это изменилось во время войн с Наполеоном в 1805 – 1807 гг. Глинка был захвачен атмосферой антифранцузского патриотизма, которая царила в российском высшем обществе [11]. Он отправился добровольцем в народное ополчение и – хотя фактически не участвовал в сражениях – оказался бок о бок с войсками, состоявшими из крестьян. Для глубоко эмоционального Глинки наблюдения за храбростью и патриотизмом крестьян было открытием. Этот опыт положил начало формированию концепции самобытности России, ее миссии, которая не изменилась сколь-нибудь существенно в последующие десятилетия его жизни. Патриотизм, его вера в великодушный характер старого режима, политическая франкофобия, подозрение, что критики старого режима XVIII в. подготовили почву для ужасов французской революции и шествия Наполеона по Европе – все эти факторы оформились в единую идеологическую систему. Сразу же после подписания Тильзитского мира в 1807 г. на условиях, унижительных для России, Глинка счел, что его жизненной миссией является журнальный «крестовый поход», на основе патриотической идеологии, которую он развил, против «исполина нашего времени» Наполеона. Он начал пропаганду своих взглядов в серии пьес на исторические темы, в основном из допетровской эпохи [12], но его главным оружием стал ежемесячник «Русский вестник», который он издавал с 1808 по 1825 гг. – необыкновенно долгий срок по тем временам, особенно если учесть, что Глинка издавал в нем в основном свои собственные работы.

В первой же статье Глинка изложил свои основные идеи, одновременно продемонстрировав и те парадоксы, которые они содержали. Он надеялся предоставлять читателям «известия о благо-

деяниях, полезных заведений, словом, о всем том, что может усладить сердца русские»; эти известия должны были составить «новую отечественную историю», которой родители обучали бы затем своих детей, чтобы «одушевлять их рвением к добродетели и общему благу». Врагами этой добродетели выступали «философы осьмагонадесять столетия», чьи идеи, по мнению Глинки, спровоцировали Французскую революцию, те, кого он считал виновными в поощрении самодовольного высокомерия, эгоизма и разъедающего скептицизма, разрушавших основы общественного порядка и нравственности. Эти писатели, как утверждал Глинка, «порицали все, все опровергали, обещевали *беспредельное просвещение, неограниченную свободу*, не говоря, что такое то и другое, не показывая к ним никакого пути; словом, они желали *преобразить все по своему*». Философы, которых опровергал Глинка, были движимы «мечтами воспаленного и тщеславного воображения»; а их губительное влияние распространялось посредством романов и «мод»; последнее слово Глинка всегда выделял курсивом, чтобы подчеркнуть его абсолютную чужеродность русской культуре. Он обещал противопоставлять этому влиянию «не вымыслы *романические*, но нравы и добродетели праотцев наших» [13].

Таковой по сути и была идеологическая платформа «Русского вестника»: она совмещала разоблачение утопических анархических учений *философов* и их ужасающих последствий, ставших очевидными в ходе Французской революции, и попытку свести на нет их влияние на русское общество, путем обращения к добродетелям предков – состраданию, доброте, мужеству, патриотизму, простоте, семейному укладу, – и изображением того, как эти добродетели сохраняются в настоящем. Но в то же время эта вступительная статья показывала глубинную связь Глинки с тем самым Просвещением, которое он так критиковал: с одной стороны, превозносимые им добродетели были слишком уж созвучны с теми ценностями, которые защищали просветители [14]; с другой стороны, он предварял список великих русских исторических деятелей прошлого именами знаменитых греческих, римских и французских авторов и зачастую подкреплял свои доводы высказываниями Б. Франклина.

Его нападки на Францию (и тех русских, которые ее идеализировали) нашли широкий отклик среди читателей после поражения России в битвах при Аустерлице в 1805 г. и при Фридланде в 1807 г. Однако по причинам политического свойства они не могли быть достаточно откровенными: несмотря на то, что эпоха редкостного взаимопонимания между императорской властью и русскими писателями, наступившая после принятия исключительно либерального цензурного устава 1804 г., продолжалась, правительство, подписавшее унижительный для России Тильзитский мир с Наполеоном, ограничивало открытую критику в адрес грозного союзника. «Русский вестник» находился в двойной зависимости от государства: он не мог издаваться без разрешения цензора и печатался в казенном издательстве при Московском университете [15]. И действительно, в 1808 г. одна-единственная статья Глинки, весьма для него необычная, в которой говорилось, что в случае будущей войны с Россией Франция, вероятнее всего, потерпит поражение, сразу же вызвала протест французского посла, подавшего царю жалобу на издателя [16]. Поэтому Глинка писал статьи, казалось бы, далекие от текущих международных событий: в основном это были зарисовки быта допетровской эпохи, призванные иллюстрировать и подтвердить идеи автора о праотческих добродетелях; нравоучительные повести, короткие рассказы и диалоги, восхвалявшие простую сельскую жизнь и критиковавшие образ жизни аристократов, помешанных на французских модах; бескомпромиссные нападки на иностранные книги русофобского содержания [17] и, напротив, благожелательные отзывы о французских книгах, критикующих Просвещение, а также информация о бедных, но добродетельных русских жителях и о финансовой помощи, которую они получали от сочувствовавших им читателей «Русского вестника». Глинка часто просил читателей присылать письма и получал их немало (обычно анонимные или подписанные псевдонимами), оставаясь при этом основным автором своего журнала.

Концепция общества Глинки была патриархальной по своей сути, так как мерилom всех общественных отношений у него выступала семья. Он был воспитан в кадетском корпусе, в обстанов-

ке, пропитанной духом литературы французского Просвещения, которая превозносила взаимопонимание между почитаемым, но нежным отцом и его преданными, любящими детьми – т. е. ту модель семьи, которую Линн Хант называет моделью «добротого отца» – как единственно приемлемую основу для семейного (а шире, общественного и политического) руководства. Среди образованных европейцев и американцев эта концепция «добротого отца» значительно оттеснила унаследованное от старого режима представление о роли отца как сурового блюстителя порядка. Глинка почти без изменений воспроизвел идею «добротого отца» в своих сочинениях, что опять-таки доказывает сильное влияние на него идеологии Просвещения. К тому же он постоянно цитировал французских авторов, включая Вольтера, Руссо, Монтескье, Дидро, Кондильяка, Шатобриана и многих других, и довольно часто делал обзор новых французских книг. Глинка был также прекрасно знаком с античной литературой, оказавшей столь сильное влияние на французскую (он свободно цитировал Тацита, Ливия, Плутарха, Марка Аврелия и других римских и греческих авторов), и – в свойственной европейцам XVIII столетия форме – смотрел на античную историю как на образец, в сравнении с которым события недавнего прошлого и люди, в них участвовавшие, казались такими незначительными. В своих мемуарах Глинка вспоминал о директорах кадетского корпуса Бецком и Ангальте, как об образцовых «добротых отцах», а сам корпус изображал, как совершенный образец семейной гармонии. И по окончании обучения в 1795 г. он продолжал считать корпус идеальной моделью человеческих отношений, которую он желал распространить на все общество [18]. Именно эта концепция «добротого отца», как нам кажется, являет собой ядро представлений Глинки об общественной власти. Хотя его сочинения не содержат стройных богословских взглядов, он мыслил Бога как милосердного главу всего человечества. Точно так же царь добродетельно правит своими подданными, а помещики – своими крестьянами. Все эти связи Глинка представляет как отношения отца со своими детьми, а идеальное общество он рисует как идиллическую патриархальную семью, живущую в согласии и единомыслии.

Более всего занимавшим его аспектом общественного устройства были отношения между помещиками и крестьянами. Подобно писателям-сентименталистам Радищеву и Карамзину, Глинка пытался покончить со все еще бытовавшим среди многих помещиков отношением к крестьянам, как к грубым бессловесным существам [19]. В своих сочинениях он представлял крестьян как высокоодухотворенных возделывателей Божьей земли, говоривших и поступавших как благовоспитанные люди и в полной мере демонстрировавших те же сентиментальные эмоции, которых требовала современная европейская литература. Они, конечно, не походили на непокорных, неумелых, бесчестных, ленивых пьяниц, а именно такой стереотип был создан непоколебимыми сторонниками крепостного права, к числу коих принадлежал друг и покровитель Глинки граф Ф. В. Ростопчин, утверждавший, что «вообще распутство, лень и нерадение их превышает понятие», и что «крестьянин к обработке земли и приуготовлению чистого и хорошего хлеба должен быть доведен принуждением» [20]. Мысль о духовном превосходстве крестьян была основополагающей в концепции Глинки, и он с жаром описывал их готовность пожертвовать собой ради своих братьев крестьян; их самоотверженную честность, набожность и милосердие, их глубочайшую любовь к своим поселениям и семьям и их патриотическую преданность своему царю. Глинка чрезвычайно возмущался тем, что некоторые помещики все еще покупали и продавали крестьян; сам же он помог обрести свободу одному крепостному музыканту, вращавшемуся в высшем обществе, что делало его зависимость от помещика все более унижительной [21]. Крестьяне, по мнению Глинки, были чувствительными, умными, добродетельными «детьми», чьи моральные качества просто требовали от помещиков быть им «добрыми отцами». Таким образом, его взгляд на крестьянство очень напоминал позицию Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву». Однако два автора, исходя из одной предпосылки, сделали совершенно разные политические выводы: Радищев осуждал глубокую безнравственность крепостного права и деспотизм, тогда как Глинка призывал дворян и монарха быть «добрыми отцами».

Он был убежден, что отсутствие равенства в русском общественном порядке могло быть оправдано лишь теми общественными повинностями, которые несли все сословия. Он часто обращался к этой теме, в особенности к обязанностям дворянства. Так, он отмечал, что, хотя народная пословица «добрый слуга за Господина рад умереть» показывает естественную для крестьян преданность помещикам, другая поговорка «Куда дворяне, туда и миряне» требует, чтобы дворяне показывали пример добродетельного поведения [22]. Он указывал на то, что благородные «отцы семейств» – «отцы» в буквальном смысле – учили своих сыновней быть воинами, и были готовы даже увидеть их павшими в битве, с тем, чтобы неизбежно остаться доживать свою старость в одиночестве. Такие жертвы действительно отличали дворян от других сословий, причем они должны были переживать без всяких жалоб, как справедливая плата за их привилегии [23]. Рассказывая о народном ополчении, организованном для борьбы с Наполеоном в 1806-1807 гг., Глинка изображал как должное усилия дворян и купечества, «которые должны быть тем усерднее, тем неутомимее к пользе общей, чем более предоставлено им отличий и выгод Отечеством и Правительством». С другой стороны, отвага крестьян казалась ему совершенно удивительной, так как проистекала единственно из их патриотизма, а не была продиктована им обязанностями, заключенными в их общественном положении [24].

Особое внимание Глинка уделял описанию образцового помещика, чей пример его читатели (в основном дворяне) должны были стремиться превзойти. Многочисленные его статьи, также как и письма читателей, были посвящены этой теме. Так, «Вестник» рассказывает об одной дворянской семье, члены которой «знали и старались напечатлеть в сердцах детей своих, что крестьяне суть *такие же люди, как и они*». Далее в статье говорится, что «*сии люди умеют живо чувствовать силу любви и благодетельности*» [25]. Помещику надлежало быть благодетелем своих крестьян. Один помещик, к примеру, заботился о здоровье своих крестьян, построил им баню и больницу; когда же, вследствие своего невежества, они побоялись делать детям прививки от оспы, он убедил их, сделав прививку сперва своему сыну. Естественно, он заслужил их

сыновнюю благодарность. «Он родной нам отец!» – восклицали крестьяне, – «за ним и за Богом живем как в Раю». Суть этой истории такова, что этот помещик владел лишь пятьюдесятью «душами», не обременял своих крестьян чрезмерными податями. Как же он совершил этот подвиг? Живя скромно и отказываясь подражать дорогому, переполненному роскошью образу жизни столичной аристократии. В то же время его гораздо более богатый сосед бессердечно эксплуатировал своих несчастных крестьян только для того, чтобы окружать себя роскошью [26].

Таким образом Глинка подводил к тому, что считал губительным для русского дворянства, источником его морального падения и разлада между помещиками и крестьянами, к тому, в чем он видел самое страшное бедствие, обрушившееся на Россию из Европы – «моду» и «страстям». Они стали ядом, постепенно отравляющим русское общество. мода безоговорочно диктовала стиль одежды, заставляла ездить в самых дорогих экипажах и т. д. и была вдвойне разрушительна для общества: ее жертвы губили собственные жизни, превращаясь лишь в бездушных потребителей; а ужасающие денежные расходы разоряли не столь богатые дворянские семьи и вынуждали помещиков увеличивать спрос со своих крестьян, что нельзя было оправдать лишь их собственными сословными обязанностями. Между тем, термином «страсти» Глинка обозначал эгоистическую, часто материалистическую этику, в которой значение имело только удовлетворение собственных желаний человека (чаще всего чувственных). Таким образом, в погоне за «модой» и «страстями» представители высшего класса пренебрегали своими обязанностями «добрых отцов», и, как следствие, злоупотребляли данными им властью и привилегиями, что подрывало само основание общественного порядка [27]. Озабоченность Глинки этой проблемой была созвучна с современной ему европейской мыслью, которая осуждала гедонизм аристократии и ее неоправданное расточительство, противопоставляя им простоту, искренность и естественность как основы добродетельной жизни [28].

«Мода» и «страсти» словно разъедали русское общество. И главной виновницей этого явления была аристократия обеих столиц: Санкт-Петербурга и Москвы. «Со времени утверждения

модных *лавок и пансионов*», писал Глинка, «произошло у нас очевидное *переломление в умах*, и отделение так называемого *большого*, или *изящного света*, от всех прочих сословий. С того времени всякий тот, кто не *был воспитан по моде* не мог быть членом общества, управляемого законами всевластной *моды*» [29]. В то время, как аристократия таким образом все более отдалялась от остального дворянства, скромные сельские помещики, составлявшие главную опору своего сословия, также, как мы уже видели, подражали аристократии, ослабляя тем самым свои связи с крестьянами.

Отрава эта проникала все глубже; как отметил один автор (не названный), которого цитировал совершенно согласный с ним Глинка, низшие сословия в столицах были также поражены этим вирусом, который передавался от аристократов их слугам, а затем всему населению. Слуги читали переводные иностранные романы и переставали посещать церковь. Растущая в этой среде популярность низкопробных трактиров, державшихся «купцами, ремесленниками, господскими людьми, всякого рода непотребными женщинами», была вызвана почерпнутым из романов вкусом к дорогостоящей роскоши, которая ранее отличала лишь высшее общество и являлась основой существенного социального различия между привилегированными и податными сословиями. Между тем, доступность дешевых изданий чрезвычайно способствовала распространению разрушительных идей среди низших классов; а это было особенно опасно, прежде всего, в тех случаях, когда человек не имел строго определенного социального статуса, как, «например, для торгующих господских крестьян, которые ни крестьяне, ни купцы». Действительно, автор привел пример одного такого крестьянина, читавшего Вольтера и черпавшего из подобного чтения разрушительные умонастроения. Подобные ему крестьяне, нарушающие целостность социальной иерархии, были привычными гостями всех российских ярмарок, вели беспутную жизнь, распространяя повсюду, и, прежде всего, в своих собственных домах, многочисленные пороки – и физические, и моральные, – включавшие тягу к городской роскоши, алчность, лицемерие и религиозное сектантство. В конце концов, заключал автор, это явление подрывало как физическую силу, так и нравственную

чистоту, свойственную русскому крестьянству от природы [30]. И если дворяне должны были быть «добрыми отцами», то крестьяне тоже должны были придерживаться своего положения «детей», сохраняя и нравственное, и телесное здоровье.

Видимо, Глинка был вполне согласен с тем, что нравственный упадок был связан с физической деградацией. Так, он замечал, что многие аристократки все чаще отказывались кормить своих младенцев грудью, слепо следуя «моде» и «страстям», и опасался, что девочки, воспитанные в духе этих ложных ценностей, сами окажутся физически неспособными вскормить своих собственных детей [31]. В этой сфере, как и во многих других, где он осуждает влияние французского просвещения на русскую культуру, Глинка перекликается с Руссо (которого в данном случае открыто цитирует) и другими французскими мыслителями; как отмечает Симон Шама, во Франции до 1789 г. было широко распространено представление о том, что «отказ от кормления грудью... проистекал от того, что убаживание своих прихотей ставилось выше семейного долга». Одним из самых известных сторонников материнского вскармливания в дореволюционной Франции был драматург Бомарше, который затронул эту проблему в своей знаменитой комедии «Женитьба Фигаро». Эту пьесу, критиковавшую социальную иерархию старого режима, Глинка считал символом духовного и политического заката дореволюционной Франции [32]. Как это часто бывало, Глинка прочно опирался в этом вопросе именно на французскую культурную традицию XVIII столетия, которую он так страстно обличал.

Именно женщин Глинка считал своего рода показателями здоровья общества, потому что они являлись матерями не только в своих собственных семьях, но шире – в семействе общественном. В его видении женские добродетели были домашними, семейными: женщины должны были быть скромными, воспитанными в духе материнства, но, тем не менее, достаточно образованными и здравомыслящими; и он также надеялся, что они окажутся мужественными матерями, которые, если понадобится, пожертвуют своими сыновьями во благо Отечества [33]. Поскольку Глинка отводил женщинам (по крайней мере, дворянкам) исключитель-

но важную роль в воспитании истинных граждан своей Родины, разлагающее влияние на них «мод» и «страстей» особенно сильно беспокоило его. Глинка с явной симпатией цитировал одного французского автора, утверждающего, что женщины, которые пренебрегли своей истинной ролью и увлеклись безнравственными влечениями, таким образом потеряли свою красоту и очарование и фактически попрали саму природу женщины, для которой истинное счастье составляют лишь семья и материнство [34]. Как и в случае с теорией «добротного отца», взгляд Глинки на прирожденную роль женщины тесно смыкается с концепциями французской культуры, против которой он пытался сражаться. Линн Хант отмечает, что и революционеры, и их оппоненты во Франции считали «стирание грани между полами» серьезной угрозой общественному порядку. В частности, для революционеров «мужская добродетель означала участие в общественном мире политики», в то время как «женская добродетель предполагала посвящение себя уединенному миру семьи», где «главной ролью женщин была роль матерей, которые должны были воспитывать новое поколение патриотов и, после 1792 г., – республиканцев» [35]. Такой подход, как видно, весьма напоминает позиции Глинки.

Сам будучи во многом питомцем французской литературы XVIII столетия, Глинка считал ее корнем зла своего времени, потому что ее свободомыслие и скептицизм разрушили традиции сыновней преданности и отеческой опеки, на которых только и держалось общество. С этой точки зрения, Французская революция означала торжество эгоизма над человеколюбием и разрушительного поворота своим желанием над добродетельной сдержанностью. В XVIII веке все сословия французского общества одновременно отвергли свои обязанности перед Богом, королем и друг другом, узы, скреплявшие общество, были разорваны, и Франция была повержена в варварство. В условиях отсутствия всех социальных различий, а также чувства долга, которое они порождали, во Франции восторжествовали алчность и зависть, породившие мрачный мир, в котором бедные ненавидели и при случае истребляли богатых, богатые презирали и притесняли бедных, а правительство – особенно при бесноватом Робеспьере – безнаказанно проливали реки

крови при молчании общества, совершенно утратившем чувство солидарности [36]. Таким образом, было очевидно, что Франция не добилась *свободы*, так как установившийся в ней режим сразу же отрекся от громких призывов к *равенству*; в итоге кровавый якобинский вариант *братства* лишь еще раз доказал, что общество нуждается в «добрых отцах». Непокорные и нечестивые мечтатели отвергли все, что было действительно необходимым и полезным, и разрушили основы христианской цивилизации в своем высокомерном бунте против Бога и нравственности.

Если Франция не могла быть той моделью, на которую русские могли бы ориентироваться, то кому же тогда они должны были подражать? Как и впоследствии славянофилы, Глинка не сомневался на этот счет: жизнь, полную гармонии и добродетели, открывала допетровская Русь, и именно к ней должны были обратиться его соотечественники. Практически в каждом номере «Русского вестника» он горячо отстаивал эту точку зрения перед своими читателями, которые, как правило, мало понимали суть дела. Далекое прошлое, а особенно XVII в., представлялось идеальной эпохой, когда цари, дворяне, крестьяне, молодое поколение и женщины – все знали свои обязанности друг перед другом и перед Богом, и пребывали в духовном единении, благодаря общей для всех русской культуре и православной вере. Страшные потрясения, случившиеся в России в XVII в., если они вообще упоминались, казались ему хотя и прискорбными, но сравнительно незначительными эпизодами [37]. К тому же читатели узнавали, что семейная дисгармония, высокомерие дворянства и его жажда роскоши, взяточничество чиновников, жульничество купцов, жестокость солдат по отношению к простым обывателям, угнетение крепостных, женская безнравственность, неуважение молодым поколением старшего, непочтительность к Богу – далее религиозный фанатизм и нетерпимость к другим верам – все это было чуждо Московии и появилось в России только в результате европеизации. Даже Петр I представлялся как верный последователь московских традиций, хотевший модернизировать лишь армию и знавший, что путь революции для Франции неизбежен [38]. Таким образом, Московия представлялась своеобразным руссоистским раем, свободным от губительного рационализма, от-

рицающего святыне истины религии и семьи: «У предков наших разум был в согласии с сердцем. Разногласие сердца с разумом есть плод нового воспитания» [39].

Эти зачастую приукрашенные картины российского прошлого вряд ли могут буквально восприниматься как действительное представление Глинки об истории; они преследовали сугубо воспитательные цели, изображая утопию, которую, как надеялся Глинка, читатели будут пытаться претворить в жизнь. В действительности же его размышления о российском прошлом могли быть намного реалистичнее. К примеру, как указывает Л. Н. Киселева, и в «Русском вестнике», и в своих мемуарах он идеализировал Екатерину II как мать, любящую свой народ, и таким образом сконструировал, в сущности, *вымышленный* образ, которому могли бы подражать другие. Однако в одной из неопубликованных статей Глинка довольно резко критикует *подлинную* Екатерину за неудачу избранной народом Уложенной Комиссии 1767 – 1768 гг., которая должна была выработать новый свод законов в соответствии с высокими принципами Просвещения, широко провозглашенными ею в «Наказе», подготовленном специально для этой комиссии; впоследствии Глинка также обвинит и другую национальную икону, Петра I.

«Екатерина II обманула себя и народ. Мирно собрались Депутаты, мирно и разошлись <...> Временщики одержали верх над пользою народною. Но и домогательство и своекорыстие тогдашних временщиков, не были бы помехою Екатерине, если б она родилась законодательницею. Она была только умною писательницею о законах. Пришлось и ей идти на попятный двор. То есть подобно Петру первому, не положить никакого постановления, никакого прочного основания, перестраивая внешнее здание России» [40].

Таким образом, Глинка вовсе не был наивным и безоглядным приверженцем российского прошлого и его организации. Но он верил, что патриотизм есть основа альтруизма и добродетели и что люди нуждаются в каком-либо положительном примере, ориентируясь на который, они могли бы нравственно самосовершенствоваться. Вслед за такими выводами вопрос о подлинности исторических фактов казался не столь уж значительным.

Подобные взгляды определили его позицию в яростном споре, возникшем среди писателей по поводу того, должен ли литературный русский язык ориентироваться преимущественно на европейские (особенно французский) или на родные, допетровские лексические и стилистические модели. Разделяя позиции А. С. Шишкова и других сторонников «старого слога», Глинка отмечал, что старая русско-церковнославянская диглоссия<sup>\*</sup> была одним из тех средств, которые выражали чистоту праотеческой нравственности, в то время как более поздние заимствования слов и выражений французского языка, – который и Глинка, и Шишков считали гораздо менее богатым и выразительным, чем русский, – изолировали высшее сословие от остального общества, подрывали его патриотизм, побуждали его перенимать иностранную культуру и образ мышления и заражали Россию «гнусными» идеями, распространившимися во Франции в конце XVIII в. [41]. Как и Шишков, Глинка был убежден, что заимствованные слова, не в пример их русским синонимам, не имеют родственных лингвистических корней в русском языке и поэтому не могут связывать россиян с их культурным и духовным наследием; при этом он верил (как Шишков, как П. Я. Чаадаев и как славянофилы много лет спустя, и как все философы-романтики вообще), что культура может процветать лишь в том случае, если все составляющие ее элементы находятся в гармонии друг с другом. Корни и наследие, языковые традиции были основой национальной мощи и самобытности. Глинка обличал тех, кто были приверженцами иностранных заимствований: «В каких же источниках будем искать корни и смысл слов? Сей вопрос не затруднит любителей чужезычия. Каждое иностранное слово, переписанное Рускими буквами, по мнению их заключает в себе полный смысл: до корней и источников что нужды в то время, когда модное воспитание ни понятиям, ни душе, ни деяниям не полагает никакого основания?» [42].

В период между Тильзитским миром и войной 1812 г., когда Россия формально являлась союзницей Франции, «Вестник» Глин-

---

\* Одновременное использование разговорного (русского) и официального (церковнославянского) языков, отличных друг от друга, но игравших взаимодополняющие роли в рамках единой культурной системы. (Прим. перев.)

ки избегал упоминаний о Наполеоне, но вместо этого постоянно заявлял, что сами французы, или, по крайней мере, написанные ими книги, давно отвергли ложное учение «философов осьмогонадесять столетия». Письмо от одного из читателей, приветствовавшее навязанный Францией разрыв русско-английских торговых отношений на материке, который сделал более невозможным доступ российского дворянства к бесполезным иностранным предметам роскоши [43], а также вышеупомянутая статья о возможной войне с Францией, были опубликованы в «Русском вестнике» в течение первых трех месяцев и являлись в высшей степени необычным выпадом в контексте текущего политического процесса. С другой стороны, Глинка смог обезопасить себя, публикуя исторические и литературные сочинения. Однако постоянно выражаемое патристическое восхищение россиянами, которые победили татар в Средневековье и поляков в эпоху Смуты, статьи, посвященные военной доблести предков, и, особенно, сочинения, восхвалявшие Суворова, не оставляли никаких сомнений в воинственном настрое Глинки [44]. Хотя сам он никогда не был в бою и его воротило от одного вида крови, он чрезвычайно гордился русскими традициями военной доблести и славы [45].

Ни одна эпоха русской истории, казалось, не переполняла его такой гордостью, как завершение Смутного времени (1612 – 1613), когда все сословия объединились, чтобы противостоять польским захватчикам, а затем единодушно избрали нового царя, которому и доверили свое Отечество. (Тот факт, что Смута закончилась ровно два столетия назад, имел для него почти мистический смысл) [46]. Он рассматривал борьбу с Наполеоном в том же свете. Когда же война разразилась, и правительство не только отказалось от своей профранцузской цензурной политики, но даже субсидировало «Русский вестник» для проведения антифранцузской пропаганды, Глинка мог совершенно свободно выражать свою ненависть к Наполеоновскому режиму. Он представлял его как чудовищное детище адской Французской революции, стремившееся к установлению мирового господства, порабощению России, подавлению национальных особенностей европейских народов властью бездуховного космополитического режима,

и – помимо этого – сеявшее повсюду богохульные маниакальные заблуждения французского императора. Так, Глинка утверждал, будто Наполеон после 1812 г. хотел одержать верх над самой природой, привезя в Россию специальные печи, чтобы сделать климат теплее и таким образом взять реванш над зимой [47]. Его многонациональные орды [48] – символ татарского нашествия – крушили религиозную мораль и единую национальную (а, следовательно, и духовную) самобытность; и, наконец, их поведение показало россиянам, какой бандой грабителей являлись европейцы в действительности: «Мы почти целое столетие обольщались замыслами Европейских народов; мы принимали, мы угощали их; мы вменяли в честь и славу во всем им подражать: и все сии Европейские народы буйными скопищами нагрянули на наше Отечество!.. Промчалась сия туча – и с нею да исчезнет все то, что делало Руских в России не Рускими!» [49].

Французское вторжение и призыв царя к национальному единению во время его визита в Москву в июле 1812 г., где он был встречен толпами воодушевленных горожан, глубоко впечатлили Глинку как доказательство крепкой связи, соединяющей русских людей с их добрым отцом – монархом [50]. Дворяне, купцы, крестьяне, – казалось, все были проникнуты национальным духом, если верить «Русскому вестнику». В то время как других русских дворян беспокоила возможность народных волнений, Глинка ничуть не сомневался в преданности престолу простых людей [51]. В августе 1812 г., когда «Великая армия» подошла к Москве и Россия была на волосок от гибели, он ободрял своих читателей статьями о верноподданности крестьянских масс. Так, он изобразил крестьянина, видевшего Европу своими собственными глазами и рассказывавшего своим землякам, почему они должны сражаться: «Не дети там подданные; гоняют их толпами Бог весть куда; выгоняют из родных пепелищ проливать кровь в дальних сторонах, за что и за кого, сами того не знают. Вот какова вольность иноземская! вот каково тамошнее житее быте! Иные там крестьяне и куску хлеба были бы рады, да неоткуда взять. Помещик там про себя, купец про себя, всякий про себя, и всякому тяжело там от руки сильной. А у нас в земле Руской все доброе для всех. Бережет нас ЦАРЬ-ГО-

СУДАРЬ, жалуют нас отцы помещики; у нас все для всех и все для всех. Милосердие Божие живет над землею Рускою.» [52].

С точки зрения Глинки, война была апогеем страшной драмы: столкновения между гармоничным, спокойным, направляемым Богом миром добрых «отцов» и преданных «детей» и адским взрывом, порожденным эгоистическими пороками и кровожадными страстями. Это убеждение было широко распространено среди высшего общества России, особенно среди консерваторов, но Глинка несколько расширил его, утверждая, что истинный русский и христианин должен обладать также общественной совестью. Много лет спустя, во время отрезвляющего правления Николая I, драма 1812 г. возродила мучительные воспоминания: он вновь ощутил опьяняющие надежды, вызванные когда-то войной, но не мог скрыть своего глубокого разочарования тем, что «русский дух» так и не победил окончательно [53]. Так, он вспоминал разговоры со своими братьями в 1812 г., когда они пытались заглянуть в послевоенное время, в надежде увидеть там нравственное примирение между помещиками и крестьянами и верили, что дворяне вскоре откажутся от их сумасбродного образа жизни и вместо этого посвятят себя благополучию своих крепостных. «Утопия. Утопия! Мечта. Мечта!» – восклицал Глинка [54].

Когда закончились наполеоновские войны и утих патриотический настрой, вызванный ими, то вместе с ними исчезло и все то, что вдохновляло Глинку как писателя. Всю оставшуюся жизнь он провел, сиюсь хоть как-то обеспечить средства к существованию для своей большой семьи литературными трудами и другими недолговечными проектами; так, он некоторое время возглавлял устроенный им частный пансион, а позже служил государственный цензором. Однако его эксцентричная, мечтательная натура, его неуклюжесть и абсолютная неорганизованность, а также посредственность его литературных трудов сводили на нет все эти усилия. Он, например, сделал невозможным свое пребывание в должности цензора (которую он занимал с 1827 до 1830 г.), отказавшись признать Цензурный устав 1828 г., который был столь суровым, что Глинка со свойственным ему преувеличением заявил: «даже «Отче наш» можно перетолковать якобинским наречием»,

если действовать согласно его положениям [55]. Начав свою литературную деятельность при утвержденном Александром I либеральном уставе 1804 г., по которому цензорами становились писатели, часто игравшие, как выразился один историк, «роль добродушных (avuncular) советников при своих подопечных авторах» [56], теперь он отказывался приспособляться к жесткой эпохе Николая I и использовать свой пост для ограничения других писателей и притеснения их творчества. Его смелость и великодушие, наряду с его импульсивностью и неусидчивостью, были таковы, что он часто утверждал рукописи к публикации, даже не пробежав их глазами; неудивительно, что по этой причине он был арестован в 1830 г. Ко времени его смерти в 1847 г. большинство русской читающей публики давно потеряло интерес к нему [57].

Кто же читал «Русский вестник» в период его расцвета? Согласно подписному листу за 1811 и 1813 гг., число подписчиков варьировалось от 600 до 700 человек. А так как наиболее общепризнанные и успешные журналы, такие как «Вестник Европы» и «Сын Отечества», издавались тиражом в 1-2 тысячи экземпляров, то это была довольно внушительная цифра [58]. Однако число подписчиков вовсе не отражает реального количества читателей журнала, ибо среди подписавшихся находились пансионы, библиотеки, клубы, в которых один экземпляр «Русского вестника» мог пройти через множество рук, как это, вероятно, бывало и во многих домах.

Большую часть его подписчиков составляли дворяне средней руки, жившие в Москве, а также на территории от Волги до Днепра (хотя его подписчиков можно было найти и в юго-западных областях вплоть до Кишинева и в северо-восточных – вплоть до Якутска), – то есть это были, в основном, великорусские православные регионы, в которых преобладало крепостное хозяйство. Другими словами, большинство читателей вполне соответствовало социокультурному образу доброго «отца» – помещика-крепостника, получающего скромные доходы, то есть тому идеалу, который превозносился в «Русском вестнике». Призыв Глинки был обращен к среднему дворянству, но среди 457 подписчиков в 1813 г., которых он относил к дворянам, был 41 представитель высшей прослойки

дворянства, то есть графы и князья [59], с другой стороны, здесь были и представители противоположного конца социальной иерархии: 52 купца и один выходец из низшего городского сословия – мещанства. Отсутствие ощутимого религиозного подтекста можно считать причиной низкого интереса к журналу духовных лиц (всего девять подписчиков в 1813 г.) [60], а его гневная критика европеизации и особенно его франкофобия могут объяснить, почему он был так холодно встречен в Санкт-Петербурге до 1812 г. (только десять подписчиков в 1811 г., в сравнении со 171 в Москве); тем не менее, Глинка был способен общаться практически со всеми образованными слоями русского общества.

Кроме рядового населения, в число читателей журнала входил целый ряд представителей политической и интеллектуальной элиты [61]. Среди них были мыслители националистического направления, такие, как консерваторы А. С. Шишков и Ф. В. Ростопчин, философ-романтик и поэт Д. В. Веневитинов, историк М. П. Погодин и философ-славянофил А. С. Хомяков. Консервативные религиозные течения того периода были представлены масонами И. В. Лопухиным, А. Ф. Лабзиным и Ф. П. Ключаревым, а также Иннокентием (Смирновым) – ректором Петербургской православной семинарии, студентом которой в то время являлся Фотий Спасский (фанатичный противник Запада и европейского просвещения в начале 1820-х гг.). Два профессора Московского университета – поэт А. Ф. Мерзляков и историк М. Т. Каченовский – также выписывали «Вестник», как делал это поэт, министр юстиции И. И. Дмитриев. В правительственных кругах журнал Глинки читался чиновниками, входившими в могущественные, но неофициальные, часто протестантски настроенные религиозные общества, связанные с Русским Библейским обществом и Священным союзом, включая архиконсерваторов Д. П. Руничу и В. С. Попова (две ведущие фигуры обскурантистской реакции в русском образовании после 1815 г.), а также реформаторски настроенного министра внутренних дел О. П. Козодавлева. Наконец, подписчиком журнала был и отец будущих декабристов Ипполита, Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов.

Конечно, мы не можем с достоверной точностью определить степень влияния сочинений Глинки на этих людей. Но уже то, что

все они интересовались этими сочинениями, подтверждает, что идеи Глинки помогли сформировать или, по крайней мере, отразили основное направление развития русской культуры в первые десятилетия XIX в. В чем же состоял его вклад, и каково было его историческое значение?

Ученые уделяют большое внимание проблеме формирования в Европе XVIII столетия «общественной сферы», в которой люди могли общаться друг с другом свободно и на равных, преодолевая сословные барьеры; это новое понятие «публичности» противостояло уже изжившему себя идеалу старого режима, делавшему акцент на церемониальной репрезентации и придававшему взаимоотношениям внутри абсолютистской иерархии характер ритуальных. Распространение клубов, масонских лож и периодической печати способствовало разрастанию этой общественной сферы, где, как надеялись ее сторонники, открытые дискуссии в публичных изданиях смогут выявить истину и привести к компромиссу и гармонии между множеством перебивающих друг друга голосов и разнородных интересов. По словам Энтони Ла Вона, таким путем надеялись «обогнуть» (short-circuit) «солидарность с социальной группой» (social solidarities) и «возвыситься над социальными интересами». Конечный «метасоциальный консенсус» (metasocial consensus), как предполагалось, должен был стать альтернативой «фрагментарному, зашоренному (tunnel-visioned) корпоративизму Старого порядка» и разъединяющему духу политической ангажированности (partisanship) [62].

Исходя из самого названия журнала, можно заключить, что Глинка расценивал свой «Русский вестник» как инструмент, который должен был помочь формированию российского общественного мнения такого рода. «Вестник» должен был быть обращен ко всем слоям общества. В публикуемых материалах Глинка пытался объединить отклики как можно большего количества людей (часто совпадавшие с его собственной точкой зрения), и состав его читателей убеждает, что он и в самом деле был небезуспешен в этом. Его личное общественное положение как образованного дворянина, освободившего своих крепостных и жившего своим собственным трудом, лишней раз доказывало его стремление вырваться из

рамок дворянской исключительности, предрассудков и эгоизма. Его призывы к национальному единению и его обвинения Западу (и особенно Франции) в разжигании религиозной предубежденности, классовой ненависти и фанатизма, – все это развивалось в одном направлении. Однако, вразрез с духом «общественного мнения» конца XVIII столетия, Глинка и представить не мог, что «народ» нуждается в общественном представительстве, считая, что лишь дворяне обладают исключительным правом представлять интересы всего общества, при условии их отказа от паразитического образа жизни, отрывавшего их от истинного призвания. Таким образом, стремление преодолеть разрыв, существовавший между различными слоями общества, шло рука об руку с признанием законности и постоянства социального неравенства.

Так же, как Н. И. Новиков и другие, Глинка пытался расширить границы «общественного мнения» значительно дальше интеллектуальной элиты обеих столиц [63]. В отличие от пионеров российской коммерческой массовой печати Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча с их газетой «Северная пчела», издававшейся в эпоху Николая I, Глинка не прилагал усилий, чтобы представлять «новости» в узком значении, предлагать дешевые увеселения или тешить предрассудки, мечты и амбиции купцов, а также мелкого и среднего дворянства, читавшего его журнал. Вместо этого, следуя традиции своих современников, таких, как Карамзин и Новиков, и предвосхищая «толстые журналы» XIX столетия, он пытался наставлять и воспитывать своих читателей и сделать «Вестник» средством распространения собственных философских воззрений [64].

С позиций его социополитической идеологии и его исторической концепции Глинка явился переходной фигурой в русской интеллектуальной истории. Не так давно Кристоф Шмидт доказал, что конец XVIII столетия ознаменовал «собой изменение концепции «прогресса» среди образованных россиян». Понятие «прогресса» первоначально было введено Петром I, дабы оправдать радикальную трансформацию общества, проводимую с помощью авторитарных средств. Но к концу столетия, когда Екатерина II использовала этот термин только как риторическое украшение, чтобы скрыть все более консервативное содержание государствен-

ной политики, новая интерпретация была дана ему Радищевым, утверждавшим, что прогресс и естественный закон несовместимы с крепостничеством и деспотизмом. Впоследствии этот раскол был еще более увеличен противниками status quo (такими, как декабристы), которые продолжали призывать к прогрессу, и консерваторами (например, М. М. Щербатовым), идеализировавшими национальное прошлое и оценивавшими послепетровскую историю России как полный нравственный и культурный упадок [65]. Глинка объединил обе точки зрения; с одной стороны, он глубоко критично относился к тирании, исходя из своей симпатии к Радищеву, с другой стороны, он отвергал представление о том, что реалистический западный прогресс может сделать мир лучше.

Глинка являлся звеном, соединявшим культуру екатерининского служилого дворянства с миром николаевской бюрократии и славянофильской интеллигенции. Будучи безусловно преданным трону и служа государству, он, тем не менее, находил реалии этой службы невыносимыми из-за той подобострастной покорности тиранической власти, которая требовалась от служащих; Глинка жил в тот период, когда значительная доля образованных людей России, подобно ему, охладела к императорскому режиму. Как и другие русские и европейцы его поколения, он вырос под влиянием культуры, сформированной сентименталистской общественной критикой и страстью к национальной истории и традициям. Как и они, он грезил об обществе, управляемом духом «добродетели», и видел в крушении наполеоновской эры возможность улучшить участь угнетенных и примирить друг с другом все классы русского общества, но после 1814 г. убедился в неоправданности этих надежд. Как уже было сказано, среди его подписчиков можно было найти целый ряд общественных и культурных критиков, в основном консерваторов, но также и некоторых прогрессистов, хотя расхождения между ними были пока не столь заметны. К тому же, его родной брат и соратник Федор, который в целом разделял его критику русского общества, время от времени писал для «Русского вестника», а позже был связан с декабристами [66].

После 1814 г. Сергей Глинка, как и другие, столкнулся с дилеммой, имплицитно наличествующей в его общественной мо-

дели «добротного отца»: что делать, когда «отец» отказался быть «добрым»? Согласно утверждениям Линн Хант, французское Просвещение, столкнувшись с этой реальностью, отвергло само понятие отеческого авторитета, предпочтя ему воинствующую республиканскую концепцию братства. Глинка оказался неспособен пойти этим путем. Весь его жизненный опыт – отцовское поместье и кадетский корпус, его понимание Бога и русской истории, собственная его преданность большой семье, которую он едва мог прокормить, его постоянная зависимость от доброты могущественных покровителей, таких, как Ростопчин и Шишков, – убедил его в том, что благополучным может быть лишь то общество, которое управляется добрыми, гуманными личностями, а не безликими законами и институтами. Несмотря на множество разочарований, он остался оптимистом, убежденным в непоколебимом великодушии русского характера и в способности русских жить в гармонии друг с другом. Следовательно, он не мог встать на сторону декабристов в обсуждении вопроса о российских институтах, олицетворяющих власть. Вместо того, как и славянофилы после него, он остался упорным защитником существующего государственного устройства, убежденным в том, что единственно важным являлся характер и настрой личностей, возглавлявших это устройство. Подобно славянофилам, он убеждал себя, что русские люди должны заново открыть свою истинную духовную сущность, чтобы нравственный кризис, поразивший все общество, был, наконец, преодолен.

1. *Gordon S. Wood*. The Radicalism of the American Revolution (New York, 1992). P. 145 – 68; *Lynn Hunt*, The family Romance of the French Revolution (Berkeley, 1992). P. 17 – 52.

2. Дореволюционные российские историки были склонны расценивать Глинку как наивного и посредственного писателя, например, *А. Н. Пытин*. Исследования и статьи по эпохе Александра I. Т. 3. Общественное движение в России при Александре I. Изд. 5-е. Пг., 1918. С. 292 – 293, и *Н. Н. Булич*. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. СПб., 1902. Т. I. С. 202 – 203, 212 – 220. Эта точка зрения в целом была принята и советскими историками, которые добавили к ней оценку Глинки как реакционного защитника самодержавного режима; так, университетский учебник по истории русской журналистики, появившийся в 1970-х гг., характеризовал «Русский вестник» Глинки как орган правительства и

крепостников (История русской журналистики XVIII–XIX веков / Под ред В. Западава. 3 изд., доп. М., 1973. С. 174). В нашей статье мы постараемся показать, что подобная характеристика полностью упускает из виду саму суть взглядов Глинки. Впрочем, некоторые советские историки были более объективны в своих исследованиях, например, *В. В. Познанский*. Очерк формирования русской национальной культуры: первая половина XIX в. М., 1975. С. 47 – 50, а также *И. В. Попов*. Преддекабристская публицистическая критика о патриотизме // Писатель и критика XIX в.: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. И. В. Попова. Куйбышев, 1987. С. 5 – 9. Но, по видимому, единственным исследователем, сделавшим идеи Глинки предметом систематического изучения, является Л. Н. Киселева, на чьи пронизательные и во многом новаторские статьи я буду ссылаться в своей работе. Наиболее полно рассматривающая взгляды Глинки статья Киселевой – «Система взглядов С. Н. Глинки (1807 – 1812 гг.) // Ученые записки Тартусского государственного университета. 1981. № 5. Вып. 513. С. 52 – 72.

3. По юлианскому календарю, это 5 июля 1776 г., по григорианскому – 16 июля. См. «Записки С. Н. Глинки» (далее – «Записки»). СПб., 1895. С. 1.

4. Дилемма послепетровских консерваторов-традиционалистов, которые ощущали разрыв между своей лояльностью к самодержавию и своим же сопротивлением попыткам этого же самодержавия изменить общественное устройство, исследована Г. И. Мусихиным в работе: «Традиционализм и реформы: сравнительный анализ взглядов М. Щербатова и Ю. Мезера» в сб.: Исследования по консерватизму. № 4. Реформы: политические, социально-экономические и правовые аспекты (Материалы международной научной конференции, Пермь, 21 – 22 мая 1996). Пермь, 1997. С. 16 – 20. Тема русского консервативного национализма этого периода рассматривается также в моей книге: Martin A. Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb, 1997.

5. «Записки». С. 2 – 3.

6. Там же. С. 30 – 126; *Л. Н. Киселева*. С. Н. Глинка и кадетский корпус (из истории сентиментального воспитания в России) // Ученые записки Тартусского государственного университета. 1982. Вып. 604. С. 48 – 63. *Н. Н. Аурова*. Идеи Просвещения в 1-м кадетском корпусе (конец XVIII – первая половина XIX в.) // Вестник Московского университета. 8-я серия. История. 1996. № 1. С. 34 – 42. О Бецком см. также *А. Н. Ерошкина*. Деятель эпохи просвещенного абсолютизма И. И. Бецкой // Вопросы истории. 1993. № 9. С. 165 – 170; Ю. М. Лотман. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века). СПб., 1994. С. 79, а также J. Laurence Black, Citizens for Fatherland: Education, Educators, and Pedagogical Ideals in Eighteenth Century Russia Boulder; Colo., 1979. P. 77 – 83.

7. *Комарницкая Ж. О.* Роль французской книги в формировании мировоззрения декабристов в кн.: История русского читателя: Сборник статей под.

ред. И. Е. Баренбаум. № 2, Труды Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской. Т. 32. Л., 1976. С. 8, 11.

8. «Записки». С. 132.

9. Там же. С. 146 – 187. РГИА, ф.777, оп.1, д. 876 (Послужные списки председателей и цензоров Московского и Дерптского цензурных комитетов), II, 35 об-36.

10. Такое определение «республиканизма» см. в Wood. Radicalism. P. 95 – 109.

11. «Записки». С. 166, 175, 182, 194. Об антинаполеоновских настроениях русского дворянства в этот период см.: Казаков Н. И. Наполеон глазами его русских современников // Новая и новейшая история. 1970. № 3. С. 31 – 47 и № 4. С. 42 – 55.

12. По-видимому, он написал девять пьес в 1807 – 1810 и 1817 гг. Для справки см.: Сергей Николаевич Глинка // Русский биографический словарь, С. 291, а также: *Franklin A. Walker* Reaction and Radicalism in the Russia of Tsar Alexander I: The Case of the Brothers Glinka // *Canadian Slavonic Papers* 21, no. 4 (December 1979). P. 489 – 502.

13. Русский вестник. Январь 1808. С. 3 – 10.

14. *Simon Schama*, Citizens: A Chronicle of the French Revolution (New-York, 1989). Chap. 4. См. также: *Jean Starobinski*, 1789, Les Emblemes de la raison (Paris, 1979).

15. О франкофобских настроениях и реакции на них правительства см., например, Н. Н. Булич. Очерки по истории русской литературы. С. 174 – 177; *Дубровин Н. Ф.* Русская жизнь в начале XIX века. Часть 1 // Русская старина. № 96 (декабрь 1898). С. 481 – 516; *Jean Bonatour*. A. S. Griboedov et la vie littéraire de son temps (Paris, 1965), P. 67, 88. Об отношении между писателями и цензорами в этот период см.: *Charles A. Ruud*, Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804 – 1906 (Toronto, 1982). P. 24 – 28.

16. Этот эпизод упоминается у Н. Н. Булича. Очерки по истории русской литературы. С. 212. Статья, судя по названию, довольно безобидная: «Некоторые замечания на некоторые статьи политического сочинения г. Шонцера под названием: «Взор на прошедшее, настоящее и будущее». Она появилась под видом анонимного письма в «Русском вестнике» в марте 1808. С. 398 – 407.

17. В некоторых случаях «патриотический» взгляд Глинки на иностранные книги о России напоминал отношение к ним будущих декабристов. См.: *Ж. О. Комарницкая*. Французская книга о России в оценке декабристов // История русского читателя. Л., 1979. № 3. С. 5 – 9.

18. Этот же вывод делает и Л. Н. Киселева в статье «С. Н. Глинка и его кадетский корпус». С. 59.

19. По этому вопросу см.: *Michael Confino*. Le paysan russe jugé par la noblesse au XVIII siècle // *Revue des Etudes slaves* 38 (1961). P. 51 – 63; *Jean-Louis van Regemorter*. Deux images idéales de la paysannerie russe à la fin du XVIII siècle, *Cahiers du Monde russe et soviétique* 9, no. 1 (1968). P. 1, 5 – 19.

20. Замечание графа Ф. В. Ростопчина на книгу г-на Стройновского // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете. Кн. 2. 1860. С. 203 – 217. Цитаты со С. 209 и 212.

21. См., например, Русский вестник, 1810, июнь. С. 12 – 14 и 28 – 36; 1811, январь. С. 128 – 130; 1811, февраль. С. 28 – 34; 1813, январь, С. 106 – 111; 1813, февраль. С. 12 – 33; 1813, март. С. 26 – 35. О продаже крепостных см.: Русский вестник, июнь 1811, С. 315; Глинка. Записки. С. 10, 15. О крепостном музыканте см.: Глинка. Записки. С. 177 – 178.

22. Русский вестник, июль 1811, С. 25 – 26.

23. Там же, январь 1810, С. 130.

24. Там же, август 1808, С. 218.

25. Там же, февраль 1809, С. 208.

26. Там же, август 1811, С. 75-87. Цитата со С. 80.

27. См., например, там же, январь 1808, С. 6, 53 – 67; май 1808, С. 186, 218 – 219; сентябрь 1808, С. 331-360; февраль 1809, С. 279 – 298; июнь 1809, С. 350 – 378. Эта тема появляется столь же часто и в последующие годы.

28. См.: Starobinski, 1789, 12 – 15, 54.

29. Русский вестник, январь 1809, С. 198.

30. Там же, июнь 1811, С. 76 – 86. Цитаты со С. 79, 80.

31. Там же, май 1808, С. 218 – 219.

32. *Schama*, Citizens, P. 145 – 147. Об отношении Глинка к «Женитьбе Фигаро» см. его «Зеркало нового Парижа от 1789 до 1809 года» в 2-х т. Т. 1. М., 1809, С. 32 – 33. Эта книга доводит события до Террора, а не до 1809 г. О революционных взглядах на физическое ослабление аристократии см.: *Antoin de Baeque*, «Pamphlets: Libel and Political Mythology», (eds. Robert Darnton and Daniel Roche) // *Revolution in Print: The Press in France, 1775 – 1800* (Berkeley, 1989), P. 165 – 176, *Robert Darnton*, *The Literary Underground of the Old Regime* (Cambridge, Mass., 1982), P. 29 – 36. Конечно, Глинка не прибегал к разоблачающей сатире, превосходящей памфлеты, рассматриваемые Боком и Дарнтоном.

33. См., например, Русский вестник, февраль 1811, С. 91 – 107, 117; май 1811, С. 53 – 54, 133 – 137; июль 1811, С. 29; август 1811, С. 60, 72 – 74.

34. Там же, май 1811, С. 55 – 56; апрель 1811, С. 12; август 1811, С. 40 – 41.

35. *Lynn Hunt*, *The family Romance*, P. 118-123.

36. Глинка. Зеркало, см., например, Т. 1, С. 120 – 131, Т. 2, С. 6, 14 – 27.

37. О восстании Стеньки Разина см.: Русский вестник, август 1811, С. 25. О стрельцах см.: там же, октябрь 1809, С. 3-29; январь 1811, С. 41; февраль 1811, С. 119 – 121. О гражданской войне в период Смуты см.: там же, март 1809, С. 443 – 451.

38. О Петре I см., например, там же, январь 1808, С. 11 – 22; сентябрь 1807, С. 299 – 331; октябрь 1808, С. 3 – 18, 39 – 49; май 1809, С. 223 – 229; июнь 1809, С. 288 – 350; август 1809, С. 152 – 155; январь 1810, С. 23 – 30.

39. Там же, май 1811, С. 116.

40. *Киселева Л. Н.* Журнал «Зритель» и две концепции патриотизма в русской литературе 1800-х гг. // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. 1985. Вып. 645. С. 3-20. Отрывок из рукописи Глинки цитируется на С. 18.

41. См., например, Русский вестник, февраль 1811, С. 35 – 52; июль 1811, С. 52 – 92; август 1811, С. 87 – 103. Шишков обосновал эту точку зрения в своей нашумевшей работе 1803 г. «Разсуждение о старом и новом слоге Российского языка» (переиздана в «Собрании сочинений и переводов Адмирала Шишкова» в 16-ти т. СПб., 1818 – 1834. Т. 2, С. 1 – 356). О позиции Глинки в этом вопросе см. также: *Киселева Л. Н.* К языковой позиции старших архаистов (С. Н. Глинка, Е. И. Станевич) // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. 1983. Вып. 620. С. 18 – 30. Превосходное исследование лингвистических споров, их истоков и значения содержится в статье Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва)» // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. 1975. Вып. 358. С. 168 – 254.

42. Русский вестник, июль 1811, С. 58.

43. Там же, январь 1808, С. 53 – 67.

44. К примеру, только в 1808 – 1809 гг. по крайней мере восемь статей «Русского вестника» были посвящены, главным образом, славе, добродетелям и гению Суворова.

45. Глинка, Записки, С. 168.

46. См., например, Русский вестник, январь 1808, С. 36 – 43.

47. Там же, март 1813, С. 40 – 63.

48. Там же, С. 9.

49. Там же, С. 16.

50. Описание этих событий см.: «Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского Ополчения». СПб., 1836. С. 6 – 21.

51. Русский вестник, 1812, № 9, С. 91 – 93, 121 – 125. Как объясняет Глинка там же, 1812, № 12, С. 102 – 108, хаос в Москве осенью 1812 г. нарушил аккуратное издание вестника. В результате №№ 9 – 10 были выпущены в августе, в то время как №№ 11 – 12 появились только в начале 1813.

52. Там же, 1812, № 10, С. 71 – 72.

53. Глинка. Записки и Записки о 1812 годе; см. также его Записки о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 до половины 1815 года, СПб., 1837.

54. Глинка. Записки о 1812 годе, С. 91 – 92.

55. См. цитату из Глинки в: Sidney Monas, «Shishkov, Bulgarin and the Russian Censorship» in Hugh McLean, Martin Malia, and George Fischer, eds., Russian Thought and Politics, Harvard Slavic Studies 4 (Cambridge, Mass., 1957), P. 133. О новом цензурном уставе см. также: *Ruud*, Fighting Words, P. 52 – 63.

56. *Ruud, Fighting Words*, P. 24.

57. *Сивков К.* Глинка Сергей Николаевич // *Русский биографический словарь*. СПб., 1902. Герберский-Гогенлоэ.

58. *Западов.* История русской журналистики. С. 100 – 101, 119 – 120. *Ruud, Fighting Words*, P. 29.

59. То есть обладатели благородного титула «сиятельство». Эти списки были опубликованы в мартовском, июньском, ноябрьском и декабрьском выпусках 1813 г. Социальный статус 75 подписчиков не был указан. Подписной лист 1811 г. был опубликован в конце ноября 1811 г. и в февральском выпуске 1812 г.

60. Не считая духовного цензора.

61. В некоторых случаях они сами оставляли письменные свидетельства своих связей с «Русским вестником», но в других мы имеем возможность работать лишь с подписными листами, и допускаем (хотя это и маловероятно), что несколько человек могли иметь одинаковое имя, отчество, фамилию, социальное положение и место жительства. Так, мы можем быть уверены, что подписчик, именуемый Шишковым, был именно адмиралом Шишковым. То же верно для Ростопчина и Погодина. Однако возможно, что подписчики, именуемые Веневитиновым, Хомяковым и др., были просто тезками хорошо известных исторических персонажей.

62. *Anthony J. La Vopa, Conceiving a Public: Ideas and Society in Eighteenth-Century Europe, Journal of Modern History* 64 (March 1992). P. 79 – 116. Цитаты со 110 стр. см также: *Douglas Smith. Freemasonry and the Public in Eighteenth-Century Russia, Eighteen-Century Studies* 29, no.1(1995). P. 25 – 44.

63. См.: *А. В. Блюм.* Массовое чтение в русской провинции конца XVIII – первой четверти XIX в. // *История русского читателя / Под ред. И. Е. Баренбаума.* № 1. Л., 1973. С. 37 – 57.

64. *Nurit Schleifman, A Russian Daily Newspaper and Its New Readership: Sevemaia pchela 1825 – 1840 // Cahiers du Monde russe et sovetique* 28, no. 2 (April-June 1987). P. 127 – 144. О Новикове см., например, *Andre Monnier, "La naissance d'une ideologie nationaliste en Russie au siecle des Lumieres", Revue des Etudes slaves* 52, no. 3 (1979). P. 265 – 272. О Карамзине см.: *A. G. Gross, N. M. Karamzin: A study of His Literary Career (1783 – 1803)* (Carbondale, 1971). P. 35 – 66, 183 – 217. О русской прессе этого периода, см.: *Louise McReynolds, The News under Russia's Old Regime: The Development of a Mass-Circulation Press* (Princeton, 1991). P. 18 – 22, 24 – 25.

65. *Christoph Schmidt* Aufstieg und Fall der Fortschrittsidee in Russland // *Historische Zeitschrift* 263, no. 1 (August, 1996). P. 1 – 30.

66. См.: *Walker.* Reaction and Radicalism.

## Глава 2

### «Аракчеевщина»:

### историографические мифы

Сразу оговоримся, что термин «аракчеевщина» мы употребляем достаточно условно в силу его ненаучности. Так уж сложилось в отечественной и зарубежной историографии, что термины «пугачевщина», «разинщина» как бы ушли в небытие, в то время как термины «бироновщина», «аракчеевщина» продолжают использоваться в научном лексиконе. Полагаем, что они могут употребляться в обиходной речи среди непрофессионалов как синоним фаворитизма, но ни в коем случае не должны использоваться в научном лексиконе, поскольку не могут, по мнению С. В. Мироненко [1], сводиться к конкретным проявлениям «реакции», как это иногда делается.

Историография истории России конца XVIII – первой четверти XIX в. так или иначе должна была упоминать имя графа Алексея Андреевича Аракчеева (1769 – 1834) в силу его исключительного служебного положения, а также своеобразных и во многом загадочных взаимоотношений с императором Александром I, который, по мнению многих исследователей, являлся полной его противоположностью.

Единодушие оценок как дореволюционной, так и советской историографии в отношении исторической роли Аракчеева кроется в том, что они в качестве источников использовали преимущественно материалы личного происхождения: мемуары, дневники, записки, письма и т. д. [2], которые по своему характеру являются

крайне субъективными. В органическом сочетании с источниками других видов они дают блестящие результаты. Используемые в отрыве от них, они крайне искажают исторические реалии. Необходимо также учитывать и методику критики этих источников. Подходы романтиков и позитивистов к этому виду источников достаточно прямолинейны и сводятся к утверждению, что исторический факт уже сам по себе заключен в источнике, а задача исследователя – извлечь его и донести до читателя в неискаженном виде. По такому же пути пошла и марксистская историография, которая сознательно восприняла практически весь методологический арсенал отчаянно критикуемого ею позитивизма. Мало того, обличая самодержавие, ей было выгодно иметь такое пугало как Аракчеев, поэтому все его негативные характеристики благополучно перекочевали в марксистскую историографию. Собственных же разысканий в этой области она не вела.

И только методологические новации «новой исторической науки», основанные на принципе – «без исследователя не существует и источника», позволили по-новому, непредубежденно взглянуть на проблему «аракчеевщины» [3].

Многие публикации мемуарного типа появляются в исторической периодике в 60 – 70-е гг. XIX в., отмеченные знаком либерализации многих сторон жизни в стране. Некоторые из современников Аракчеева были в это время еще живы и постарались резко «контрастировать» его образ и деяния с переживаемой эпохой. Необходимо также учитывать, что Аракчеев был гением административного управления и главным средством для достижения результата считал исполнительскую дисциплину, что для русского менталитета во все времена было притчей во языцех. Это также не могло не сказаться на мнении о нем современников.

Главное же обвинение исследователей заключается в реакционности практически всех его действий. Сразу же возникает вопрос: если Александр I считается чуть ли не отцом российского правительственного либерализма, то каким образом действия его ближайшего и доверенного сподвижника могут являться обскурантистскими и реакционными? В связи с радикальными изменениями историографических парадигм (проблематики,

методологии, концепций), произошедшими в отечественной историографии в последние полтора десятилетия, существует реальная опасность замены одних исторических мифов другими. Поэтому хотелось бы избежать необоснованных радикальных пересмотров оценок отдельных исторических личностей. Это касается и А. А. Аракчеева.

Наша задача заключается в корректировке уже существующих концепций, но только с учетом новых источников и более научных теоретико-методологических концепций, которые не сводятся к объяснению исторического прошлого через детерминант какого-то одного фактора то ли объективного, то ли субъективного характера.

Нами уже высказывалось предложение пересмотреть идеологические взгляды Аракчеева и отнести его не к реакционерам, а к консерваторам [4]. Новейшие исследования подтверждают эту точку зрения, хотя, например, В. Я. Гросул и полагает, что его идеологию необходимо квалифицировать как реакционный консерватизм [5]. При этом не приводится ни одного довода в пользу этой точки зрения.

Можно согласиться с терминами «прогрессивный» и «централистский» консерватизм, но вот понятие «реакционный», которое является по своей сути антиподом всего нового и прогрессивного, т. е. развития, трудно соединяется с идеологией, исповедующей достаточно медленную, но все-таки эволюцию. В свою очередь мы могли бы предложить понятие «охранительный консерватизм», хотя оно весьма многоаспектно.

А. А. Аракчеев родился в мелкопоместной дворянской семье. Этот слой российского дворянства всегда отличался достаточной консервативностью мировоззрения и патриархальностью быта. Детские годы не могли не наложить отпечаток на сознание будущего государственного деятеля. Сказался также и круг чтения [6]. Годы учебы в артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе, а также служба в гатчинских войсках Павла Петровича только укрепили его консервативные взгляды. Относительно этого периода карьеры Аракчеева возникает вопрос: можно ли его считать временщиком или фаворитом (в буквальном смысле этого слова) царствования Павла I. В этот период Аракчеев занимает достаточ-

но скромные должности коменданта С.-Петербурга, командира сводного гренадерского батальона лейб-гвардии Преображенского полка, обер-квартирмейстера армии, инспектора артиллерии. Да, Аракчеев почти постоянно находился при особе императора, был ему лично и искренне предан, но на государственную политику его влияние было мизерным. Реальные рычаги воздействия на императора находились в руках А. А. Безбородко, И. П. Кутайсова и Ф. В. Ростопчина.

Это были годы становления Аракчеева как государственного деятеля и хозяйственника. Многие методы преобразования армейской артиллерии, обучения личного состава, формирования отдельных подразделений были заимствованы им именно из гатчинской артиллерии, организатором которой был Павел Петрович, и тактико-технические данные которой превосходили организацию остальной полевой артиллерии русской армии. В чем же здесь проявлялась реакционность? Большинство приемов хозяйственной деятельности в Грузинском имении (подарено Аракчееву Павлом I в декабре 1796 г., насчитывало около 2 тыс. душ) были также заимствованы им из Гатчинского имения Павла Петровича, а затем достаточно творчески развиты. За всю жизнь Аракчеев приобрел только 6 душ дворовых и ни одного крестьянина на вывод или с землей. Отмечаются случаи, когда он давал им вольную [7]. В его имении практически не использовались барщинные работы (только в виде наказания на строительных работах в самой усадьбе и в парке), они были заменены оброком.

Достаточно наглядным примером того, что он не был приверженцем только традиционного уклада жизни, является его постоянное стремление всячески «вестернизировать» условия труда и быта как в самом имении, так и в деревнях: регулярная застройка; дороги с твердым покрытием, соединявшие все 30 деревень имения; чистые широкие улицы, освещавшиеся в ночное время; просторные опрятные дома и надворные постройки крестьян, крытые тесом, а в самом Грузино – железом; бесплатный лазарет; заемный банк и т. д. Несколько десятков крестьянских семей занимались оптовой торговлей, были весьма состоятельными (годовые обороты составляли до 5 – 10 тыс. руб.) и приносили достаточно большой оброк владельцу.

Аракчеев делал ставку на среднее и зажиточное крестьянство, всячески его поддерживал и поощрял. Это обусловило очень малый процент недоимщиков, долги которых, как правило, списывались, а государственные подати уплачивал сам владелец. Во многом успешная хозяйственная деятельность имения (ежегодный доход составлял до 90 – 100 тыс. руб, при этом оброк составлял только треть [8]) была обусловлена четкими действиями вотчинной администрации, а также новациями самого Аракчеева. В чем же здесь реакционность?

Аракчеев не был противником крепостного права и рассматривал его в большей степени как средство попечительства просвещенного дворянства над непросвещенной массой крестьянства. Это было средство организации правильного и гармоничного государства, в котором исключены анархия и произвол. Но будучи в струе либеральных устремлений Александра I, он принял активное участие в разработке законопроектов освобождения крестьян (1817 – 1818), что достаточно подробно освещено в отечественной и зарубежной историографии [9]. Заметим только, что именно Аракчеев впервые предложил освобождать крестьян с землей, что и было реализовано в ходе реформы 1861 г. При этом, напомним, он предлагал государству выкупать крестьян и землю, реформа же 1861 г. возлагала это на плечи самих крестьян.

В полном соответствии с теорией «попечительства» он относился к своим крепостным крестьянам. Он мог строго наказывать за неблагоприятные поступки, но при этом часто и щедро поощрял крестьян и дворовых. В целом эти отношения мало чем отличались от отношений в имениях других помещиков, которые старались вникать в управление своими владениями. Что же тогда поставить ему в вину в данном вопросе? Регламентацию и контроль всей жизни крестьян? Учитывая ментальность российского крестьянства, сам дух эпохи, давайте предложим иные способы достижения надлежащих санитарно-гигиенических норм в домах, улучшения здоровья (запрещение пьянства, насильственная прививка оспы) и т. д. Все это вызывало ропот и проявление недовольства. Человеку не нравится, когда вмешиваются в устоявшийся уклад жизни. Но недаром говорится, что хорошее лучше видится издалека. Спустя

несколько десятилетий после смерти графа бывшие его крепостные крестьяне, после пребывания в государственном ведомстве, с благодарностью отзывались о таких методах воздействия своего хозяина. Необходимо также учитывать, что Аракчеев действовал подобным образом не только из гуманных побуждений, но и для сохранения и приумножения количества полноценных рабочих рук.

Еще несколько сюжетов из бытовой жизни графа Аракчеева, где также реализуются те или иные идеологические установки. Вначале об отношении к институту семьи и брака. Как истинный консерватор он должен был бы вести аскетический, уравновешенный образ этой части жизни, которая, как известно, находилась под тщательным наблюдением церкви. Но общеизвестно, что вплоть до последних лет жизни он крайне равнодушно относился к женщинам, его столовые сервизы были украшены весьма недвусмысленными картинками, а в библиотеке имелось множество книг весьма пикантного содержания, которые были запрещены цензурой [10]. Более 25 лет граф прожил с любовницей – Настасьей Минкиной, которую убили дворовые люди в сентябре 1825 г., и смерть которой он очень тяжело переживал. Он не делал большого секрета из их отношений (об этом знал весь придворный свет и сам император) и, по большому счету, она была ему больше, чем любовница и составляла значительную долю его частной жизни. Аракчеев воспитывал их (?) сына – Михаила Шумского и дал ему блестящее образование (он закончил пажеский корпус), создал возможности продвижения по службе. К сожалению, последний весьма быстро спился, и Аракчеев отказался от него. Брак с Натальей Хомутовой (1806 г.) [11] был очень неудачным и вскоре практически распался, хотя супруги формально в разводе не были. Все это мало похоже на реализацию чисто консервативных установок.

Можно возразить, что в личной жизни многие исповедуют одно, поскольку она во многом остается потаенной от широкого общественного мнения, а в публичных действиях – совершенно иное. Давайте обратимся к государственной деятельности Аракчеева времен Александра I.

Всю жизнь он был подлинным монархистом и сторонником крепостного права. Это не вызывает сомнения, и с этой точки

зрения он – типичный консерватор. Но, согласитесь, трудно одновременно быть суперприближенным царя-либерала и монархистом-реакционером. Факты как раз и свидетельствуют, что такое сочетание трудно реализуемо.

Аракчеев был возвращен из Грузинской ссылки в мае 1803 г., куда его отправил Павел I в 1799 г., и назначен на должность инспектора артиллерии. Его деятельность на этом посту достаточно хорошо исследована [12] и не требует дополнительных комментариев. Единственным из современных авторов, который отказывает Аракчееву в заслугах перед русской армией, является Н. А. Троицкий, который все лавры в деле подготовки вооруженных сил России к Отечественной войне 1812 г. отдает М. Б. Барклаю де Толли [13].

Что же касается взаимоотношений с представителями высших кругов власти, то заметим, что достаточно ровные отношения сложились у Аракчеева-«реакционера» со Сперанским-либералом. Аракчеев никогда не был замечен в интригах против него и был знаком с основными положениями разрабатываемого Сперанским проекта преобразования государственного устройства страны.

Разногласия и обида, возникшие в конце 1809 г. между Аракчевым с одной стороны и Александром I и Сперанским – с другой, были продиктованы исключительно тем, что его не пригласили на ознакомительные чтения проекта Сперанского. Конфликт был достаточно быстро разрешен, и Аракчеев занял пост главы департамента военных дел Государственного совета с правом доклада у государя, что ставило его выше военного министра. Необходимо также отметить, что он старался не примыкать ни к каким придворным группировкам и партиям, но, используя свое положение доверенного лица императора, как бы возвышаться над схваткой.

Теперь о самом остром и болезненном вопросе в государственной карьере Аракчеева – руководстве военными поселениями. Многие мемуаристы, а затем и Н. К. Шильдер (который очень не любил Аракчеева) утверждали, что последний был вначале противником создания военных поселений [14]. При этом ссылки на какие-либо документальные материалы отсутствовали. Недавно нам удалось документально доказать, что дело обстояло именно таким образом и Аракчеев предлагал совершенно иные методы

комплектования, управления и дислоцирования армии [15]. Но поскольку вопрос был решен императором в пользу нового института и его руководителем был назначен Аракчеев, то в силу своих убеждений и установок последний упорно претворял эту весьма фантастическую идею в жизнь.

Несколько общих замечаний об этом государственном институте. Его идея была не нова и уже реализована в виде граничарских поселений на австрийско-турецкой границе, «индельты» в Швеции и ландвера в Пруссии. Некоторые исследователи склонны видеть прообраз военных поселений в казачьих формированиях. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым. Благотворность идеи императора заключалась в том, чтобы дать военным оседлость и воссоединить их с семьями. Экономическая составляющая заключалась в том, чтобы резко сократить расходы на содержание армии; военная – прикрыть западные границы сплошной полосой военных поселений; политическая – сохранить большую армию при сохранении крепостного права; социальная – ликвидировать рекрутские наборы и не лишать помещиков рабочих рук.

Утопизм идеи заключался в попытке соединить два сословия в одном – служилое и тяглое [16]. Заметим попутно, что такая политика в поселениях продолжалась только до 1826 г., когда новый император приказал отделить поселенную (хозяйственную) часть от строевой и поселяне-хозяева прекратили заниматься военной подготовкой.

Теперь по поводу реакционных методов руководства военными поселениями реакционером Аракчеевым. Многие стороны хозяйственной и бытовой жизни поселений (особенно Новгородских) совпадают с моделью Грузинской вотчины Аракчеева и свидетельствуют о попытках вестернизации (теперь уже в широких масштабах) российской действительности. Среди новаций хозяйственной и бытовой жизни военных поселений отметим лишь наиболее существенные: регулярную застройку ротных поселков и штабных комплексов (архитекторы В. П. Стасов, Л. Руско, Ф. И. Демерцов); хорошо развитую транспортную сеть, в том числе и регулярное движение пассажирских пароходов по озеру Ильмень и реке Волхов,

а также пассажирских дилижансов по округам 1-й гренадерской дивизии в Новгородской губ.; функционирование ряда паровых лесопильных и мукомольных заводов; развитие сети конских заводов (особенно в округах кавалерии) и заводов рогатого скота; внедрение многопольных севооборотов; обучение поселян-хозяев передовым приемам агротехники (приглашение английского агронома И. Гуллета, расселение в округах поселений прусских колонистов, внедрение травосеяния и т. д.); открытие агротехнических и ветеринарных школ; развитие медицинского обслуживания; функционирование развитой сети школ военных кантонистов [17] и т. д.

Все это свидетельствовало о коренных преобразованиях в регионах, где дислоцировались округа военных поселений, причем именно в сторону вестернизации [18], что не могло не встречать упорного сопротивления со стороны значительной части населения, придерживавшейся традиционных форм жизни. Плюс методы внедрения этих новаций, которые были чисто российскими, т. е. зачастую исключительно насильственными.

Большинство исследователей истории военных поселений полагают, что они были выгодными в экономическом отношении (особенно округа кавалерии), что и предопределило их существование вплоть до конца 1850-х годов [19].

И последнее. О «реакционности» мер Аракчеева в области кадровой политики. Чего действительно не терпел Аракчеев, так это чрезмерного влияния кого-либо на Александра I, хотя пример со Сперанским и позволяет говорить об условности такой нетерпимости. Как правило, в историографии в пассив Аракчееву записываются кадровые перестановки в правительстве последних пяти лет правления Александра I. Приведем несколько произвольных примеров. Начальник Главного штаба П. М. Волконский был заменен И. И. Дибичем, которого в советской историографии долгое время считали весьма посредственным военачальником и государственным деятелем. Возможно, в этом и есть доля истины (полных кавалеров ордена Святого Георгия за всю историю русской армии было всего четверо, в том числе и Дибич), но по своим военным способностям он все-таки превосходил своего предшественника. О фигуре Е. Ф. Канкрин, который не без помощи

Аракчеева стал министром финансов, говорить вообще не приходится. В пользу его крайней консервативности свидетельствует его дружба с архимандритом Юрьевского монастыря Фотием, который был отчаянным противником мистицизма и библейских обществ – детища А. Н. Голицына.

Будучи гением бюрократии, обладая огромной работоспособностью (по 16 – 18 часов в сутки), Аракчеев требовал того же от подчиненных. Под особым контролем находились так называемые «неразрешенные дела», исполнения которых он требовал неукоснительно, невзирая на занимаемые должности. В управленческой системе это воспринималось как чрезмерное давление и вызывало всяческое недовольство. Отмечаются случаи, когда Аракчеев достаточно сурово наказывал чиновников и офицеров (вплоть до ареста с пребыванием в крепости), но только за серьезные проступки. Просматривая множество аудиторских дел, подтвержденных лично им, мы не обнаружили сколько-нибудь суровых приговоров в отношении нижних чинов, за исключением участников открытых бунтов и неповиновений.

Все это, как нам кажется, свидетельствует в пользу того, что термин «аракчеевщина» как синоним реакционности – достаточно искусственно созданный и в большей степени выдает желаемое за действительное. Не собираясь идеализировать нашего героя, предлагаем окончательно отказаться от употребления этого термина в научной литературе, а самого Аракчеева рассматривать как консервативного политика безо всякого реакционного налета.

В конце жизни Аракчеев составил завещание на 50 тыс. руб. для написания подробной истории царствования Александра I к столетию со дня его смерти. Прекрасно осознавая, что будущий историк не сможет обойти его персону, он надеялся, что потомки более справедливо оценят и его заслуги перед страной. Процесс этот затянулся на долгие годы и начал решаться только в последнее время. Но лучше поздно, чем никогда.

1. *Мироненко С. В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 222.

2. *Жиркевич И. С.* Записки // Русская старина. 1874. № 4. С. 224 – 241; *Марченко В. Р.* Автобиографическая записка // Русская старина. 1896. № 3. С. 484 – 493; *Шениг Н. И.* Воспоминания // Русский архив. 1880. Кн. 3. С. 306 – 311; 314 – 315; 321 – 325; *Брадке Е. Ф.* Автобиографические записки // Русский архив. 1875. № 1. С. 36 – 53; *Европеус И. И.* Воспоминания о службе в военных поселениях и об отношениях к графу Аракчееву // Русская старина. 1872. № 4. С. 225 – 242; № 11. С. 547 – 558; *Измайлов К. А.* Граф Алексей Андреевич Аракчеев // Русская старина. 1881. № 9. С. 201 – 208; *Вяземский П. А.* По поводу записок графа Зенфта // Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб., 1882. Т. 7. С. 449 – 464.

3. *Томсинов В. А.* Временщик (А. А. Аракчеев). М., 1996; *Федоров В. А. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев.* М., 1997; *Ячменихин К. М.* Алексей Андреевич Аракчеев // Российские консерваторы. М., 1997. С. 17 – 62.

4. *Ячменихин К. М.* Военные поселения в России (административно-хозяйственная структура): Дис. ... д-ра ист. наук. М., 1993. С. 170 – 207.

5. *Гросул В. Я., Итенберг Г. С., Твардовская В. А., Шаццлло К. Ф., Эймонтова Р. Г.* Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 420.

6. *Ячменихин К.* Библиотека «фрунтового солдата». 1999. № 1. С. 105 – 112.

7. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 154. Оп. 1. Д. 218. Л. 4 – 5 об.; Д. 326. Л. 1 – 2 об.

8. Там же. Д. 215. Л. 4 – 7; Д. 270. Л. 1 – 14, 44 об. 68.

9. *Предтеченский А. В.* Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. М.; Л., 1957. С. 347 – 348; *Мироненко С. В.* Указ. соч. С. 100 – 104; *Федоров В. А.* Указ. соч. С. 187 – 189;

10. *Ячменихин К.* Библиотека «фрунтового солдата». С. 109.

11. Он же. Алексей Андреевич Аракчеев... С. 52.

12. *Потоцкий П.* История гвардейской артиллерии. СПб., 1896; *Томсинов В. А.* Указ. соч. С. 91 – 96; *Ячменихин К. М.* Алексей Андреевич Аракчеев... С. 35 – 36.

13. *Троицкий Н. А.* Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М., 2002. С. 132.

14. *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование: В 4 т. СПб., 1893. Т. IV. С. 321.

15. *Ячменихин К. М.* Во внимании к пользам государственным (Записка графа Аракчеева Александру I о реформе армии. 1815 г.) // Исторический архив. 2000. № 6. С. 4 – 20.

16. *Латин В. В.* Новгородские военные поселения (к вопросу о процессе вестернизации в России) // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Новгород, 1992. С. 60 – 62.

17. *Ячменихин В. К.* Подготовка армейского резерва в военных поселениях // Україна і Росія в панорамі століть. Збірка наукових праць на пошану професора К. М. Ячменіхіна. Чернігів, 1998. С. 151 – 163.

18. *Кандаурова Т. Н.* Институт военных поселений в оценке иностранцев: социокультурный аспект // Россия и внешний мир: диалог культур. М., 1997. С. 130 – 148; *Латин В. В.* Указ. соч.

19. *Кандаурова Т. Н.* Экономическая система округов военных поселений кавалерии (Статистический анализ массовых источников) // Круг идей: традиции и тенденции исторической информатики. М., 1997. С. 175 – 182; *Ячменихин К. М.* Экономический потенциал военных поселений в России // Вопросы истории. 1997. № 2. С. 34 – 48.

## Глава 3

### Автобиография архимандрита Фотия (Спасского): обстоятельства ее создания

На сегодняшний день в распоряжении исследователей имеется богатейшее рукописное наследие архимандрита Юрьева монастыря Фотия (Спасского) (1792 – 1838), видного деятеля консервативной «православной оппозиции» в царствование Александра I. По количеству материалов оно вполне может потягаться с эпистолярным наследием митрополита Московского Филарета. Но если в отношении трудов Филарета существует целое исследовательское направление – «филаретика», то бумаги Фотия пребывают в забвении. Поэтому мы считаем целесообразным в данной статье впервые опубликовать список фондов московских архивов и книгохранилищ, содержащих материалы Фотия.

В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), в фонде 1208 «Юрьев-Новгородский первоклассный общежитный мужской монастырь», опись 3-я, хранится 131 дело. Материалы, составляющие фонд, поступили в Центральное архивное управление РСФСР в 1928 г. Они были присланы из новгородского областного архивного бюро. 30 августа пришло пять ящиков, содержащих 511 килограммов документов, и 21 сентября – еще три ящика с 312 килограммами документов. Материалы не были разобраны и описаны, не был составлен даже акт передачи [1]. На сегодняшний день в состав описи № 3 входят только дела, представляющие собой переплетенные рукописные книги, большей частью с золотым обрезом. Здесь находится переписка Фотия, его

послания к различным лицам, документы, иллюстрирующие его политическую деятельность, литературные и богословские труды.

В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ) хранятся дела различных фондов. Фонд 758 «Фотий (Спасский)» образован 27 февраля 1980 г. по решению методического бюро «о выделении материалов архива архимандрита Фотия из фондов Троице-Сергиевой лавры». При обработке фонда московской духовной академии была обнаружена коллекция материалов архимандрита Фотия, переданных в библиотеку духовной академии А. Н. Муравьевым. После слияния материалов Фотия образовался целостный комплекс, который и был выделен в отдельный фонд [2]. В состав входят отдельные листы и тетради, множество автографов Фотия. Всего в нем хранится 67 дел. Большую часть фонда составляет переписка с различными лицами, в основном за 1832 г. Кроме того, туда входят богословские сочинения Фотия.

Особую ценность представляет фонд 219 ОР РГБ «Орловы-Давыдовы». Сюда поступили материалы, принадлежавшие лично А. А. Орловой-Чесменской и перешедшие к ее наследникам. Хотя это всего семнадцать дел, но именно они содержат три варианта автобиографии Фотия, причем один из них – автограф.

Знакомство с этими материалами не только поставило под вопрос достоверность дореволюционных исследований, но опровергло и некоторые наши собственные выводы, сделанные в монографии, посвященной жизни и деятельности Фотия [3]. Теперь в новом свете видятся обстоятельства написания Фотием своей автобиографии. Существенные коррективы вносятся также в события, связанные с пребыванием в Юрьевом монастыре Фотины Павловны, которые сильно повлияли на процесс создания автобиографии. Материалы этого источниковедческого очерка позволят по-новому взглянуть на некоторые детали биографии Фотия.

В письме от 7 октября 1830 г. Фотий сообщал протоиерею Иакову (Вечерникову) о своих литературных трудах. В частности, он писал, что занимается сортировкой писем своей духовной дочери А. А. Орловой-Чесменской, раскладывая их по годам. Фотий рассказывал, что у него есть «книга» с описанием жизни епископа Пензенского и Саровского Иннокентия, рукописные сборники – «книги» писем

митрополита Серафима (Глаголевского) и секретных представлений императору Александру I, «книги» писем графа А. А. Аракчеева и митрополитов Московского Филарета и Киевского Евгения, разбор «еретических» книг, изданных после 1817 г. Фотий также упоминал о некоем «описании собственноручном», которое в тот момент находилось в руках митрополита Серафима, А. Н. Голицына и А. А. Аракчеева. Архивные материалы показывают, что такие сборники были в распоряжении Фотия [4]. Упомянуть «описание собственноручное» Фотию потребовалось, чтобы привлечь себе на помощь способного редактора, которым, по-видимому, был Иаков, именующийся в его письмах «историографом». Это был будущий архиепископ Саровский Иаков (И. И. Вечерников, 1792 – 1850), находившийся в переписке с митрополитами Серафимом, Филаретом, Евгением (Болховитиновым), А. А. Орловой-Чесменской, П. С. Мещерским, С. Д. Нечаевым, Н. А. Протасовым [5].

Фотий интриговал своего корреспондента тем, что многое мог бы рассказать об обстоятельствах деятельности «православной оппозиции», борющейся с западноевропейским мистицизмом и масонством в царствование Александра I, но император запретил ему это делать. Фотий вновь упоминал «описание собственноручное», где «в составе всех частей все то описано: что я видел, слышал, делал или подлинники или копии читал» [6]. В действительности же до 1830 г. у Фотия существовали лишь сборники документов, посланий и писем, ничего общего не имеющие с автобиографией. Фотий предложил Иакову план сотрудничества, предполагающий, что он будет писать записки каждый день и отсылать их для редактирования Иакову. Фотий также хотел, чтобы Иаков присылал ему вопросы, ответы на которые и составили бы его автобиографию с 1817 по 1830-е гг. и далее. Он считал важным начать именно с этого года, так как с этого момента «начал подвизаться за дело веры», борясь против книг духовного содержания, издаваемых в светских типографиях, катехизиса Филарета и Библейского общества. Фотий просил Иакова отдавать его письма в переписку и копии отсылать назад для правки. Будущие сотрудники, не доверяя почте, планировали связываться через «верного человека» [7].

Прошел месяц, видимо, ушедший на переписку и подготовку к труду. 11 ноября 1830 г. Фотий отправил секретное послание к своему

последователю протоиерею Иоакиму, в котором заявлял: «Давно я побуждаем был написать повествование о неких вещах, собо́ввшихся в лета мои и в очах моих, или мало или вовсе неизвестных» [8]. Фотий сообщал, что «многие избранные Божии» молили записать известные ему «тайные события», «особенно о 1824 годе» (в этом году «православная оппозиция» добилась отставки князя А. Н. Голицына с поста министра духовных дел и народного просвещения, что означало резкую смену курса в религиозной политике и в области просвещения в духе православия). Фотий излагал события в следующей последовательности: он давно желал написать автобиографию, но был «неучен» и решил «унести все это в гроб», но, в конце концов, оказался «умолен от рода неких избранных Божьих немногих», в том числе и Иакова, часто просившего описать события 1824 г. [9].

Написание автобиографии, по примеру древних житий, Фотий облекал в ореол таинственности. Так, он сообщал Иакову, что ему было откровение и он решил писать, как в свое время Феодор Студит, «для пробуждения умоляющегося монашества». Из письма видно, что планы Фотия расширились, в октябре он хотел начать писать с 1817 г., теперь же он заявлял: «братья святой обители молят писать с начала и до конца все мне известное с юности». «Доколе проживу, дотолé напишу по силе и возможности», – заканчивал свое послание Фотий [10].

Свой труд Фотий начал 18 ноября 1830 г. В этот день были написаны первые пять страниц. Как и было условлено с Иаковым, автобиография писалась в виде писем, некоторые из которых объединялись и переписывались как отдельные главы. Под пером переписчика первые страницы автобиографии превратились в «Повесть о рождении» [11]. В первой редакции дата рождения Фотия давалась так: «От сотворения твари и первозданного Адама при обращении индиктиона 14, лета 7300, а от воплощения Бога Слова, индикта 10, вокруг солнца 20, а луны 14, июня в погосте Св. Петра на первой неделе в пяток в благополучное царствование Екатерины II». Следующая часть, оконченная 7 декабря 1830 г., в отредактированном варианте получила название «Повесть Фотия духовной дщери девице Анне, како был его восход... с начала до конца» [12]. Описание обрывалось на отъезде Фотия из Новгорода в Петербургскую духовную академию.

Фотий работал над своей автобиографией с 18 ноября 1830 г. по 12 марта 1833 г. Всего было написано 61 письмо. До какого времени продолжалось сотрудничество с протоиереем Иаковом, неизвестно. Никаких следов его участия в работе, кроме формы написания автобиографии в виде писем, не сохранилось. До 12 декабря 1830 г. Фотий посылал письма каждый день и довел повествование до событий 1817 г. С 20 января 1831 г. по 31 января 1831 г. Фотий послал семь писем и закончил главу биографии рассказом о своей высылке из Петербурга в 1820 г. С февраля 1831 г. по 29 сентября 1832 г. Фотий автобиографией не занимался. Его отвлекли события, связанные с исцелением бесноватых, породившие альтернативный вариант биографии – «Плачевная повесть о искушении во все дни живота» [13].

С октября по ноябрь 1832 г. Фотий написал 33 письма, доведя повествование до лета 1824 г. Несколько писем он написал весной 1832 г. и закончил труд в марте 1833 г., когда были дописаны последние четыре письма. Таким образом, на написание автобиографии Фотий потратил около 61 дня (всего 61 письмо). Большая их часть была написана в ноябре-январе 1830 – 31 гг. и октябре-ноябре 1832 г. Письма были сведены в книгу с железными застёжками из 338 листов под названием «Повесть архимандрита Фотия его духовной дочери графине А. А. Орловой-Чесменской» [14]. Письма написаны быстрым неразборчивым почерком, на полях Фотий делал пометки, вошедшие при публикации в «Русской старине» в описание глав. Самое удивительное, что этот наспех написанный труд практически не подвергся редакторской правке. В том же виде материалы Фотия были переписаны и редактировались, очень незначительно, им самим.

В фонде 219 ОР РГБ содержится по два экземпляра каждой книги автобиографии (всего три книги). Первый экземпляр книги Фотий отредактировал в 1834 г. Начал он с третьего, наиболее важного, тома (1824 г.). Он был отредактирован 28 марта 1834 г., а первый том – 9 июля 1834 г. После редактирования тот же переписчик вносил изменения, переписывая тома набело. Правка Фотия не носила принципиального характера. Фактически текст 1830 – 33 гг. был оставлен без изменений. Лишь в некоторых местах были вставлены пред-

ложения и очень редко абзацы, не влияющие, однако, на общее содержание. Фотий не стеснялся дополнять даже послания царю (их он вообще исправлял неоднократно, это видно по оригиналам). Самым существенным дополнением стали три страницы, прибавленные к последнему тому: «Об освящении церкви в Великом Ново-граде во имя Спаса Нерукотворного», «О потопе, бывшем в С.-Петербурге», «О новой секте войска Донского». Хотя впоследствии Фотий и написал главы автобиографии, относящиеся к царствованию Николая I, но к основному тексту они не были присоединены. Автобиография, опубликованная в «Русской старине», имела лишь незначительные отличия от автографа 1830 – 33 гг.

Очевидно, что лица, окружавшие Фотия, придавали его автобиографии сакраментальный смысл и считали недопустимым искажать или дополнять ее содержание. Для себя А. А. Орлова-Чесменская сохранила автограф автобиографии. Видимо, и сам Фотий считал свой труд чем-то законченным и неприкосновенным.

Серьезную роль в судьбе автобиографии было суждено сыграть событиям 1831 – 32 гг., оставившим неизгладимый след в душе самого Фотия. В это время Фотием был составлен альтернативный вариант автобиографии – «Плачевная повесть». В нем Фотий описывал все несчастья, которые постигли его в течение жизни. В нашем распоряжении имеется достаточно материала, чтобы осветить этот «темный» период биографии Фотия между 1831 и 1833 гг.

«Исцеление» бесноватых монаш Фотий считал прямой своей задачей, как воплощение непосредственной «борьбы с дьяволом». Бывший келейник Фотия, старец Евводий, вспоминал, что его в молодые годы привели в монастырь как бесноватого, лечение Фотия помогло, и он остался в монастыре до самой смерти настоятеля [15]. В недатированном письме Иннокентию, епископу Херсонскому, Фотий описывал чудо, случившееся в Юрьевом монастыре: заезжий князь заспорил с Фотием об «изгнании бесов» и предложил ему заставить заговорить на еврейском языке дьявола, якобы обитавшего в деревенской девушке. Арбитром в споре взялся быть местный еврей. По велению Фотия девица начала говорить по-еврейски, по-сирийски и по-халдейски и спорить

с евреем о верности иудейства с приведением цитат из еврейских, сирийских и халдейских священных книг. После данного события присутствовавший еврей уверовал и крестился [16].

Из писем С. А. Ширинского-Шихматова, поселившегося в монастыре в 1828 г., видно, что исцеления бесноватых случались в нем часто: «Хотя слова мои для вас и недостоверны, однако же, я должен сказать вам, что подобные опыты силы Божьей в благодетельствованном муже над силой вражеской видел я у себя в монастыре и после сего не один, и притом такие, что если б вам привелось быть зрителями оных, то уверяю вас, что трепет вошел бы в ваши кости и вы увидели бы на деле веру живую богоугодную» [17]. На Сергея Александровича все это произвело сильное впечатление. Он составил описание одного из исцелений под названием «Повесть зело чудна о некой девице, избавившейся от нечистого духа» (хранившееся в библиотеке Юрьева монастыря с вырванными листами, начиная со второй страницы) [18] и отправил его братьям «для сделания их участниками в прославлении имени Божия о чуде, в монастыре нашем свершившемся» [19]. В письме, сопровождавшем отосланную братьям тетрадь с описанием чуда, Ширинский-Шихматов указывал, что описывает «явление силы Божьей в немощи человеческой над силами преисподней, явление дивное, награждающее истинную богоугодную веру избранного орудия благодати Божьей» [20].

17 марта 1830 г. он послал братьям сумбурное письмо, где умолял их вернуть ему не только саму тетрадь, но и все копии, сделанные с нее, даже если они отданы посторонним лицам: «Под ответом совести вашей перед Господом, все сии списки и выписки, как ваши, так и чужие, переслать ко мне немедленно, дабы вверенная вам тайна осталась тайной в вашем ведении» [21]. Он объяснял свое странное требование тем, что настоятель монастыря, узнав о том, что он послал описание братьям, сделал ему выговор и велел из смирения вернуть все назад.

В. И. Жмакин, комментировавший переписку князей Ширинских-Шихматовых, считал, что речь в их письмах идет об известной Фотине Павловне, фигурантке петербургского балета, которая, прикинувшись бесноватой, обманом проникла в Юрьев мона-

стырь. Скандал этот сильно подорвал репутацию Фотия в глазах светского и духовного начальства. Действительно, обстоятельства, изложенные в письмах, и месяцы их датировки очень напоминают историю Фотины. Если 1830 г., указанный в письмах, изменить на 1832, то все совпадет. Действительно, в это время было составлено повествование об изгнании беса, а весной разразился скандал, и копии повествования потребовалось вернуть в монастырь. Изменения года датировки писем, относящихся к деятельности Фотия, случались и до этого. Так, были изменены годы писем Фотия к А. Н. Голицыну с 1824 на 1825 [22]. Возможно, это был один из политических приемов Фотия. Поэтому мнение В. И. Жмакина не может быть ни подтверждено, ни опровергнуто.

В письмах Фотия к А. А. Орловой-Чесменской за 1830 г. имеется несколько посланий «О бесноватых» [23]. 16 сентября 1830 г. Фотий описывал графине, как в монастырь привезли девушку, прыгнувшую в Новгороде с моста. По его мнению, она была «одержима бесом» – дралась и кусалась. «Очищение» прошло успешно. С ведома властей в монастырь доставили бесноватую полковницу, которой «лечение» также пошло на пользу. В письме от 18 сентября 1830 г. Фотий описывал случай, когда в его присутствии бесноватая заговорила по-гречески, называя его святым и преподобным. Многих бесноватых, излеченных в монастыре, Фотий оставлял жить вблизи себя. Больше всего неприятностей Фотию доставили бесноватые Арсений и Фотина, на некоторое время ставшие его спутниками.

С излечением бесноватых было связано введение Фотием в монастыре нового монашеского одеяния – хитона. В своей «Плачевной повести о искушении во все дни живота» Фотий писал, что ему было видение о хитоне, и в этом одеянии стало легче изгонять бесов [24]. Работая над составлением монастырского устава и исследуя различные вопросы монашеского быта, Фотий задался целью исправить одежду монашествующих по образцу древней. За основу им были взяты одеяния святых на иконах. Это нововведение Фотий обосновывал в письме епископу Херсонскому Иннокентию: «Образ ризоношения на образах, а не на людях. Глаголем: хитон мя облегает, но слово сие словом и остается, а дело не касается в

нас» [25]. Под введение нового облачения Фотий подвел солидную исследовательскую базу, в библиотеке Юрьева монастыря хранился сборник документов «Положения и справки о ризе (хитоне)» [26].

Введение Фотием хитона стало известно в обществе благодаря скандалу с упомянутой Фотиной. Документальных материалов, освещающих события в Юрьевом монастыре весной 1832 г., крайне мало, и они не позволяют составить полной картины происходившего. Одним из основных источников для исследования скандала является статья профессора П. С. Казанского «Материалы к биографии Фотия», напечатанная в «Русской старине» в 1875 году. Ее автор, к сожалению, не указал источников, на которых он основывался.

В статье П. С. Казанского дело представлено так, что Фотина, прикинувшись бесноватой, обманом проникла в Юрьев монастырь. Будучи вскоре разоблачена стараниями духовных дочерей Фотия, она была выслана в женский монастырь. На Фотия этот обман произвел сильное впечатление, так как он уже начал составлять описание этого чуда: «Событие, слово в слово со слов святого сокровенного угодника Христова, тайника великие благодати, списанное свидетелем верным, самовидцем, отцом и новым сокровенным чудотворцем» [27]. Это описание, по свидетельству И. А. Чистовича, находилось в библиотеке Юрьева монастыря, подшитое в тетрадь, в которой не хватало многих страниц, по видимому, описывающих разоблачение бесноватой.

По-другому взглянуть на события с Фотиной, прервавшие на год написание автобиографии, позволяют материалы, обнаруженные нами в фондах РГАДА. Это – «Событие, святая повесть, чудное страшное на земле искушение, брань, нападение дьявола» [28]. Данный материал приводился Фотием и под другими названиями – «Плачевная повесть» [29], «Брань или искушение во все дни» [30]. С этим материалом работал А. И. Чистович, а П. С. Казанский видел сокращенный вариант, в котором описание событий с Фотиной отсутствовало.

Текст «События» состоит из двух частей (всего 128 листов): первой, маленькой (два листа) – описание Фотия, «выходящего на брань» (его вид, одеяние), и второй – непосредственно повести об

излечении бесноватой. В «Брани» эти две части дополнены «Плачевной повестью» (рассказом о несчастьях и лишениях, которые Фотий претерпел в жизни). Она служит введением к повествованию о том, как Фотий «победил дьявола». В повествовании об изгнании беса имена и даты заменены пробелами, имена действующих лиц не упоминаются.

Автор пишет о том, что во время болезни настоятеля в монастырь привели девушку, с девяти лет «одержимую бесом». При этом она была девственна и вела строгую жизнь. Настоятель принял ее в своей келье. Дьявол, находившийся в девушке, сразу начал разговор с настоятелем, пытаясь поразить его своей властью. Обуздать его удалось лишь после того, как настоятель снял с себя вериги и накинул их на девушку, — металл вериг сразу нагрелся. Настоятель решил, что ему приказано свыше победить демона, и оставил девушку в своем монастыре. Полгода она жила в келье схимника, питалась с монахами и ежедневно приходила для бесед в келью настоятеля. Настоятель всячески испытывал бесноватую, колот ее длинной булавкой, но она не чувствовала боли, поил святой водой, но ее рвало. Дьявол неоднократно разговаривал с настоятелем и даже слушался его. Дьявол помог найти украденную из монастыря икону Знамения Божьей Матери, быстро находил указанные места в Евангелии, демонстрировал широкие познания. Иногда, чтобы соблазнить настоятеля, дьявол принимал образ ангела. В результате настоятелю удалось победить демона и девушка «обмерла». После долгой молитвы настоятеля она вернулась к жизни.

В «Брани» вышеуказанным событиям предшествует автобиография Фотия. В повесть введены образы настоятеля Кифы и графини А. А. Орловой-Чесменской. Самыми важными сведениями, содержащимися в «Событии», являются сообщения о том, что Фотина прожила в Юрьевом монастыре полгода, а «изгнание беса» произошло с 25 на 26 января. Последним указанным годом в предшествующей автобиографии является 1831. Все обстоятельства истории с «изгнанием» беса, а главное, ее хронология, свидетельствуют о том, что дело происходило именно с Фотиной Павловной. Следовательно, она жила в Юрьевом монастыре с лета 1831 по 1832 г.

К повествованию об изгнании беса можно прибавить некоторые подробности. Очевидец событий И. Г. Мизерецкий вспоминал, что Фотине становилось легче, когда Фотий накидывал на нее свой платок [31]. В своем исследовании П. С. Казанский писал, что Фотина подкупила одного из монахов, и он сообщал Фотию, что по ночам из ее кельи исходит свет [32]. Очищение Фотины от беса произвело особое впечатление на Фотия, так как она заявила, что ей было видение, что излечить ее сможет только настоятель Юрьева монастыря.

Об этом впечатлении свидетельствует заключительная часть «События». Это «Откровение, кто когда, како где невидимого Бога видел, слышал, познал, и что у кого с Богом было», датированное 1835 г. В отдельной тетради «Откровение» хранится в фонде Отдела рукописей РГБ [33]. В нем Фотий описывал всех «видевших и слышавших Бога от Адама». Подразумевалось, что в конце вереницы людей, отмеченных божьей милостью, стоит и сам архимандрит. Естественно, в сравнении с победой над бесом и даром воскрешения мертвых политические успехи 1824 г. стали казаться Фотию пустяковыми, и он оставил написание автобиографии.

После своего выздоровления Фотина осталась жить при монастыре. Фотий настолько подпал под влияние бывшей актрисы, что по ее совету стал приглашать деревенских девушек в монастырь для пения на службе и даже оставлял некоторых из них на ночь для изгнания злых духов. Духовные дочери Фотия были недовольны влиянием Фотины, и вскоре она была разоблачена. «На поверхность» разразившийся скандал вывел настоятель Клопского монастыря Кифа, бывший ученик и постриженец Фотия, занимавший должность наместника Юрьева монастыря. Под впечатлением всего происходящего он поехал в Петербург и сообщил, что Фотий сошел с ума. В послании митрополиту Серафиму 23 марта 1832 г. Фотий писал, что Кифа приехал из Петербурга с предписанием следить за Юрьевым монастырем и всюду рассказывал, что скоро сменит Фотия на посту настоятеля [34].

В начале марта 1832 г. митрополит Серафим приказал своему викарному Новгородскому епископу Тимофею проверить Юрьев монастырь. Тимофей явился внезапно, но, видимо, Фотину уже не застал.

Зато налицо оказались другие нарушения, главным из которых оказалось введение Фотием новой одежды – хитонов. «Не пойман – не вор», решило духовное начальство и начало следствие по поводу хитона. В результате 9 апреля 1832 г. епископ Тимофей в письме сообщал Фотию о распоряжении митрополита Серафима отдать его под суд Св. Синода, если он не оставит ношение хитона [35].

А. Г. Слезкинский, на основании писем Фотия к А. А. Орловой-Чесменской, указывал, что Фотину вызывал новгородский викарный епископ Тимофей, давний противник Фотия, и принуждал сознаться, что она сожительствует с архимандритом Юрьева монастыря. Затем Тимофей лично вызывал Фотия и уговаривал выслать Фотину из монастыря, так как об этом стало уже известно высшему начальству [36]. Вскоре к делу подключился новгородский губернатор Денфер, до этого пользовавшийся благосклонностью Фотия, даже делавшего ему протекцию по службе. С этого времени Денфер стал злейшим врагом архимандрита. Фотий писал графине, жалуясь на губернатора, по высочайшему указанию взявшего под наблюдение Юрьев монастырь: «Вот хитрость пакостника Денфера; выдумал, что по высочайшей воле велено-де делать надо мной наблюдение» [37].

Видимо, основанием, чтобы установить наблюдение над монастырем, был донос викария Тимофея о том, что Фотий приглашает в монастырь девиц для чтения в церкви. Графиня сообщила Фотию о том, что к ней приходил посланник митрополита Серафима и предложил в обмен на подписку Фотия о запрещении девичьего чтения разрешить все то, что ему прежде запрещали. Графиня прогнала посланца, за что удостоилась похвалы своего духовного отца, заявившего, что он никогда женщинам в церкви петь не разрешал. Но Фотия все-таки заставили дать подписку, он писал об этом графине: «Дал я подписку и вчера слышу, что архиерей зело был рад, оную получив: бегал и играл, как ребенок, с ней. Да, сколько мне чувствовалось горько давать, столь сладко и приятно было викарию получить» [38].

15 апреля 1832 г., судя по письму Фотия к А. А. Орловой-Чесменской, Фотина была отправлена в женский Переяславль-Залесский монастырь. Фотий очень тяжело переживал удаление

Фотины. В письме графине от 15 апреля Фотий писал, что продолжает считать Фотину «избранницей Божьей»: «Не верь слуху и духу людей: все ложь: все козни сатаны и дьявола. Ужели нет грешнее нас, что все об одних заговорили, об нас?» [39]. Из письма видно, что эта история получила широкую огласку, и у А. А. Орловой-Чесменской были неприятности при дворе, но ее взяла под защиту императрица Мария Федоровна. Фотий помогал деньгами Переяславаль-Залесскому монастырю, вел переписку с Фотиной (И. Г. Мизерецкий писал, что в его распоряжении была переписка Фотия и Фотины, но он вернул ее архимандриту) [40] и продолжал встречаться с ней лично. В январе 1833 г. Фотий писал графине, что Серафим недоволен его встречами с Фотиной, но он ее «во век не бросит» [41].

Скандал, связанный с Фотиной Павловной, так потряс Фотия, что он сжег 12 книг переписки с А. А. Орловой-Чесменской с 1820 по 1831 гг. Лишь осенью 1832 г. Фотий был в состоянии вновь начать автобиографию. При этом «Плачевная повесть» не была забыта, она копировалась и хранилась. Таковы были обстоятельства написания архимандритом Фотием Спасским автобиографических записок – одного из самых ценных источников по истории русского консерватизма первой четверти XIX в.

1. Дело фонда Юрьева-Новгородского первоклассного общежитейного мужского монастыря // РГАДА. Ф. 1208. Л. 3 – 4.
2. Дело фонда Фотия (П.Н Спасского) // РГБ. ОР. Ф. 758.
3. *Кондаков Ю. Е.* Архимандрит Фотий (1792 – 1838) и его время. СПб., 2000.
4. Книги и послания Фотия, перечень сочинений // РГБ. ОР. Ф. 219. Кар. 1. Д. 4. Л. 1 – 2.
5. Архив Иакова (И. И. Вечерникова) // РГБ. ОР. Ф. 505. Опись.
6. Письма Фотия к протоиерею Иакову // Письма к различным лицам // РГБ. ОР. Ф. 219. Кар. 129. Д. 3. Л. 199 – 200.
7. Там же. Л. 205.
8. Письмо Фотия к протоиерею Иоакиму // Письма к различным лицам // РГБ. ОР. Ф. 758. Кар. 4. Д. 39. С. 69.
9. Там же. Л. 70.
10. Там же. Л. 73.
11. Повесть о рождении // РГБ. ОР. Ф. 219. Кар. 102. Д. 29.
12. Повесть Фотия духовной дщери девице Анне // РГБ. ОР. Ф. 758. Кар. 1. Д. 1.

13. Плачевная повесть // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 102.
14. Повесть архимандрита Фотия его духовной дочери // РГБ. ОР. Ф. 219. Кар. 103. Д. 1.
15. *Слезкинский А. Г.* Фотий и А. А. Орлова-Чесменская // Русская старина. 1899. Т. 100. С. 319.
16. Письма Фотия Иннокентию епископу Херсонскому // Христианское чтение. 1887. Ноябрь. С. 757.
17. Переписка князей Ширинских-Шихматовых // Материалы для истории Русской богословской мысли. СПб., 1890. С. 226.
18. Там же. С. 240.
19. Там же. С. 224.
20. Там же. С. 220.
21. Там же.
22. *Кондаков Ю. Е.* Указ. соч. С. 35 – 37.
23. О бесноватых // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 56. Л. 15; 23.
24. Плачевная повесть // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 102. Л. 31.
25. Письма Фотия Иннокентию епископу Херсонскому... С. 731.
26. Положения и справки о ризе (хитоне) // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 131.
27. *Чистович И. А.* Руководящие деятели духовного просвещения. СПб., 1894.
28. Событие // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 106.
29. Плачевная повесть // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 102. Л. 31.
30. Брань или искушение // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 105.
31. Рассказы об архимандрите Фотии // Исторический вестник. 1885. Т. 21. № 8. С. 573.
32. *Казанский П. С.* Материалы к биографии Фотия // Русская старина. 1875. Т. 14.
33. Откровение // РГБ. ОР. Ф. 758. Кар. 4. Д. 1.
34. Послание Фотия к Серафиму // Послания Фотия к разным лицам // РГБ. ОР. Ф. 758. Кар. 3. Д. 8. Л. 15.
35. Послание Фотия епископу Тимофею // Там же. Л. 31.
36. *Слезкинский А. Г.* Фотий и А. А. Орлова-Чесменская // Русская старина. 1903. Т. 116. Октябрь. С. 152.
37. Там же.
38. Там же. С. 156 – 157.
39. Там же. С. 304.
40. Рассказы об архимандрите Фотие его брата И. Г. Мизерецкого // Исторический вестник. 1885. Т. 21. С. 547.
41. Послание Фотия к А. А. Орловой-Чесменской // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 61. Л. 22.

## Глава 4

### Государственная и общественно-политическая деятельность Дмитрия Павловича Рунича<sup>1</sup>

Дмитрий Павлович Рунич (1778 – 1860) известен как попечитель Петербургского учебного округа в первой половине 20-х гг. XIX века и организатор «суда» над профессорами Петербургского университета, которые были обвинены в 1821 г. в религиозном и политическом «вольномудстве». В историографии относительно полно освещен только этот аспект деятельности Рунича, который чаще всего оценивался со знаком минус, как дореволюционными, так и современными историками. Дореволюционные исследователи касались лишь некоторых сторон его биографии при изучении истории Петербургского университета [1] или деятельности М. Л. Магницкого [2] и не давали оценок Руничу как носителю определенной идеологической концепции. Современные историки затрагивают отдельные эпизоды деятельности Рунича при изучении религиозной политики Александра I [3] и борьбы «русской православной партии» [4] против засилья мистицизма в 20-х гг. XIX в., и, в силу «историографической инерции», по-прежнему изображают его лишь как «закоснелого консерватора» [5]. Таким образом, за исключением статьи В. Корсакова в «Русском биографическом словаре» [6], до сих пор не появилось ни одной статьи, а тем более, монографии, описывающих жизненный путь Рунича,

---

<sup>1</sup> Исследования проводились при поддержке Министерства образования РФ: А03-1.2-86.

его взгляды и идейные мотивы, которыми он руководствовался в своей деятельности. В данной статье мы постараемся воссоздать исторический портрет Д. П. Рунича на основе опубликованных источников, а также документов из Российского государственного архива литературы и искусства и отдела рукописей Российской государственной библиотеки.

Д. П. Рунич родился 19 октября 1778 г. [7] в семье сенатора Павла Степановича Рунича и Варвары Аркадиевны Рунич, урожденной Бутурлиной (дочери действительного камергера А. И. Бутурлина), в которой было восемь детей (Дмитрий, Александр, Аркадий, Николай, Федор, Александра, Екатерина, Елена) [8]. Как писал впоследствии Рунич, его родители воспитали в нем «религиозные чувства и на всю жизнь привили примеры и правила христианской жизни» [9]. Отец Дмитрия Павловича, П. С. Рунич, был потомком выходца из Угорской Руси, который поселился в России в царствование Елизаветы Петровны и служил императрице «ревностно» и «прилежно» [10]. П. С. Рунич сделал карьеру, дослужившись до чина тайного советника, участвовал в подавлении Пугачевского бунта и оставил «Записки о Пугачевском бунте» [11]. Император Павел I благоволил к нему и при вступлении на престол назначил П. С. Рунича, капитана гвардии, вышедшего в отставку в звании бригадира, на должность гражданского губернатора Владимира. По поручению Павла I и рекомендации А. А. Плещеева Рунич ездил с визитом к старообрядцам, жившим на реке Иргизе. Дело в том, что Павлу I было необходимо заручиться поддержкой «староверов» [12], так как они являлись «взрывоопасным элементом», участвуя в свое время в восстании Пугачева, и, кроме того, с их мнением считались купцы и фабриканты крупных городов России. Павел I доверил Руничу самостоятельно разобраться в делах старообрядцев, «секретно» [13] следить за ними и доносить о неповиновении властям. Д. П. Рунич считал, что после этой поездки между Павлом I и П. С. Руничем установились конфиденциальные отношения [14]. Руничу также было приказано следить за князем П. А. Зубовым и графом Зубовым, пока они будут жить в подведомственной ему губернии [15]. Александр I, как и Павел I, заботился об интересах старообрядцев, и после смерти отца приказал

Руничу по-прежнему заниматься делами старообрядцев [16]. Он был уверен, что Рунич выполнит его поручения, и разрешил ему «самовольно отъезжать по делам старообрядцев» [17].

О детстве и отрочестве Д. П. Рунича практически ничего неизвестно. В юности он восхищался переводами, «эротическими» стихотворениями и сказками Н. М. Карамзина. Еще ребенком Рунич увидел его в доме А. А. Плещеева, с семейством которого Рунич дружили долгие годы [18]. В подражание Карамзину он издал в Москве в 1795 г. свой перевод на русский язык «Путешествия в Крым и Константинополь в 1786 году миледи Кравен» [19]. Главная героиня описывала свое путешествие во Францию, в Италию, Германию, Польшу, Россию, Турцию, Петербург и Москву. В следующем году Рунич опубликовал в Москве «нравоучительную» повесть «Удивительное мщение одной женщины» [20]. Это был перевод фрагмента из сочинений Дидро, просмотренный и исправленный лично Карамзиным. После этого случая Рунич стал причислять себя к школе «нашего первого писателя» [21]. После появления в «Московском журнале» повести Карамзина «Бедная Лиза» Рунич перевел ее на французский язык. Впоследствии между ними завязалась переписка. «Добрый почтальон» [22] Рунич, как называл его Карамзин, пересылал по его просьбе письма от А. И. Тургенева к Н. И. Новикову, выполнял некоторые поручения Карамзина.

По традиции того времени, практически сразу после рождения, в 1780 г., Рунич был записан в сержанты лейб-гвардии Семеновского полка. В действительности же он поступил на военную службу в 18 лет в начале царствования Павла I и 24 января 1797 г. вышел в отставку в звании прапорщика [23]. 4 февраля того же года Рунич, благодаря знанию иностранных языков и связям отца, был зачислен на должность переводчика в Коллегию иностранных дел. Тогда же он был причислен к канцелярии вице-канцлера А. Б. Куракина, любимца императора, и находился в Москве во время коронации Павла I [24]. После отъезда двора из Петербурга Рунич отправился в Вену, так как 1 мая 1797 г. он получил назначение на должность секретаря-переводчика при Венском посольстве, и приехал в Вену во время заключения Кампо-Формийского мирного договора [25]. По воспоминаниям Рунича, Вена произвела на него впечатление

«веселого города» [26], о котором нельзя было и подумать, что французы недавно стояли у его ворот. Тогда Вена превратилась в подобие прежнего Парижа, куда стали стремиться знаменитости всех стран. В сентябре 1798 г. он получил распоряжение вернуться в Россию и получил чин коллежского асессора [27]. В 1799 г., после известия о первой победе Суворова над французскими революционными войсками в Италии при Треббии, Рунич уехал из Вены и находился в Берлине, когда было получено известие об убийстве трех французских уполномоченных: Баттельми, Дебри и Робержо, возвращавшихся из Раштадта с конгресса. Затем Руничу было поручено графом Н. И. Паниным, русским посланником при прусском дворе, доставить депешу, сообщавшую об этом событии императору Павлу I [28].

Рунич приехал в Петербург в середине июня 1800 г. в качестве курьера, привезшего депешу вице-канцлеру графу В. П. Кочубею [29]. В том же году он был «причислен к Герольдии» [30]. 7 июля 1800 г. Рунич был принят в штат своего отца – тайного советника, гражданского губернатора Владимира. Одновременно он был пожалован в надворные советники Павла I [31]. Духовное развитие Рунича было вполне обычным для того времени. В юности он увлекался культурой и образом жизни Западной Европы, интересовался христианскими миссионерскими рыцарскими орденами и масонскими обществами Австрии. Отец Рунича, П. С. Рунич, дружил с видными масонами А. Ф. Лабзиным [32] и А. А. Плещеевым [33], и одно время был в тесном контакте с московскими розенкрейцерами, а его друг Лоренц Витберг был «надзирателем» в одной из немецких лож в Петербурге. Близость Л. Витберга и П. С. Рунича к Лабзину способствовала тому, что в дальнейшем их сыновья вступили в масонское братство в основанной им ложе свободных каменщиков «Умиравший сфинкс» в Петербурге. Д. П. Рунич посещал ложу во время приездов в Петербург. Он хорошо знал Лабзина еще по дому своего отца, который тот часто посещал, и отзывался о нем как об истинном христианине и «редком существе» [34].

16 ноября 1802 г. Рунич получил чин коллежского советника и был оставлен исполнять особые поручения при своем отце,

который был переведен губернатором в Вятку. С 5 июля по 14 августа 1802 г. Рунич проводил следствие о неповиновении крестьян, купленных советником коммерции Рубиным, в Яренске [35]. Дело заключалось в том, что крестьяне не подчинились Рубину и решению Земского суда. Проведенное Руничем следствие, опираясь на показания крестьян и поверенного Рубина, выявило случаи взяточничества среди чиновников. Результаты следствия были утверждены 21 июля 1802 г. рескриптом императора на имя гражданского губернатора Вятки. 8 сентября 1802 г. Рунич был награжден орденом св. Анны второй степени [36]. 30 августа 1804 г. отец Рунича был назначен сенатором, и Дмитрий Павлович получил распоряжение остаться при своем отце с прежним жалованием [37]. В ноябре 1804 г. с соблюдением всех обрядов Рунич был принят в ученическую ложу «Умирающего сфинкса» в поисках «высшего таинства христианства» [38].

28 июня 1805 г. Рунич был назначен помощником Московского почт-директора. 28 сентября 1806 г. он женился на Екатерине Ивановне Ефимович, дочери помещика Малоярославецкого уезда Орловской губернии Ивана Николаевича Ефимовича и родственнице графа Н. И. Салтыкова, воспитателя Александра I. Семья Руничей с 1806 по 1819 гг. жила попеременно в Москве и в селе Спасском Звенигородского уезда, а в 1819 г. переехала в Петербург. У Руничей родилось 11 детей: пять мальчиков и шесть девочек [39].

31 августа 1807 г. Рунич получил чин статского советника, 8 сентября 1811 г. он был награжден орденом св. Владимира четвертой степени [40]. Вступив в масонскую ложу, Рунич сблизился с знаменитым масоном и просветителем Н. И. Новиковым, который стал его наставником, «водителем ведомого брата» [41], тем самым обязываясь обучить его тайнам масонской эзотерики и направить к «истинной цели». Новиков, по определению Рунича, был «прирожденный дворянин» и «замечательный человек, которого дальше потомство оценит беспристрастнее его современников» [42]. Рунич много узнал от Новикова о масонстве и получил некие уникальные подлинные документы, «истинный источник истории масонства» [43], которые привез из Германии профессор Московского университета Н. Г. Шварц для создания

в России «истинного масонства, противоядия неверию и вольнодумству» [44]. Более того, во время службы в московском почтамте Рунич был связующим звеном в переписке с видными масонами Лопухиным [45], Новиковым [46], Лабзиным, Черевиным, Ключаревым [47].

7 – 8 августа 1812 года Рунич пребывал в Петербурге, где случайно узнал от фельдмаршала Н. И. Салтыкова содержание донесения М. Б. Баркляя де Толли о соединении двух армий, которыми командовали Барклай де Толли и П. И. Багратион. Рунич точно предсказал дальнейший ход событий, заметив, что соединение армий не спасет Москву от вторжения Наполеона, но это не приведет к поражению России в войне с ним. Рунич ошибочно предположил, что Александр I может заключить мир с Наполеоном, чтобы спасти «древнюю столицу» [48], но Салтыков убедил Рунича, что император не сделает этого даже в случае угрозы захвата Петербурга.

10 августа 1812 г. Рунич по предложению главнокомандующего Москвы Ф. В. Ростопчина был назначен директором Московского почтамта [49]. Это произошло после ареста и высылки из Москвы Ростопчиным московского почт-директора Ф. П. Ключарева по знаменитому «делу Верещагина». По позднейшим воспоминаниям Рунича, Ростопчин подозревал, что Ключарев читал его переписку, которая могла его скомпрометировать, и боялся, что его «постигнет участь Сперанского» [50]. Поэтому Ростопчин старался сместить Ключарева с занимаемого им поста с помощью фельдмаршала Салтыкова, который рассчитывал посадить на место Ключарева Д. П. Рунича.

В ночь с 1 на 2 сентября Рунич выехал из Москвы во Владимир, захватив все деньги и счетные книги. Как он впоследствии утверждал, по его распоряжению было спасено казенных и частных капиталов на пять миллионов рублей [51]. Когда Рунич приехал во Владимир, он получил распоряжение М. И. Кутузова перевезти все присутственные места из Владимира в Нижний Новгород и создать новую почтовую линию для связи Москвы и Сибири. В начале октября 1812 г. Рунич получил приказ министра внутренних дел принять совместно с губернатором Нижнего Новгорода

все необходимые меры для открытия прямого почтового сообщения между Петербургом и Вяткой. Это было необходимо, чтобы в случае нападения на Петербург Вятка могла послужить убежищем для жителей столицы. Вскоре после того, как Наполеон покинул Москву, в конце октября, Рунич получил «высочайшее повеление» вернуться в Москву и восстановить прерванное во время войны почтовое сообщение [52]. Он вернулся в Москву 1 декабря 1812 г. В знак благодарности в 1813 г. Руничу были пожалованы столовые деньги по штату Московского почт-директора [53].

Когда в 1812 г. было учреждено Библейское общество в Петербурге, в котором было сильно масонское влияние, Рунич принял в нем деятельное участие. Он рассылал по губерниям книги, в которых разъяснялись цели Общества, интересовался развитием его деятельности [54]. Впоследствии Рунич признавал, что Общество «оскорбляло народные нравы и оспаривало prerogatives [православного – *Е. А.*] духовенства» [55], поскольку это было необходимо ему, чтобы окрепнуть и развиваться. В 1813 г. в Москве было издано сочинение Рунича «Дружеский ответ всем тем, до кого сие касаться может», которое было по достоинству оценено единомышленниками Рунича: «восхитительно видеть такое усердие в распространении спасительного просвещения» [56]. Поводом к изданию было «желание близким всякого добра и милости Божьей», а целью – «склонить к внимательному рассмотрению предметов, касающихся до вечного блаженства» [57]. Произведение содержало размышления о вечности, человеке, Боге, законе Божьем, религии, Иисусе Христе, бытии, обращении, раскаянии и возрождении, о смерти, небе и аде. Эта книга была конфискована из-за содержащихся в ней рассуждений о таинстве крещения, которые не соответствовали учению православной церкви, и была повторно издана в 1837 г.

В 1813 г. Рунич пригласил своего друга детства художника А. Л. Витберга погостить в его доме, когда Витберг приехал в Москву по предложению графа Ростопчина чтобы нарисовать портреты героев войны 1812 г. [58]. Рунич и Витберг были очень дружны, оба они были масонами и так называемыми «луффонами» [59]. По словам Рунича, он повлиял на дальнейшую творческую судьбу

Витберга, предложив набросать ему в альбом эскиз храма Христа Спасителя [60]. В благодарность в 1816 г. Витберг написал «Семейный портрет Руничей» [61].

Рунич исправно выполнял обязанности почт-директора, помогая по мере сил всем, кто к нему обращался [62], даже после увольнения от должности 11 февраля 1816 г. [63]. Он получил чин действительного статского советника и был причислен к почтовому департаменту с жалованием, соответствующим званию помощника Московского почт-директора в размере 1500 рублей в год [64]. После увольнения Рунич находился в «стесненном положении» [65], но не искал места для службы. Он принял предложение министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына занять место директора департамента в его министерстве. Чтобы угодить Голицыну, Рунич вместе с М. Л. Магницким, В. М. Поповым и П. П. Пезаровиусом посещал проповеди протестантских священников И. Линдля и И. Е. Госснера, впоследствии высланных за границу за антиправославные взгляды [66]. Рунич был знаком с Линдлем лично и в дальнейшем считал, что «его проповеди, вполне согласные с духом веры, не могли быть признаны опасными для веры» [67].

В 1818 г. Рунич, очевидно, исходя из соображений карьеры, в письме В. М. Попову, написанному по требованию А. Н. Голицына, заявил: «Я масон, но не принадлежу ни к одной масонской ложе ни в Москве, ни в Петербурге» [68]. 18 апреля 1820 г. Рунич и Витберг были исключены из масонского братства Лабзиным, так как проявили «своеумие и своенравие» и перестали хранить верность «усыновившей их ложе» [69]. Тем не менее, до конца жизни Рунич сохранил верность масонским убеждениям, о чем свидетельствуют многочисленные источники. В своих высказываниях, в зависимости от политической ситуации, Рунич порицал масонство как «игрушку» [70] для знатных людей и «кукольную игру» [71] или превозносил масонские ложи, называя их «народными школами» [72], в которых обучают «истинному христианству» и нравственности. Он утверждал, что масонство было испорчено злоупотреблениями, которые «проникают всюду» [73], даже в церковь, так как все находится в руках людей, с их поро-

ками и слабостями. По его словам, основы и правила масонства и «свободного каменщичество» – «самые чистые и строгие», их цель – «нравственное возрождение человека» [74], источники масонства – это Пятикнижие Моисея, «наследие мудрости» Моисея, пророков и царя Соломона. Согласно воззрениям Рунича, с самого начала существования масонства возникла ненависть к нему, так как люди не знали истинного масонства, которое распространяло евангельское христианство: «Антихристианство, философизм есть непримиримый враг масонства <...> потому что Евангелие не теория, не система – а жизнь!» [75].

8 марта 1819 г. Рунич был назначен членом Главного правления училищ [76] и получал жалование как чиновник министерства духовных дел и народного просвещения в размере трех тысяч рублей в год [77]. В июне 1819 г. он переехал в Петербург, где получил место в собрании Правления министерства духовных дел и народного просвещения. Вскоре Рунич стал членом Ученого комитета [78]. В июне 1820 г. он вошел в состав комитета составления нового устава по делам книгопечатания [79]. В том же году Рунич стал членом созданного при Главном правлении училищ Особого комитета для устройства и наблюдения за училищами взаимного обучения [80]. В 1820 г. он написал письмо к издателям «Русского инвалида» по поводу статьи о Байроне, переведенной из парижского журнала «Conservateur». Рунич, не желая признавать в Байроне гениального поэта, называл его «английским безбожником-стихотворцем» [81]. Очевидно, появление статьи было обусловлено тем убеждением Рунича, что он считал благом для русского общества ограничить «чужеземное» влияние и распространение просветительских идей.

В 1820 г. Руничу, как и другим членам Ученого комитета, было поручено рассмотреть книгу «Естественное право» профессора Царскосельского лицея А. П. Куницына. С этого факта традиционно начинается отсчет скандально знаменитого «дела о профессорах». Полагаем, что логика деятельности Рунича в первой половине 20-х гг. XIX в. определялась идеологическими представлениями, вызревшими в лоне масонства. Рунич считал, что человечество скоро столкнется со «временем апокалипсических пророчеств» [82], но, в отличие от Европы, у России есть будущее.

Он объяснял это тем, что силы Европы «истощаются», а будущее России определяет «апокалипсическое откровение» [83]. Согласно «теории божественного права» [84], все события человеческой истории – не что иное, как реализация Божественной воли, Провидения: «Судьба государств зависит не от политики известных личностей, а от Божественного Промысла» [85]. Рунич считал себя «орудием Провидения» [86], пассивным исполнителем божественной воли, а не творцом истории. Он верил, что все значительные события в истории человечества связаны с вмешательством извне: «Никакая человеческая сила не может влиять на будущее!» [87], «великие перевороты, совершающиеся в государствах, намечены в общих планах Божественного Провидения, управляющего миром» [88]. Спасение России, по Руничу, заключалось в масонстве и «наружной религии» [89], которые могли подготовить человека к «возрождению». Рунич считал, что масонство вело к христианству, и человек превращался из животного в «существо по образу и подобию Божию» [90]. Масонство – это публичная школа, где миряне получали наставления, советы и примеры, и учились понимать историю христианской церкви, смысл ее богослужений и обрядов, «сокровища веры и благодати» [91].

Рунич, видимо, искренне считал, что общество, окружавшее его, находилось на последней стадии деградации, так как утратило религиозное чувство. Спасение России, по Руничу, заключалось в масонстве, которое вело к христианству, очищало и облагораживало человека, и «наружной религии» [92], состоящей в публичном богослужении и отправлении обрядов. Рунич предложил собственное учение, которое должно было быть положено в основу воспитания молодежи. По его мнению, благотворное воспитание, во-первых, должно было базироваться на своеобразном симбиозе масонства и христианства [93]. Во-вторых, нужно было изолировать юношество от любой информации о европейских странах и удалить преподавателей-иностранцев, которые «насмехались» [94] над русскими обычаями и религией и внушали эти чувства своим воспитанникам. Этот комплекс идей, несомненно, имеющий масонскую основу, служил руководством в деятельности Рунича на посту попечителя Петербургского учебного округа, на который

он был назначен 7 мая 1821 г. [95]. Это назначение, как писал он позднее, состоялось против его желания и не раз он просил у Голицына увольнения или «ограждения ответственности» [96]. Рунич считал, что цель университетов – обогащение ума человеческого науками [97], поэтому обязанность университетов – преподавание наук, подготовка молодежи к занятию различных должностей. Для молодежи нужен не только полицейский надзор, но и нравственное воспитание, основанное на «христианских и монархических» [98] правилах.

В 1821 г. состоялся суд над профессорами, в результате которого Рунич приобрел репутацию «мракобеса» и «гасителя просвещения». 29 августа 1821 г. Рунич потребовал, чтобы конференция университета собрала «подробные сведения по нравственной, учебной, полицейской и хозяйственной частям» [99], без которых он не мог вступить в должность. По нравственной части Рунич приказал доставить сведения о порядке публичного воспитания, список студентов с описанием нравственных свойств и успехов в Законе Божьем, сведения о «неблагонадежности» и вероисповедании преподавателей университета и «об исполнении ими христианских обязанностей». По полицейской и хозяйственной частям Рунич приказал конференции университета предоставить ему подробные отчеты об их состоянии и приложить к ним все имеющиеся материалы по истории университета. По учебной части он потребовал предоставить ему студенческие тетради с записями профессорских лекций по нравственным, политическим, юридическим, историческим и естественным наукам. Рунич рассчитывал по студенческим конспектам лекций профессоров проверить «дух преподавания», и Голицын разрешил «вытребовать» [100] тетради и записи. Затем Рунич поручил Д. А. Кавелину при помощи инспектора университетского пансиона Я. В. Толмачева «взять тайно» [101] у студентов университета тетради с записями лекций «заподозренных» профессоров. 17 сентября 1821 г. Главное правление училищ постановило прекратить лекции по статистике России профессора К. Ф. Германа, по всеобщей истории профессора Э. Раупаха, по философии профессора А. И. Галича и по статистике адъюнкт-профессора К. И. Арсеньева на время судебного раз-

бирательства в университете и Благородном пансионе и временно заменить их другими [102].

На основе выписок из тетрадей студентов университета Рунич доказывал, что преподавание в университете ведется на «разрушительных началах» [103] и профессорская корпорация, заявившая 3 октября [104], что в университете никогда ни одна наука не преподавалась в противоречащем христианскому учению и монархическим правилам духе, покрывает виновных в неблагонадежности профессоров. Рунич считал необходимым предать дело огласке, так как «одна гласность и правильность суда притупить могут действие сего оружия» [105], только гласный суд может бороться с «неверием», которое с XVII века «поражает религию и ослабляет правительство». Он был уверен, что действия правительства поддержат «отцы семейств, вся христианская и благонамеренная часть общества» [106]. Рунич хотел провести реформы по созданию образцового университета на двух «основах нравственного существования» – «религия и монархический принцип» [107], причем его преобразования позже, по докладам Голицына, были намечены и утверждены императором.

С самого начала дело о профессорах получило статус перво-степенной государственной важности, как угрожающее самым основам государственного и общественного порядка. Рунич считал, что дело о профессорах – это дело «не об учености, а о нападении на религию и правительство» [108]. Разумеется, об обвиняемых и судебном разбирательстве было известно Александру I. 29 октября Рунич получил распоряжение Голицына объединить правление и конференцию университета под своим председательством на основе 18-й статьи «Первоначального образования» Петербургского университета, «призвать в присутствие профессоров одного за другим» [109] и потребовать от каждого письменных ответов на вопросные пункты, составленные Голицыным. Полученные ответы сначала представить Голицыну вместе с мнением присутствия университета, а потом в Главное правление для дальнейшего рассмотрения. 3, 4 и 7 ноября 1821 г. состоялись заседания конференции и правления Петербургского университета. К. Ф. Герман обвинялся в том, что превратил стати-

стику, «простую» науку, в смесь статистики с «умствованиями о религии (поскольку он ставил церковь в один ряд со школьными государственными учреждениями), прав естественных и политической экономии» на основе «новейшей разрушительной философии» [110]. Э. Раупах был обвинен в том, что опровергает достоверность Библии и высказывает «богохульные умозрения, догадки и заключения» [111], унижая религию и угрожая «общественному и частному благосостоянию». Раупах отказался отвечать на вопросы обвинения [112], если ему не будут возвращены его тетради. Герман письменно попросил передать на рассмотрение «знатоков политических наук» выписки из студенческих тетрадей. Галич был обвинен в том, что он в своей книге «История философских систем» проповедует философию Шеллинга, которая отвергнута многими учеными просвещенных стран Европы.

Галич под давлением Кавелина, который угрожал Галичу «объявить его сумасшедшим» [113], признал свою «вину»: «Сознавая невозможность отвергнуть или опровергнуть предложенные мне вопросные пункты, прошу не помянуть грехов юности и неведения» [114]. К. И. Арсеньев был обвинен в том, что преподавал в том же духе, что и Герман. На заявление Арсеньева, что он преподавал теорию статистики по печатной книге профессора Германа, изданной в 1807 г. Главным правлением училищ и одобренной правительством, Рунич резко сказал: «Это не послужит вам в оправдание, что книга напечатана и одобрена от правительства; тогда было время, а теперь другое!» [115].

Заседания конференции выявили группу профессоров, несогласных с мнением Рунича и требовавших проведения суда на законных основаниях, которых Рунич назвал «противной партией» [116]. Рунич «не ожидал встретить такого сопротивления» [117]. По его мнению, этот суд был «подражанием безобразным английским митингам» [118], профессора «старались из белого сделать черное», отказываясь отвечать на вопросные пункты. Суд прошел несколько инстанций: общее собрание университета, главное правление училищ, министра народного просвещения и комитет министров, но дело так и не было решено. Уволен был только Э. В. Раупах, остальные профессора – М. А. Балугьянский,

К. Ф. Герман, А. И. Галич, К. И. Арсеньев и П. Д. Лодий были отстранены от преподавания, но числились в университете и получали жалование и «плату за наем квартиры» до 1824 г. [119].

После суда Рунич намеревался «реформировать» Петербургский университет, который, по его словам, представлял собой «здание, без плана и прочного основания построенно», которому «без сомнения надлежало развалиться» [120]. Рунич рассчитывал приостановить на время прием в университет семинаристов и набирать в университет воспитанников Дома воспитания бедных детей, уменьшить количество студентов и из 100 оставить только 40, а через год набрать всего 30 студентов. Он также планировал провести разбор студентов по способностям и «нравственности», составить новый Устав, переместить университет в другое здание и перестроить старое или купить новое. Рунич намеревался уничтожить «беспольный» Учительский институт, его воспитанников превратить в казенных учеников Петербургской гимназии и уничтожить «совершенно бесполезный» [121] экономический комитет петербургской гимназии и училищ, и все расходы передать в ведение правления университета. 12 марта 1822 г. по докладу Голицына Александр I приказал приостановить на время прием семинаристов и провести разбор студентов, а остальные пункты программы доработать.

Необходимость «разбора» всех казеннокоштных студентов Рунич мотивировал «поверхностными знаниями» и «дурной нравственностью» [122] студентов. 18 марта 1822 г. с одобрения императора Рунич провел в Петербургском университете «разбор» всех казеннокоштных студентов по способностям и «нравственности». О познаниях студентов делала заключение конференция университета на основе экзамена – «годового испытания», проходившего с 9 января по 9 февраля 1822 г. О «благонадежности студентов к учительскому званию по нравственным качествам» [123] судил директор университета, «нравственные свойства» оценивал инспектор казенных студентов. По итогам разбора студенты были разделены на пять разрядов, и из 59 студентов было исключено 29 человек [124].

После «разбора» студентов в 1822 г. Рунич решил изменить систему комплектования университета учащимися. Основное ядро университета до этого составляли казенные воспитанники духовных семинарий. Они, по его мнению, приносили с собой «развратные склонности, грубые нравы и навыки» и создавали почву для «нечестия и политического разврата» [125]. В марте 1822 г. Рунич получил разрешение принимать в казенные студенты воспитанников Петербургской гимназии и Императорского человеколюбивого общества, детей учителей и неимущих чиновников округа.

Рунич планировал установить общие формы связи университета с Благородным пансионом, губернскими гимназиями и Высшим училищем. В этих трех заведениях нравственная и полицейская части управлялись директорами этих учебных заведений, которые были подотчетны попечителю учебного округа, учебная и хозяйственная части передавались в ведение совета университета и его правления [126]. Остальные преобразования в этих учебных заведениях проходили фактически по одному и тому же сценарию: увольнение «неблагонадежных» преподавателей и замена их «исправнейшими и надежнейшими» [127], «разбор» учащихся и перестройка помещений.

В 1823 г. Рунич начал строительство нового здания для университета. Он счел необходимым соединить Благородный пансион и университет в одном помещении, так как программа его преобразований включала строительство новых зданий для университета. Рунич подтвердил это предложение сметами расходов. Первая смета была представлена исправляющим должность ректора университета Е. Ф. Зябловским и составляла 74 956 рублей [128]. Вторая была составлена Руничем, который уменьшил расходы до 69 343 рублей [129]. Инициатива временного перевода университета в здание пансиона принадлежала Кавелину, который неоднократно доносил о «неудобствах помещения» [130] университета. Рунич добавил к этой причине еще две: некачественный контроль над посещаемостью лекций из-за большого количества выходов в здании двенадцати коллегий и неудобное размещение его на Васильевском острове, который практически недоступен в плохую погоду [131]. Он планировал перестроить здание университета, пристроить к

нему жилые корпуса для ректора и студентов, построить новые здания для Петербургской гимназии и Благородного пансиона.

В 1824 г. Рунич решил сократить расходы по университету, уволив от службы П. Д. Лодия, М. А. Балугьянского, К. Ф. Германа, А. И. Галича и К. И. Арсеньева, о чем представил Голицыну смету [132]. Сохранение жалованья лицам, отстраненным от преподавания было, по выражению Рунича, «передержкой сверх определенного по штату» [133], поэтому он предлагал уволить Балугьянского, Германа и Арсеньева, к тому же Балугьянский и Арсеньев сами подавали заявления. «Получаемые ими оклады могли бы быть назначены» [134] тем профессорам, которые займут их места. Александр I по докладу Голицына разрешил уволить Балугьянского и Арсеньева «от имени Голицына» [135], так как они «сами об этом просили»; Галича повелел оставить в университете, а Германа выплачивать жалование из государственного казначейства.

Таким образом, после суда Рунич не только провел «реформы» в Петербургском университете, но и поставил все учебные заведения округа в зависимость от университета. Успех его предложений в высших сферах, одобрение Александром I программы его преобразований, – свидетельство прочности положения Рунича, соответствия его реформ общей политике правительства, хотя он все время оставался «исправляющим должность попечителя». 3 февраля 1824 г. он был награжден орденом Св. Владимира второй степени, «За долговременную службу и похвальные труды» [136].

Первым сигналом поворота в оценке деятельности Рунича можно назвать высочайшее повеление от 4 января 1824 г. ввести в Петербургском университете устав Московского университета до тех пор, пока не будет утвержден «особый устав» [137]. Этот устав не отменил введенной Руничем «Инструкции ректору и директору Казанского университета», но дал большую самостоятельность совету и правлению университета и упорядочил управление университетом. Это шло вразрез с планами Рунича, так как первое место в его попечительство занимало правление, председателем которого он стал после выхода Кавелина в отставку в июле 1823 г., а конференция университета была ослаблена после событий 1821 – 1822 гг.

и полностью подчинена Руничу. Поэтому он препятствовал практическому введению Московского устава, и только по требованию нового министра народного просвещения А. С. Шишкова 14 августа 1825 г. были проведены выборы ректора, деканов и синдика.

При Шишкове произошел поворот в развитии народного просвещения, так как он планировал коренную реформу учебной системы на «национальных принципах» [138], и его не устраивали действия Рунича. При нем был замечен ряд недостатков в организации преподавания и воспитания сначала в Благородном пансионе, а потом были пересмотрены все преобразования Рунича за время его попечительства. 24 июля 1825 г. Шишков потребовал отчет Рунича о состоянии Петербургского университета, Благородного пансиона и училищ округа со времени вступления его в должность попечителя и о мерах, принятых для улучшения их положения.

4 сентября 1825 г. Рунич получил отказ императора на просьбу о продлении «пожалованного в аренду имения» [139]. Очевидно, почуввав опасность, Рунич подал отчет о своей деятельности 31 января 1826 г., в котором писал, что «не щадил ни трудов, ни усердия, чтобы поставить как университет, так и прочие учебные заведения столицы в такое положение, в котором они бы приносили действительную пользу», и что университет, «который до того носил только имя оногo, в течение сих лет (1821 – 1824) получил приличное ему устройство» [140]. Но Д. И. Языков и П. А. Ширинский-Шихматов раскритиковали этот отчет. Они не видели никаких изменений за все время управления Руничем учебным округом и считали разбор студентов необоснованным. Впоследствии Шишков сделал доклад Николаю I об общем смягчении участи пострадавших в 1822 г. и назвал этот разбор произведенным «слишком поспешно и недостаточно основательно» [141]. Шишкову подали прошения о возвращении чинов бывшие студенты, и почти всем были возвращены, по решению комитета министров, чины 9-го класса [142]. Результаты введения новой системы комплектования университета учащимися [143] и итоги реформирования Благородного пансиона были признаны неудовлетворительными. Шишков 3 апреля 1826 г. приказал передать отчет на рассмотрение в Хозяйственный комитет Главного правления училищ «для соображения по части

строительной» [144], так как вскоре были обнаружены ошибки в отчетности Рунича при постройке зданий университета.

25 июня 1826 г. он был уволен от должностей попечителя Петербургского учебного округа и члена Главного правления училищ по обвинению в растрате казенных денег, допущенной при строительстве нового здания для университета. Впоследствии его одного обвинили во всех неудачах в «реформировании» университета, но следует подчеркнуть, что Рунич действовал согласно приказам А. Н. Голицына [145] и вместе со своими единомышленниками: ректором университета Е. Ф. Зябловским [146] и директором Благородного пансиона Д. А. Кавелиным [147]. Его «преобразования» существенно различались с действиями в Казанском университете М. Л. Магницкого, который задался целью пересоздать русские университеты и всю систему общественного воспитания в России в консервативном духе на основе православия [148].

Так закончилась государственная служба Рунича. Отныне он всецело сосредоточился на литературной деятельности. В октябре 1837 г. в Петербурге им была издана «Хронологическая история Нового Завета», написанная на французском языке. Впервые она была опубликована в Париже в 1830 г. Эта книга была основана на тексте Евангелия и призвана была дать представление о жизни и учении Христа в хронологическом порядке. Газета «Северная пчела» характеризовала ее как «усладительную и спасительную духовную трапезу» [149]. В 1838 г. Рунич написал «Записку о воздушных шарах, предназначенных для военных целей» [150]. 15 февраля 1839 г., возвратившись с похорон М. М. Сперанского, Рунич набросал «Мысли», в которых утверждал, что возвышение Сперанского «не есть дело ни счастья, ни случая, а естественное явление следствий силы ума великого, характера твердого, способностей необыкновенных» [151], но эта статья не появилась в печати. В 1850 г. Рунич закончил «Записки» на французском языке, в которых речь шла о политических событиях времен Петра I, Екатерины II, Павла I и Александра I, о служебных перемещениях и взглядах Рунича. Он оставил также автобиографические записки на французском языке «*Memories de m-r de S-te Croix. 1778 – 1843*» [152].

В 1852 г. Рунич написал статью «О народном обучении в России до кончины императрицы Екатерины II (1796, 6 ноября), в царствование императора Павла I и со времени учреждения министерств в царствование Александра I» [153]. В 1853 г. он составил сборник под общим названием «Богословские вопросы» из трех статей: «О чистилище и мытарствах после смерти» [154], «Misterium Magnum» и «Ряд вопросов богословского и философского характера». В 1854 г. Рунич написал статью «Россия от 1633 до 1854 г. Взгляд на древний и новый ее быт», в которой представил свою оригинальную точку зрения на события и правителей России этого времени: он осуждал Петра I, который заставил забыть русский народ «первоначальные нравы и привычки предков» [155], а его преемники – Екатерина II и Александр I, продолжали его политику. В 1855 г. Рунич написал две статьи: «1836 год в 1855 году. Часть I» по поводу сочинения Юнга-Штиллинга «Sieges Geschichte», указывавшее на 1836 г. «как на начало событий апокалиптических откровений» [156], и «Министерства в России». В конце жизни он оставил для своих сыновей заметки о происхождении Руничей и ближайших родственников.

В литературной деятельности и исторических взглядах Рунича ярко отразилась консервативная точка зрения на исторический процесс и влияние масонства. Он восхищался «древним бытом России» [157], который установился с введением христианства, когда было все «как надо» в порядках и обычаях, и осуждал Петра I, который разрушил русскую национальность и заставил забыть русский народ «первоначальные нравы и привычки предков» [158]. Рунич считал, что Екатерина II не стала «родной» нацией, так как незаконно вступила на престол [159]. Он восхищался Павлом I, чье правление было спасительным для России: он восстановил в государстве порядок и поддерживал русское [160]. Рунич давал неоднозначную оценку Александру I. Он признавал, что с его воцарением произошло возрождение страны, но ни одно из преобразований Александра I не упрочилось, так как он хотел идти вперед «слишком быстрыми шагами» [161]. Николай I, по мысли Рунича, должен был развить природный дух русских, величие, силу и могущество России.

В целом, идеальной системой государственного устройства Рунич признавал самодержавную монархию, так как самодержавный монарх получал свою власть от Бога. Вместе с властью он получал «сверхъестественную поддержку» и советы по управлению государством. Рунич считал, что самодержавие не могло быть «реформировано», так как человек по своей природе греховен («человек рождается злым» [162]), поэтому он не может изменить к лучшему государственное устройство. По той же причине монарх должен следовать только советам Всевышнего и не прислушиваться к своему окружению: «если монарх ошибется, он ошибется один, а если его надувают один или несколько советников, он будет постоянно ошибаться» [163]. Рунич считал, что Россия – единственная страна, сохранившая описываемую им совершенную систему государственного устройства с древности. Он не видел ни смысла, ни даже возможности изменить ее в тот момент.

Рунич не отвергал идеи демократии и конституции, как и реформы в целом. Он полагал, что конституции не даются и не берутся силой, они должны созреть и появиться на свет своевременно. По мнению Рунича, Россия еще не созрела для конституции [164]. Республиканские права (конституционные права – свобода слова и личная свобода) и республиканский образ правления должны быть только в республике, они не могут быть допущены в чисто монархической стране (России) [165].

Рунич был уверен, что России нечего опасаться политических переворотов – революций, но она может быть взволнована внутренними смутами без политических целей. Он объяснял это тем, что Россия состояла из слишком разнородных элементов по вероисповеданию и образованности, поэтому в России не могла появиться оппозиция, объединенная единством взглядов, целей и образа мысли: «России нечего опасаться, кроме отдельных вспышек, которые можно быстро устранить при помощи картечи» [166]. По мнению Рунича, главное для России – это опора на религию, нравственность и справедливость.

Перед смертью Рунич просил Д. Н. Родионова, племянника М. Н. Мусина-Пушкина (попечителя Петербургского учебного округа [167]), помочь разобрать бумаги своего архива, но так и не

приступил к работе. Он умер 1 июня 1860 г. и был похоронен на Волковском кладбище. Его жена, Екатерина Ивановна, умерла на три года позже – 21 марта 1863 г. [168].

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что без изучения биографии Рунича, его общественно-политических взглядов и деятельности, невозможно адекватное изучение истории русского консерватизма, в особенности консерватизма, возникшего в лоне масонства. Кроме того, это позволит существенно расширить представления о характере и причинах так называемого консервативного поворота в политике Александра I в 1820-е гг.

1. *Григорьев В. В.* Императорский Санкт-Петербургский университет. СПб., 1870; *Сухомлинов М. И.* Исследования и статьи по литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 1; *Рождественский С. В.* Первоначальное образование СПб., Университета и его ближайшая судьба. Петроград, 1919; *Косачевская Е. Н. М. А.* Балугьянский и Петербургский университет в первой четверти XIX в. Л., 1971.

2. *Феоктистов Е.* Магницкий. Материалы для истории просвещения в России. СПб., 1865.

3. *Вишленкова Е. А.* Религиозная политика: официальный курс и «общее мнение» России Александровской эпохи. Казань, 1997.

4. *Кондаков Ю. Е.* Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная оппозиция (1801 – 1825). СПб., 1998.

5. *Мартин А.* «Воспоминание» и «пророчество»: возникновение консервативной идеологии в России в эпоху наполеоновских войн и «священного союза» // Исторические метаморфозы консерватизма. Пермь, 1998. С. 85 – 102.

6. *Корсаков В. Д. П.* Рунич // Русский биографический словарь «Романова – Рязовский». СПб., 1918. С. 592 – 601.

7. *Титов А.* Автобиографические записки Д. П. Рунича. Ярославль, 1909. С. 4.

8. *Корсаков В.* Указ соч. С. 605.

9. Подписка о не состоянии в тайных обществах (на имя г. управляющего Министерством внутренних дел, 28 апреля 1826 г.) // Титов А. Указ соч. С. 6.

10. РГАЛИ. Ф. 1150. Оп. 2. Д. 6. Л. 2.

11. *Рунич П. С.* Записки о Пугачевском бунте // Русская старина (далее РС). 1870. № 8 – 10.

12. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 70.

13. РГАЛИ. Ф. 1150. Оп. 2. Д. 3. Л. 4 – 5. «Секретно» – пометка на приказе Павла I.

14. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 68 – 72.

15. РГАЛИ. Ф. 1150. Оп. 2. Д. 3. Л. 1 – 12.

16. Там же. Д. 5. Л. 1.
17. Там же. Д. 4. Л. 5 – 6.
18. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 48.
19. РГБ. ОР. Ф. Полт. К. 45. Д. 26. Л. 3.
20. Там же. Ф. 751. К. 2. Д. 52. Л. 6.
21. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 49 – 50.
22. Письма Н. М. Карамзина к Д. П. Руничу (1815 – 1825) // Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1870 г. СПб., 1872. С. 58.
23. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 1 об., Л. 2.
24. Титов А. Указ соч. С. 4.
25. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 1 об., Л. 2.
26. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 72 – 73.
27. Титов А. Указ соч. С. 4.
28. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 77.
29. Там же. В настоящий момент мы не можем объяснить расхождение между датами. В послужном списке Рунича, хранящемся в РГАЛИ (Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. 8 лл.), нет такой информации.
30. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 1 об., Л. 2.
31. Там же.
32. *Дмитриев М. А.* Воспоминание о Лабзине (из записок М. А. Дмитриева) // Русский архив (далее РА). 1866. С. 850.
33. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 48.
34. Там же. № 5. С. 158.
35. В. И. Саитов в деле о Д. П. Руниче, которое хранится в РГБ. ОР. (Ф. 751. К. 2. Д. 52. 15 лл.), указывает другое написание: город Яранск и помещик Губин.
36. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 2 об., Л. 3; РГБ. ОР. Ф. 751. К. 2. Д. 52. Л. 1.
37. РГБ. ОР. Ф. 751. К. 2. Д. 52. Л. 1.
38. Подписка о не состоянии в тайных обществах (на имя г. управляющего Министерством внутренних дел, 28 апреля 1826 г.) // Титов А. Указ соч. С. 6 – 8.
39. РГБ. ОР. Ф. 751. К. 2. Д. 52. Л. 2.
40. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 2 об., Л. 3.
41. Письма Н. И. Новикова к Д. П. Руничу // РА. 1871. № 6. С. 1018 – 1023.
42. *Рунич Д. П.* Россия от 1633 до 1854 г. Взгляд на древний и новый ее быт (из бумаг Д. П. Рунича), с предисловием А. Титова. Ярославль, 1909. С. 8.
43. Записка Д. П. Рунича о масонстве // Литературный вестник. 1904. Т. 8. С. 106.
44. *Рунич Д. П.* Россия от 1633 до 1854 г. С. 9.
45. Письма И. В. Лопухина к Д. П. Руничу // РА. 1870. № 7. С. 1215 – 1236.

46. Письма Н. И. Новикова к Д. П. Руничу. С. 1014 – 1094.
47. Отчет императорской публичной библиотеки за 1870 г. СПб., 1872. С. 50.
48. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 3. С. 598.
49. РГАЛИ. Ф.1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 3 об., Л. 4.
50. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 3. С. 599.
51. Там же. С. 607 – 609.
52. Рунич Д. П. Россия от 1633 до 1854 г. С. 21.
53. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 3 об., Л. 4.
54. Два письма Д. П. Рунича – В. М. Попову // РС. 1898. № 8. С. 391 – 392.
55. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 5. С. 375.
56. Письма И. В. Лопухина к Д. П. Руничу. С. 1235.
57. РГБ. ОР. Ф. 751. К. 2. Д. 52. Л. 8.
58. *Витберг А. А.* Записки академика Витберга // РС. 1872. № 1. С. 19.
59. Луфтонами называли сыновей масонов. А. Л. Витберг приобрел впоследствии известность благодаря созданному им проекту храма Христа Спасителя, который предполагалось построить на Воробьевых горах в Москве вскоре после Отечественной войны 1812 г. См.: Михайловский С. И. «Семейный портрет Руничей» А. Л. Витберга // Страницы истории отечественного искусства. Вып. 1. XVIII – первая половина XIX века. СПб., 1993. С. 72.
60. Вскоре после этого Витберг начал изучать архитектуру и через полгода показал Руничу эскиз храма. См.: Витберг А. А. Записки академика Витберга // РС. 1872. № 1. С. 22.
61. Этот портрет поступил в Русский музей в 1920 г. из общества поощрения художников и был ошибочно записан в инвентарь как автопортрет Витберга с семьей. См.: Корнилова А. В. Д. Я. Чарушин – питомец А. Л. Витберга // Панорама искусств. Вып. 9. М., 1986. С. 74 – 98.
62. РГАЛИ. Ф. 1150. Оп. 1. Д. 8. 1 л.; Д. 3. 1 л.; РГБ. ОР. Ф. 41. 17 лл.; Ф. 751. К. 3. Д. 11. 1 л.
63. РГБ. ОР. Ф. 41. К. 144. Д. 12. 2 лл.; РГАЛИ. Ф. 1150. Оп. 1. Д. 7. 1 л.
64. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 3 об., Л. 4.
65. Два письма Д. П. Рунича – В. М. Попову. С. 392.
66. Линдль и Госснер в России отреклись от католицизма и приобрели известность благодаря своим мистическим проповедям. См.: Греч Н. И. О пасторе Госснере // РА. 1868. С. 1403 – 1404.
67. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 5. С. 379 – 380.
68. Два письма Д. П. Рунича – В. М. Попову. С. 393.
69. *Пытин А. Н.* Общественное движение при Александре I. СПб., 1871. С. 364 – 365.
70. *Рунич Д. П.* Автобиографические заметки // РС. 1896. № 11. С. 311.
71. Он же. Материалы для его биографии // РС. 1898. № 8. С. 393.
72. Подписка о не состоянии в тайных обществах (на имя г. управляющего Министерством внутренних дел, 28 апреля 1826 г.) // Титов А. Указ соч. С. 6 – 8.

73. Из записок Д. П. Рунича // Русское обозрение (далее РО). 1890. № 9. С. 247.
74. *Рунич Д. П.* Россия от 1633 до 1854 г. С. 9.
75. Он же. Записка Рунича о масонстве // Титов А. Указ соч. С. 10.
76. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 3 об., Л. 4. Главное правление училищ было вновь создано одновременно с учреждением Министерства духовных дел и народного просвещения, которое занималось рассмотрением и составлением новых проектов по созданию и улучшению учебных заведений.
77. РГБ. ОР. Ф. 751. К. 2. Д. 52. Л. 3.
78. Письма Д. Рунича 1821 и 1842 гг. к кн. А. Н. Голицыну и неизвестному лицу в бумагах Бодянского, сообщ. Титовым // Чтения в Обществе Истории и Древностей Российских. 1905. Кн. 1. С. 4. Ученый комитет был создан при Главном правлении училищ и занимался предварительным рассмотрением представлений попечителей университетов, учебных книг и сочинений, посвященных императору.
79. Новый устав должен был исключить возможность «изворотов и уловоку» и подчинить цензуру министерству народного просвещения. Но составленный комитетом в 1820 – 1823 гг. проект цензурного устава не был утвержден в Главном правлении училищ. См.: Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения. 1802 – 1902. СПб., 1902. С. 161.
80. *П. П. фон Геце.* Из записок П. П. фон Геце. Кн. Голицын и его время // РА. 1902. № 9. С. 90.
81. Д. П. Рунич и поэт Байрон. Письмо Д. П. Рунича к издателям «Русского инвалида» // РС. 1896. № 10. С. 135 – 138.
82. *Рунич Д. П.* Записка Рунича о масонстве. С. 13.
83. Он же. Россия от 1633 до 1854 г. С. 2.
84. Из записок Д. П. Рунича // РО. 1890. № 9. С. 209.
85. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 66.
86. Там же. № 2. С. 340 – 341.
87. Там же. С. 346.
88. Там же. № 3. С. 607.
89. *Рунич Д. П.* Записка Рунича о масонстве. С. 13.
90. Там же. С. 14.
91. Там же. С. 9.
92. Там же. С. 8.
93. Из записок Д. П. Рунича // РО. 1890. № 9. С. 220.
94. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 1. С. 52.
95. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 7 об., Л. 8.
96. Письма Д. Рунича 1821 и 1842 гг. С. 6.
97. *Рунич Д. П.* Замечания на устав Санкт-Петербургского Университета // Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности (1819

- 1919). Материалы по истории Санкт-Петербургского университета (1819 – 1835). Пг. 1919. Т. 1. С. 88 (Далее: СПб., университет).
98. Он же. Россия от 1633 до 1854 г. С. 26.
99. Он же. Копия предписания исправляющего должность попечителя Д. Рунича конференции Санкт-Петербургского Университета от 29 августа 1821 г. о доставлении сведений касательно постановки всех сторон его жизни и деятельности // СПб., университет. С. 142 – 145.
100. Письма Д. П. Рунича 1821 и 1842 гг. С. 7.
101. *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М. – Л. 1930. С. 220; РГАЛИ. Ф. 40. оп. 1. д. 5. Л.2.
102. Статья журнала Главного правления училищ от 17 сентября по вопросу о приостановлении лекций профессоров // СПб., университет. С. 148.
103. *Рунич Д. П.* Донесение Д. Рунича министру от 6 октября 1821 г. о мерах, принятых им по университету, с предоставлением тетрадей студентов и выписок из них // Там же. С. 165 – 168.
104. Донесение конференции университета Д. Руничу от 3 октября 1821 г. с представлением затребованных сведений об университете // Там же. С. 154 – 165.
105. *Рунич Д. П.* Донесение Д. Рунича министру от 6 октября 1821 г. о мерах, принятых им по университету, с предоставлением тетрадей студентов и выписок из них // СПб., университет. С. 168.
106. Там же.
107. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 5. С. 387.
108. Краткая записка об Общем Собрании Императорского Санкт-Петербургского Университета 3, 4 и 7-го числа ноября сего 1821 г. // ЧОИДР. 1866. Кн. 3. С. 63 (Далее: Краткая записка).
109. *Голицын А. Н.* Предписание министра Руничу от 29 октября 1821 г. с препровождением вопросных пунктов для предъявления их профессорам Герману, Раупаху, Галичу и адъюнкту Арсеньеву // СПб., университет. С. 169.
110. Там же. С. 173.
111. Мемория с журнала Чрезвычайного Общего Собрания Санкт-Петербургского Университета 3 ноября 1821 г., в котором происходил допрос профессоров Германа и Раупаха // СПб., университет. С. 173.
112. Вопросные пункты и ответы на них профессоров Германа, Раупаха, Галича и Арсеньева // Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. СПб., 1889. Т. 1. С. 350 – 352 (Далее: Вопросные пункты).
113. Там же. С. 333.
114. Вопросные пункты. С. 353.
115. Там же. С. 328 – 331.

116. Краткая записка. С. 61.
117. Исторические бумаги К. И. Арсеньева // Сборник отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. СПб., 1872. Т. 9. С. 132, 141, 147.
118. Записка отставного действительного статского советника, ордена св. Владимира второй степени большого креста и св. Анны кавалера, Рунича // Записки императорской Академии наук. СПб., 1871. Т. XX. Кн. 1. С. 64 (Далее: Записка отставного действительного статского советника).
119. Ведомость предполагаемого прихода и расхода сумм по правлению Императорского Санкт-Петербургского Университета на 1824 г. // СПб., университет. С. 366 – 369; Копия представления правления университета Руничу от 4 февраля 1824 г. с ведомостью прихода и расхода сумм по университету на 1824 г. // Там же. С. 365.
120. Представление Рунича министру духовных дел и народного просвещения от 9 марта 1822 г. о состоянии Санкт-Петербургского Университета и подведомственных ему учебных заведений и о необходимых по отношению к ним мероприятий // Там же. С. 286.
121. Там же. С. 290.
122. Там же. С. 287 – 288.
123. Табель о разборе казеннокоштных студентов Императорского Санкт-Петербургского Университета по способностям и нравственности // Там же. С. 312 – 326.
124. Всеподданнейшая докладная записка министра духовных дел и народного просвещения от 9 июля 1822 г. о разборе студентов Санкт-Петербургского Университета // Там же. С. 326 – 327.
125. *Рождественский С. В.* Первоначальное образование Санкт-Петербургского университета 8 февраля 1819 г. и его ближайшая судьба. Петроград. 1919. С. ХСIII.
126. Там же. С. CI.
127. Представление Рунича министру народного просвещения 31 января 1826 г. с отчетом о состоянии Санкт-Петербургского университета и учебных заведений его округа // СПб., университет. С. 412.
128. Смета расходов по Благородному пансиону, представленная Руничу исправляющим должность ректора университета Зябловским // Там же. С. 362 – 364.
129. Примерное исчисление расходов по Благородному пансиону Императорского Санкт-Петербургского Университета до преобразования и перевода оногo в новое здание // Там же. С. 359 – 361.
130. РГБ. ОР. Ф. 548. К. 1. Д. 8. Л. 1.
131. Представление Рунича министру народного просвещения 31 января 1826 г. с отчетом о состоянии Санкт-Петербургского университета и учебных заведений его округа // СПб., университет. С. 398.

132. Ведомость предполагаемого прихода и расхода сумм по правлению Императорского Санкт-Петербургского Университета на 1824 г. // Там же. С. 366 – 369.

133. Представление Рунича министру духовных дел и народного просвещения от 10 февраля 1824 г. о сокращении расходов по университету // Там же. С. 370 – 372.

134. Записка (Д. Рунича) о профессорах, не несущих никаких должностей при здешнем университете и не уволенных по причине нерешения дела об удаленных профессорах // Там же. С. 372 – 373.

135. Всеподданнейшая докладная записка министра духовных дел и народного просвещения от 5 апреля 1824 г. о сокращении некоторых расходов по университету // Там же. С. 374 – 375.

136. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 53. Л. 7 об., Л. 8.

137. Высочайший рескрипт, данный 4 января 1824 г. на имя министра духовных дел и народного просвещения о временном введении в Санкт-Петербургском Университете по части управления устава Московского университета // СПб., университет. С. 372 – 377.

138. Письмо министра народного просвещения А. С. Шишкова Руничу от 18 июня 1824 г. с замечаниями о постановке преподавания и воспитания в Благородном пансионе // Там же. С. 377 – 378.

139. РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.

140. Представление Рунича министру народного просвещения от 31 января 1826 г. с отчетом о состоянии Санкт-Петербургского Университета и учебных заведений его округа // СПб., университет. С. 381.

141. Мнение товарища министра народного просвещения от 2 октября 1827 г. по прошению некоторых студентов Санкт-Петербургского Университета о возвращении им прав, коих они лишены были в 1822 г. // Там же. С. 336 – 337.

142. Всеподданнейшая докладная записка министра народного просвещения от 24 ноября 1827 г. о возвращении прав студентам, уволенным в 1822 г. из Санкт-Петербургского Университета // Там же. С. 337 – 339.

143. Табель постепенного приращения числа студентов Императорского Санкт-Петербургского Университета в течение 15 лет // Шульгин И. Слова и речи, читанные ректором и профессором императорского Санкт-Петербургского Университета в день открытия его в бывшем здании XII коллегий 25 марта 1838 г. СПб., 1838. С. 31.

144. Представление Рунича министру народного просвещения от 31 января 1826 г. с отчетом о состоянии Санкт-Петербургского Университета и учебных заведений его округа // СПб., университет. С. 415.

145. РГАЛИ. Ф. 1150. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.

146. Там же. Ф. 40. Оп. 1. Д. 5. 2 л.

147. РГБ ОР. Ф. 548. К. 1. Д. 6 – 10.

148. *Минаков А. Ю.* М. Л. Магницкий: к вопросу о биографии и мировоззрении предтечи русских консерваторов XIX века // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее. Воронеж. 2001. Вып. 1. С. 58 – 91.
149. РГБ. ОР. Ф. Полт. К. 45. Д. 26. Л. 4, 6.
150. Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1900-1901 гг. СПб., 1905. С. 194.
151. Мысли Д. П. Рунича при погребении гр. Сперанского // РС. 1893. № 11. С. 321.
152. По сведениям 1901 – 1902 гг. рукопись сохранилась в фонде Императорской Публичной Библиотеки не в полном виде: из 14 тетрадей не хватало тетрадей № 6, 7 и 12. См.: Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1900-1901 гг. С. 193.
153. Там же. С. 194.
154. Там же. С. 196.
155. *Рунич Д. П.* Россия от 1833 до 1854 г. С. 3.
156. Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1900 – 1901 гг. С. 195.
157. *Рунич Д. П.* Россия от 1633 до 1854 г. С. 3.
158. Его же. Сто лет тому назад. (Из записок Д. П. Рунича) // РС. 1896. № 11. С. 283.
159. Его же. Россия от 1633 до 1854 г. С. 14.
160. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 2. С. 345.
161. Там же. № 5. С. 391 – 392.
162. Из записок Д. П. Рунича // РО. 1890. № 9. С. 233.
163. Там же. С. 235.
164. Из записок Д. П. Рунича // РС. 1901. № 2. С. 352 – 353.
165. Там же. С. 350.
166. Там же. № 1. С. 55 – 56.
167. *Родионов Д. Н.* Д. П. Рунич (материалы для его биографии). Воспоминание Д. Н. Родионова // РС. 1898. № 8. С. 389 – 391.
168. РГБ. ОР. Ф. 751. К. 2. Д. 52. Л. 5.

## Глава 5

### Консервативная альтернатива кодификации русского права в первой трети XIX в. (к постановке проблемы)<sup>1</sup>

Уже ко времени Петра I стала очевидна необходимость замены Соборного уложения царя Алексея Михайловича новым универсальным кодексом или сводом законов. В течение всего XVIII столетия предпринимались попытки составить новое уложение. Все они, хоть и не были совершенно бесплодны, в результате оказывались безуспешными. Тем не менее, они не были обойдены вниманием историков [1]. С начала XIX в. процесс кодификации вступил в новую фазу. В конечном счете, составление Полного Собрания и Свода законов Российской империи явилось плодом деятельности цепочки учреждений, последовательно развивавшихся и, так сказать, «наследовавших» друг другу: по крайней мере от Комиссии составления законов, учрежденной в 1804 г., до II Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

В течение обозначенного периода процесс кодификации российского законодательства фактически направлялся одними и теми же людьми, несколько раз уступавшими друг другу лидерство. Речь идет прежде всего о Г. А. Розенкампе и М. М. Сперанском.

Не будет преувеличением сказать, что именно последний, в отличие от первого, пользуется и в историографии, и – особенно – в исторической публицистике своего рода популярностью. На страницах некоторых книг он предстает каким-то добрым гением

---

<sup>1</sup> Работа выполнена при поддержке РФНФ, проект № 03-03-0029а.

прогресса и модернизации отсталой российской политической системы, поскольку «у Сперанского не имелось никаких сомнений в том, что современная ему общественно-политическая система России изжила себя». Более того – он «не ушел совсем от вопроса о революции в русских условиях (sic!), но поразмыслил по-своему над ним, и если отверг столь крайнее средство осуществления преобразования общества, то имел на это существенные причины». Но в результате – «не сумел найти иного выхода... кроме медленного, постепенного совершенствования общественной жизни при содействии государственной власти» [2].

Более же всего, наверное, в восхвалениях Сперанского преуспел Н. Я. Эйдельман. Он не только объявил деятельность реформатора одной из «серьезных попыток произвести коренные, можно сказать, революционные (особенно, если б они были реализованы!) планы «революционных преобразований»», но и прямо утверждал: «Сперанский знал, чего хотел, его планы не были утопичны, это был интереснейший проект «революции сверху», зашедший далеко» [3].

Думается, данный дискурс явился прямым продолжением и развитием высказанного Н. И. Тургеневым взгляда на деятельность реформатора. Критикуя его личные качества («слабый, гибкий и мелочный характер», «невысокие нравственные принципы», малодушие и даже бездушие), Тургенев в своей «России и русских» охарактеризовал его как «талантливого и чрезвычайно способного человека». «Если бы когда-нибудь историю России смогли написать беспристрастно, – писал Тургенев, – имя Сперанского стояло бы в ней на почетном месте. Потомство... будет благодарно ему за его помыслы, устремленные к лучшему будущему родины, за его воззрения, выраженные в проекте переустройства империи». Больше того, по словам Тургенева, «Сперанский был одним из самых передовых людей своего времени не только в России, но и во всей континентальной Европе» [4].

Здесь не следует забывать, что Н. И. Тургенев фактически явился первым публикатором Сперанского. Это, очевидно, сыграло большую роль в последующей трактовке идей и проектов преобразователя. Так, А. Н. Пыпин, очевидно, не только обратился к тургеньевской «La Russie» за опубликованными выдержками и из-

ложениями документов, но и в значительной степени тут же попал в плен трактовки мемуариста. В своем «Общественном движении в России при Александре I» он прямо высказался: «Труд Сперанского стоит, быть может, выше всего, что только было сделано русской мыслью тех времен» [5].

Все эти рассуждения помещены здесь не для того, чтобы, обобщив апологетику, подвергнуть критике «труд Сперанского». А лишь для того, чтобы обратить внимание читателя на следующее обстоятельство. С легкой руки Н. И. Тургенева и плененных им историков и публицистов либерального толка «Введение к уложению государственных законов» (а именно эта работа и некоторые другие тесно связанные с нею проекты скрываются в литературе под псевдонимами «труд Сперанского», «проект Сперанского», «программа Сперанского» и даже иногда вообще – «деятельность Сперанского») представляется в историографии едва ли не как единственная (или уж во всяком случае – главная) сторона деятельности александровского любимца тех лет.

Однако не будем оспаривать здесь и этот отнюдь небесспорный тезис. Заметим лишь, что, в отличие от проектов государственных преобразований, «практический выход» от которых был невелик, деятельность М. М. Сперанского в области кодификации русского права завершилась в конце концов изданием Полного Собрания и Свода законов Российской империи. Не будет преувеличением утверждать, что эти правовые памятники определили, так сказать, разметку российского правового поля вплоть до начала XX века.

При этом – очевидный факт – история александровской и николаевской кодификации мало занимала и занимает внимание историков. Следствием явилось господство в литературе определенных схем, а лучше сказать – штампов в отношении оценки кодификационной деятельности Сперанского в довоенный период. В основе их лежит следующий тезис: «проект Гражданского уложения Российской империи Сперанского являлся вариациями на тему Кодекса Наполеона 1804 года».

Этот тезис стал просто-таки общим местом. Так, два авторитетнейших учебника по истории государства и права России безапелляционно заявляют: подготовленные Сперанским «проекты граж-

данского, уголовного и торгового уложений... не были приняты, так как реакционное дворянство усмотрело в них влияние законодательства французской революции, в первую очередь Гражданского кодекса 1804 г.» [6]. Или даже утверждается, что опубликованные и внесенные в Государственный совет в 1810 г. две первые части проекта Гражданского уложения не получили поддержки потому, что они были «рецепцией французского законодательства» [7].

Мнение о том, что Сперанский безусловно находился под властью французских образцов иногда доводит даже до курьезов. Так, в недавно вышедшем издании трудов реформатора абзац из «Записки об устройстве судебных и правительственных учреждений в России» 1803 г.: «Есть много разделений законов; лучшее из них есть то, которое различает их на три рода: 1) закон государственный (конституционный); 2) закон гражданский; 3) закон уголовный. Два последних закона называются иначе уложение (code civil et penal),» – получил следующий комментарий: «Речь идет о двух кодексах: Кодексе гражданском, или кодексе Наполеона, принятом в 1804 г., а также Кодексе уголовном 1810 г.» [8]. Получается, что Сперанский находился настолько под влиянием французских образцов, что даже пронзал своею мыслью время...

Постулат о вторичности законотворчества М. М. Сперанского, заимствовании им законов «ненавистного корсиканца и хищника престола» Наполеона Бонапарта был сформулирован еще в описываемый период противниками и недоброжелателями реформатора. Здесь на первое место по праву можно поставить Н. М. Карамзина. В своей «Записке о древней и новой России» он буквально обрушивается на Сперанского со всею силою своего красноречия. «...Издаются две книжки под именем проекта <Гражданского> уложения, – пишет Карамзин. – Что же находим? Перевод Наполеонова Кодекса. Какое изумление для Россиян! Какая пища для злословия! Благодаря Всевышнего, мы еще не подпали железному скипетру сего завоевателя; у нас еще не Вестфалия, не Италианское Королевство, не Варшавское Герцогство, где Кодекс Наполеонов, со слезами переведенный, служит уставом гражданским» [9].

Современники-недоброжелатели вообще склонны были априори обвинять Сперанского во вторичности, в слепом копировании

французских образцов. Так, Ф. Ф. Вигель, со столь свойственной этому мемуаристу саркастической желчностью, писал в своих «Записках»: «Он (Сперанский – Ф. С.) был еще молод, спешил блеснуть и второпях не нашел ничего лучшего, как списать точь-в-точь учреждение министерств, коим французская директория надеялась поболее людей привязать к своему существованию, со всем превеличенным его содержанием, со всем излишеством должностей. В нем признали творца, точно так же, как предки наши, не знавшие Корнеля и Расина, дивились изобретательности Сумарокова и Княжнина. Потомство будет уметь оценить создания Сперанского» [10].

Тезис о вторичности проекта Гражданского уложения, вышедшего из-под пера Сперанского, был также излюбленным коньком его предшественника и преемника на посту фактического главы Комиссии составления законов Г. А. Розенкампа. Вновь встав у руля кодификации после отставки и ссылки реформатора, Розенкамп в своих «отношениях» министру юстиции князю П. В. Лопухину несколько раз возвращался к проекту Гражданского уложения Сперанского. Но об этом ниже. А здесь лишь процитируем фрагмент из воспоминаний Розенкампа, приводимых М. А. Корфом: «Уже прежде приверженный от души Французской системе централизации и усердный почитатель Наполеоновского кодекса, он, с тех пор как побыл вблизи источника (речь идет об Эрфуртском свидании – Ф. С.), считал, что подобное чудо можно и должно сотворить у нас. Дело же было не слишком мудреное: Французский кодекс состоит всего навсего (так в тексте – Ф. С.) из 1800 параграфов, и передать их в прекрасных русских фразах можно, без большого труда, в какой-нибудь год» [11].

То есть и на склоне лет Розенкамп продолжал повторять те же обвинения, которые выдвигал против бывшего патрона и соперника в начале 1810-х гг.

При этом М. А. Корф – первый и до сих пор, пожалуй, наиболее авторитетный биограф М. М. Сперанского – тоже встал на эту точку зрения: «Он (Сперанский – Ф. С.) поступил в комиссию законов без всякого юридического приготовления, – пишет Корф, – чуждый немецкой литературы, по незнанию самого языка, незнакомый почти ни с чем, кроме Французского кодекса и энциклопедического сочи-

нения... Флорижона..., напитанный Наполеоновскими идеями, он не давал никакой цены отечественному законодательству, называл его варварским и находил совершенно бесполезным и лишним обращаться к его пособию» [12]. Здесь Корф, бывший сотрудником Сперанского лишь в последний период кодификационных работ, явно оперирует не своими, а чужими воспоминаниями. В результате – попросту передает расхожее мнение о Сперанском «общества» начала XIX в. Но в то время такие заявления делались голословно, также как и в наши дни (о чем говорилось выше).

Пожалуй, единственным противником Сперанского, кто не просто обвинял его в переписывании Кодекса Наполеона, но и приводил примеры рецепции, был Н. М. Карамзин. В своей «Записке о древней и новой России» он примерно девять раз обращается к проблемам заимствования в российском проекте Гражданского уложения, как правило, сопровождая свои нападки французскими цитатами. Некоторые из претензий историографа носят явно стилистический характер. Так, он обрушился на авторов проекта за то, что они перевели французское слово *lit* как «ложе», родив словесного кадавра «ложе реки» [13]. Однако не стоит забывать, что подобные несуразности очевидны для нас лишь сегодня. Для двух-, а то и трехязычной политической элиты Российской империи подбор русского эквивалента того или иного иностранного слова, вероятно, представлял трудности. И Карамзин в вопросах перевода был тогда одним из самых больших авторитетов. Так, он консультировал П. А. Вяземского в период написания проекта Государственной уставной грамоты Российской империи [14].

Обратимся к анализу аргументации Карамзина [15]. Свою первую претензию к составителям проекта (читай – к Сперанскому) Карамзин сформулировал следующим образом: «Кстати ли начинать, например, русское уложение главою о правах гражданских, коих в истинном смысле не бывало и нет в России? У нас только политические или особенные права разных государственных состояний». Поясняя свою мысль, историограф отмечал, что «право собственности, наследства, завещания – вот гражданские права во Франции; но в России господский и самый казенный земледелец имеет ли оные, хотя называется русским?».

Думается, данный аргумент далеко не бесспорен, а на поставленный Карамзиным вопрос и сегодня будут даны различные ответы. Особенно в свете последних исследований по социальной истории. Тем более, что в приведенной цитате наверняка имела место игра слов, связанная с переводом. Полной уверенности нет, но так ли уж четко можно было различить в языке начала позапрошлого столетия семантику словосочетаний «права политические» и «права гражданские»? Впрочем, вернемся к этому чуть ниже.

Затем, обращаясь уже к недостаткам перевода, Карамзин указывал на очевидное упрощение в проекте Сперанского, по сравнению с Кодексом Наполеона, трактовки дееспособности лица, лишённого гражданских прав. По французскому Гражданскому кодексу 1804 г. такой человек может выступать в суде лишь «под именем и через посредство специального попечителя» (ст. 25), по русскому проекту 1810 г. он вообще «не может быть в суде ни истцом, ни ответчиком» (п. 6, § 9, гл. 1, ч. 1) [16]. «Следственно прибьет Вас, ограбит и за то не ответствует?...» – справедливо негодовал историограф.

Сила данного аргумента также не очень велика. Понятно – речь идет о небрежности, упущении авторов проекта, неточной формулировке. Но считать ли поэтому этих авторов вслед за Карамзиным лишь переводчиками французского закона? Кроме того, подобные «ляпы» и должны исправляться как раз в ходе обсуждения законопроекта.

Вслед за тем, Карамзин советует опустить ряд мест, так же, как, по его словам, опустили уже многое по сравнению с наполеоновским оригиналом. Он приводит лишь два примера. Это, во-первых, рассуждение о статуях и зеркалах как части недвижимого имущества. Заметим, что аналог приводимой в «Записке о древней и новой России» французской цитате находится в русском проекте Гражданского уложения. Но он не является переводом. § 5, гл. 1, ч. 2 формулирует весьма общим образом, что частью недвижимости является все, что не может быть отделено от таковой недвижимости без ущерба для целостности как отделяемого, так и объекта недвижимой собственности.

«Могли бы также не говорить об Alluvion, – замечает Карамзин. – От начала России еще не бывало у нас тяжбы о сих предметах». Точно установить норму Кодекса Наполеона, которую якобы

заимствовал Сперанский (как и соответствующее место в его проекте), пока не удалось. Видимо, речь идет о каких-то проблемах, связанных с межеванием земель, в том случае, если река наносит землю на берег одного владельца и подтачивает другой берег.

Что ж – отсутствие тяжб по этому вопросу «от начала России» еще не основание для того, чтобы не включать подобную норму в проект. Также как и не основание априорно считать такую норму рецепцией французского права. То же можно сказать и о «семейственном совете», который предполагалось по проекту Сперанского ввести при опеке. Карамзин также считал эту норму переводом французского оригинала.

Пожалуй, самым существенным упреком, брошенным Карамзиным в адрес составителей проекта Гражданского уложения 1810 г., было следующее: «Забыта главная вина развода – неспособность к телесному совокуплению». Пробел действительно существенный, однако прямо с рецепцией французского права никак не связанный.

Даже если читатель не разделяет авторского скепсиса по поводу обвинений, брошенных Карамзиным в адрес Сперанского и подготовленного им проекта, придется все-таки согласиться, что их далеко не достаточно для того, чтобы безоговорочно признать Проект Гражданского уложения 1810 г. переводом «Наполеонова Кодекса».

И здесь обращает на себя внимание вот что. В «Записке о древней и новой России» критика проекта Гражданского уложения Российской империи, подготовленного М. М. Сперанским, помещена уже после критики «посттильзитской» франкофильской внешней политики (а с ней имя Сперанского было в «общественном мнении» прочно связано), государственных преобразований (учреждения министерств, Государственного совета и проч.) и финансовой политики (последняя представлялась противниками Сперанского чуть ли не главной его виной). Складывается впечатление, что критика Гражданского уложения – всего лишь своего рода «довесок» обвинения. Как будто бы Карамзин, уже показав всю вредность «дрянного поповича», просто хочет не оставить в его защиту ни одного аргумента.

Интересно, что саму кодификационную тактику Сперанского Карамзин вполне одобрил. Как известно, придя к руководству Комиссией составления законов, Сперанский утвердил в ней систему жесткого подчинения, упразднив прежние совещательные структуры. А вот что пишет Н. М. Карамзин о проблеме кодификации русских законов вообще: «Сей труд велик, но он такого свойства, что его нельзя поручить многим. Один человек должен быть главным, истинным творцом уложения Российского; другие могут служить ему только советниками, помощниками, работниками... Здесь единство мысли необходимо для совершенства частей и целого; единство воли необходимо для успеха. Или мы найдем такого человека, или долго будем ждать кодекса!» [17].

При чтении этого резюме никак нельзя отделаться от ощущения, что Карамзин имеет в виду себя. Не хочется думать, что им двигали лишь меркантильные мотивы («реферндарий» Комиссии законов получал 3000 рублей в год жалования, против двух тысяч пенсионера историографу, глава же Комиссии мог рапортовать еще и шестью тысячами рублей в год «на предварительные издержки» [18]). Но нужно отметить, что предлагавшаяся Карамзиным схема кодификации весьма походила на его работу над «Историей Государства Российского»: сначала собирать старые законы, затем сводить их, а уже после – исправлять.

Тем более, что Карамзин не упрекает Сперанского и его проект как раз в самом главном. В своей «Записке» он требует от нового уложения «единства частей и целого». А эта черта свойственна проекту Сперанского в полной мере: проект Гражданского уложения 1810 г. внутренне непротиворечив, его характеризует, на наш взгляд, неплохая для начала XIX в. юридическая техника. Он, конечно, небезупречен – и некоторые существенные огрехи, как мы видели, отметил все тот же Карамзин – но этого мало для того, чтобы объявить проект несостоятельным в целом, а его автора – некомпетентным в данной области.

Поэтому главное сущностное обвинение у Карамзина сформулировано следующим образом: «Для старого народа не надобно новых законов, – провозглашает он в своей «Записке». – Согласно с здравым смыслом, требуем от Комиссии систематического пред-

ложения наших. Русская Правда и Судебник, отжив век свой, существуют единственно как предмет любопытства. Хотя уложение царя Алексея Михайловича имеет еще силу закона, но сколько и в нем обветшалого, уже для нас бессмысленного, непригодного? Остаются указы и постановления, изданные от времен царя Алексея до наших: вот содержание Кодекса. Должно распорядить материалы, отнести уголовное к уголовному, гражданское к гражданскому, и сии две главные части разделить на статьи. Когда же всякий указ будет подведен под свою статью, тогда начнется второе действие: соединение однородных частей в одно целое, или соглашение указов, для коего востребуется иное объяснить, иное отменить или прибавить... Третье действие есть общая критика законов: суть ли они лучшие для нас по нынешнему гражданскому состоянию России? Здесь увидим необходимость исправить некоторые, в особенности уголовные, жестокие, варварские... Таким образом, собранные, приведенные в порядок, дополненные, исправленные законы предложите в форме книги, систематически с объяснением причин...» [19].

Но почему же такие сложные действия, требующие сил, времени, колоссальной квалификации не только юриста, но и архивиста – лучше, чем просто составление новых законов? Этим вопросом вполне вправе задаться читатель карамзинской «Записки». Зачем сначала собирать законы, «соглашать» их между собой, а потом смотреть «суть ли они лучшие для нас по нынешнему гражданскому состоянию России»? Но Карамзин уже предложил ответ: потому что новые законы есть калька «со слезами переведенного» во многих странах кодекса «ненавистного корсиканца»!

Однако это утверждение далеко не бесспорно. Конечно, детальный компаративный анализ Кодекса Наполеона и Проекта Гражданского уложения Российской империи – тема отдельной историко-юридической работы. Но на некоторые моменты можно обратить внимание читателя и в настоящей статье. Так, действительно, каждый из кодексов начинается разделами о гражданских правах. Однако если ст. 7 Кодекса Наполеона гласит: «Осуществление гражданских прав не зависит от качества гражданина; это качество приобретается и сохраняется лишь согласно конституционному

закону», то в русском проекте 1810 г. обнаруживаем: «Закон Государственный определяет, в какой степени права гражданские принадлежат каждому по его состоянию» (§ 2, ч. 1). Получается, что Карамзин ломился в открытую дверь – вот они, «политические или особенные права разных государственных состояний». Вся сила аргумента, таким образом, состояла лишь в том, что «последний летописец» предпочитал называть эти права политическими, а не гражданскими... С собственно же юридической точки зрения это означает, что два сравниваемых нами памятника *в принципе* разные: один предназначен для государства, где все равны перед законом, другой – обслуживает сословное общество.

Но этим дело не ограничивается. Так, ст. 11 Кодекса Наполеона просто провозглашает: «Иностранец пользуется во Франции такими же гражданскими правами, как и те гражданские права, которые предоставлены или будут предоставлены французам по договорам с государством, к которому принадлежит иностранец». В подготовленном же Комиссией законов под руководством Сперанского проекте существует целая глава (гл. 2, ч. 1) «О гражданских правах иностранцев, в России пребывающих», насчитывающая тридцать девять параграфов и разделяющая всех иностранцев на три группы: «путешествующих или пребывших на время», «временно водворившихся» и «укоренившихся». Излишне говорить о том, что гражданские права их неодинаковы. Выделение же третьей группы вообще трудно объяснимо, нелогично, поскольку под «укоренившимися» иностранцами подразумеваются вступившие в русское подданство и, таким образом, в гражданско-правовом отношении, ничем не отличающиеся от «природных» русских подданных.

Весьма пространно говорится в проекте Сперанского и о родительской власти. Вкратце, положения законопроекта сводились к тому, что полностью власть родителей над детьми прекращается лишь со смертью первых. Само собою, французский Гражданский кодекс говорит о подобной патриархальной власти лишь до совершеннолетия детей.

Подобные нормы органично вытекали из русской патриархальной традиции. В начале XIX в. известны случаи, когда, например,

мать могла засадить своего взрослого сына, достигшего обер-офицерского чина, на год в крепость по обвинению в «неповиновении ей и нанесении личных обид» [20].

Наконец, различна и структура кодексов – группировка норм по частям.

Конечно, можно в русском проекте обнаружить прямые заимствования. Причем даже такие, о которых умолчал Карамзин. Так, § 52, гл. 3, ч. 1 Проекта Гражданского уложения «О жительстве» гласит: «Жительство каждого полагается там, где главное его водворение или оседлость». Здесь нетрудно усмотреть прямую аналогию со ст. 102 Кодекса Наполеона: «Местом жительства каждого француза, в отношении осуществления его гражданских прав, является то место, где он имеет свое основное обзаведение». Как видим, Сперанский, в отличие от переводчика первой половины XIX века, затруднился перевести французское слово *etablissement* однозначно.

Однако подобных примеров едва ли достаточно, чтобы М. М. Сперанского превратить из автора самостоятельного проекта в переводчика французского закона. Кстати сказать, в своем знаменитом «Пермском письме» Сперанский на упрек в заимствовании наполеоновского законодательства отвечает, пожалуй, наиболее прямо и аргументированно. «Другие искали доказать, – писал он императору Александру I, – что уложение, мною внесенное, есть перевод с французского или близкое подражание: ложь или незнание, кои изобличить также нетрудно, ибо то и другое напечатано» [21].

Практически одновременно с формулировкой процитированного оправдания создавались другие документы, предназначавшиеся, правда, не для императора, а для министра юстиции князя П. В. Лопухина и продолжавшие обвинения Сперанского в том же духе. К настоящему моменту в архивном фонде Комиссии составления законов выявлено три подобного рода бумаги, относящиеся к маю-июню 1812 г., то есть к периоду непосредственно после отставки и ссылки Сперанского. Во всех трех случаях авторство принадлежит Г. А. Розенкампу, вновь фактически возглавившему Комиссию.

Наиболее любопытна одна из них. Она представляет собой черновик отношения П. В. Лопухину «О действиях Комиссии законов на будущее время». Писарская копия выправлена рукой Г. А. Розенкампа. Данный документ содержит весьма пространное рассуждение о законах вообще, которое уместно здесь привести, несмотря на большой объем цитаты.

«Всякие законы тогда наиболее могут приличествовать государству, когда они освящены уже временем. Следовательно должно оставить старые начала неприкосновенными, естли только не будут оне очевидно противны цели Государства и Правительства.

Всякая новизна оскорбляет то, что для людей всего любезнее: привычку, и делает их неуверенными в своем состоянии и в своих правах.

Средства к достижению сей цели у различных народов различны, хотя все они относятся к одному предмету (т. е. к семейственным связям, к наследиям, к договорам и к прочим следствиям приобретения и сохранения собственности).

Некоторые юрисконсульты в теориях своих утверждают, что есть общая форма (type), по которой можно одинаково начертать сии предметы для всех стран, по тому, что разум, правосудие и справедливость суть по их словам везде одно и то же, и что они должны быть признаваемы всеми образованными народами. Сие предположение не только ложно, но и ведет еще к опасным заключениям.

Если неоспоримо, что разум и правосудие суть везде одно и то же: то не менее справедливо и то, что смотря по различию предметов, к коим они прилагаются, они должны производить и различные действия.

Если бы одна земля не имела еще законов, то при составлении оных легко бы могло статься, что все они последовали бы одному началу и со временем к нему привыкли, ибо всякий закон и хорош там, где он существует и исполняется, но как они составлены во времена весьма отдаленные одно от другого, то гораздо справедливее и полезнее для Правительства и управляемых не переменять внезапно того, что существует.

Когда удостоверил опыт, что законы стремятся к сохранению спокойствия подданных, к соблюдению должного повиновения Правительству, к содержанию в уважении религии и к способствованию просвещения, то нет нужды переменять оные. Злоупотребления существуют повсюду, а известные легче отвращать (если только кто захочет) нежели те кои могут возникнуть от новых законов...

Мы ошибемся если вообразим, что с переменою на бумаге текста гражданских законов, столь же легко и скоро переменится и существующее право, и что от введения постановления другого Государства произойдут из оных те же самые следствия, как и там где к оным привыкли.

Не одни люди, но и время постановляет и определяет начала Законодательства; редакторам надлежит только уметь их *найти* и установить образ их приложения, смотря по обстоятельствам.

Искусные люди могут конечно в течении нескольких лет составить уложения довольно хорошо написанные, но если они заменят начала действительно принятые началами чужеземными, то сии уложения будут не что иное как только *книги*, содержащие в себе систематические рассуждения о *праве несуществующем*» (все выделения курсивом – Ф. С.) [22].

Трудно сказать, был ли Густав Розенкампф знаком с «Запиской о древней и новой России». Но тезис Н. М. Карамзина о том, что «для старого народа не надобно новых законов», он сумел преподавать весьма развернуто.

Имеющийся в нашем распоряжении документ очень интересен. Как уже отмечалось выше, текст его написан писарской рукой, а поверху выправлен Розенкампфом. Многие поправки, так сказать, смягчающие. Например, первоначально вопрос о будущем проекта Гражданского уложения был поставлен перед министром юстиции так: «Проект Гражданского уложения должен ли оставаться и приведен быть к окончанию так как он был доселе (выделено в оригинале – Ф. С.) <изложен под руководством бывшего директора Комиссии законов тайного советника Сперанского> или предписано будет подвергнуть его новому рассмотрению относительно к началам». Фрагмент, заключенный в треугольные скобки, был при правке заменен на «рассмотрен Государственным советом» [23].

Во многих других местах нападки персонально на Сперанского были также убраны. Часто бывший директор Комиссии именовался иносказательно. Например, в отношении к министру юстиции от 4 мая 1812 г. Розенкампф, критикуя то состояние, в которое пришло Училище правоуказания при Сперанском, высказался так: «Та же самая система, которая уничтожила Коллегии и которая унизила кредит Банковых Ассигнаций, взирала также на сие Заведение (то есть Училище правоуказания – Ф. С.) как на бесполезное» [24].

Нужно сказать, что все отношение 4 мая 1812 г. было посвящено критике системы, установленной в Комиссии законов М. М. Сперанским. Суть произведенных перемен заключалась, как известно, в том, что реформатор ликвидировал Совет комиссии, состоявший из трех референдариев (а Г. А. Розенкампф, видимо, играл там лидирующую роль), и осуществлял руководство единолично, заняв вновь учрежденный пост директора Комиссии. Подвергнув эту систему руководства резкой критике, Розенкампф оговаривался: «Естьли я и придерживаюсь старого Положения, то не из какого личного побуждения, но потому, что я почитаю его в сущности полезным и предпочтительным тому Положению, на которое его променяли» [25].

Здесь, конечно, бывший фактический глава Комиссии выдавал себя с головой. За каждой строкой отношения просматриваются его жгучая ненависть к Сперанскому и желание вновь руководить кодификационными работами. Тем более, что несколькими страницами ранее Розенкампф прямо говорил, что «достигнуть совершенства может только то, что самим собою написано, иначе никогда не будет единства в предмете» [26]. Таким образом, критикуя единоначалие Сперанского, Розенкампф исподволь подводил читателя к мысли о спасительности его собственного единоначалия.

При этом нужно сказать, что, например, того же Карамзина не очень удовлетворяла работа Комиссии в «досперанский» период, который идеализировал Розенкампф в своих «отношениях». В «Записке о древней и новой России» об этом говорится: «Мы ждали года два. Начальник переменился (Очевидно, Карамзин имеет в виду упразднение Комиссии Завадовского и учреждение Комиссии законов 1804 г. Ее начальником считался министр юстиции

П. В. Лопухин, но непосредственно курировал работу в тот период его товарищ Н. Н. Новосильцев), выходит целый том работы предварительной, – смотрим и протираем себе глаза, ослепленные школьной пылью. Множество ученых слов и фраз, почерпнутых в книгах, ни одной мысли, почерпнутой в созерцании особенного Гражданского характера России... Добрые соотечественники наши не могли ничего понять, кроме того, что голова авторов в Луне, а не в Земле Русской – и желали, чтобы сии умозрители или спустились к нам или не писали для нас законов» [27]. Сложно сказать, против кого конкретно из руководителей Комиссии был направлен этот ироничный пассаж Карамзина: против самого ли Розенкампа, который в первый период своей работы в Комиссии, видимо, еще даже плохо владел русским языком, или же против Новосильцева. Во всяком случае, если предположение о том, что Карамзин сам бы хотел возглавить кодификационные работы, все-таки пока кажется несколько сомнительным, то в амбициях Розенкампа сомневаться не приходится. Здесь очевидно действовала нормальная логика отношений в бюрократической системе.

Интересно, что критикуя Сперанского, своего только что низвергнутого начальника, Розенкамп берет на вооружение тезис Карамзина о том, что вместо составления новых законов нужно «систематическое преложение старых». Один весьма красноречивый пример такого рода рассуждений Розенкампа уже был приведен выше. Позволим здесь себе и еще одну пространную цитату из отношения от 13 мая 1812 г. Текст, заключенный в треугольные скобки, вычеркнут при правке.

«Обязанность Комиссии законов по мнению Совета комиссии <несколько слов неразборчиво> разобрать начала существующие, изложить происхождение и дух древних законов, показать, каким образом делались постепенно перемены (по особенным ли побуждениям Правительства или по злоупотреблениям и недостатку надзора) и представить несовершенства, которые отразил опыт. <Таков должен быть образ действий Комиссии>

<И с сей-то точки зрения рассматриваемо было в 1804 году издание уложения, и в сем смысле начали соединять и располагать материалы. Но с 1808 по 1809 год сей путь оставлен. Вместо

утвержденного плана стали следовать плану уложения чужеземного (как то можно усмотреть из прилагаемых при сем бумаг под литерами А, В, С. [В деле эти бумаги отсутствуют. О чем идет речь – установить не удалось. Это пока единственная выявленная попытка Розенкампа не огульно обвинить Сперанского в рецепции французского права, а доказать это примерами]); заимствовано из одного множества начал и принято за правило *исправить* (здесь и далее выделено в оригинале – Ф. С.) или переменить древнее законодательство, заменив оное положениями, извлеченными из *Французского Права*, смотря по тому как то или иное казалось приличным (на пр. [имер], в свойствах имуществ, в правах наследования).

Кажется что если бы действительно было нужно заимствовать что-нибудь из чужих законов, то легче можно было бы найти источники гораздо ближайšie к древним началам, нежели Наполеоново уложение.

Нельзя также думать, чтобы древнее законодательство наше не могло доставить предметов для полного уложения» [28].

Однако, провозгласив подобные принципы, как показала практика, Густав Розенкампф совсем не стремился им следовать. Вопрос о том, сколько и каких указов и законов было найдено в архивах и собрано в Комиссии (а об этом Розенкампф писал постоянно), еще требует особого исследования. Но фактом является то, что после своего возвращения к фактическому руководству Комиссией законов Г. А. Розенкампф на практике продолжал линию Сперанского. 9 июня 1812 г. им было направлено министру юстиции «Представление о ходе работ по составлению Уголовного уложения» [29]. В этом довольно пространным, на шести листах, документе подробно излагается история составления проекта с 1807 г. И нигде не говорится о том, что проект Уголовного уложения компилировался бы из старых русских законов.

Действительно, в 1813 г. Проект Уголовного уложения был издан [30]. Анализ структуры и текста этого памятника позволяет утверждать, что он не был сводом предшествующих русских законов, но являлся новым Кодексом, соответствующим, впрочем, русской уголовно-правовой традиции. Критика же проекта в

Государственном совете как раз и строилась на том, что в нем не учтены некоторые указы, изданные в XVIII в. В частности, адмирал Мордвинов критиковал упоминание в этом проекте о смертной казни, ссылаясь на ее отмену Елизаветой Петровной [31].

В 1814 г. была издана третья часть проекта Гражданского уложения «О договорах», являвшаяся логическим продолжением первых двух, которые были переизданы вместе с ней и, насколько позволяет судить первый поверхностный анализ, без всяких изменений [32].

В чем же заключался подход к кодификации, который условно можно назвать «подходом Сперанского»? А. Н. Пыпин, оценивая деятельность Сперанского в кодификационной сфере и законотворчестве вообще, писал: «Сперанский... хотел строить заново, мало соображался с преданиями и существующим порядком вещей», – хотя и отмечал при этом, что «Сперанский вообще очень мало опирался на «исторических основаниях», или совсем не опирался на них» [33]. Как уже было показано на примере норм о родительской власти или прав иностранцев, последний упрек не соответствует действительности. Однако в главном Пыпин, не упрекавший здесь, впрочем, Сперанского в рецепции французского права, точен. Сперанский представлял подход к кодификации, который можно условно назвать прогрессивным. Он действительно хотел «строить заново», причем в кодификации, в отличие от его проектов государственных преобразований, в значительной степени опираясь на традицию. Конечно и без заимствований наверняка не обходилось. Сам Сперанский в «Пермском письме» говорил: «В источнике своем, т. е. в римском праве, все уложения всегда будут сходны, но со здравым смыслом, со знанием сих источников и коренного их языка можно почерпать прямо из них, не подражая никому и не учась ни в немецких, ни во французских университетах» [34]. Думается, это замечание следует признать справедливым.

Карамзин и Розенкампф явились выразителями подхода, который можно назвать консервативным – «для старого народа не надобно новых законов». Схема такой кодификации была обрисована ими достаточно четко. Первый шаг – собрание старых законов, второй – сведение их по отраслям права, третий – исправление и до-

полнение. Однако мотивы, по которым ими выдвигалось подобное требование, лежали, как видится, далеко от поля собственно юридического. Первый был рупором недовольства «общества» «дрянным поповичем». Второй – хотел обозначить свои принципиальные разногласия со своим опальным бывшим патроном. Видимо, подобную риторику взяли на вооружение и различные другие сановники, как, например, адмирал Мордвинов.

Но в результате – именно эта точка зрения победила. В 1832 г. был завершен процесс кодификации русского права, занявший по крайней мере треть века. Если же учитывать историю кодификационных комиссий XVIII столетия, он продолжался около ста пятидесяти лет. Модель, по которой кодификация была завершена, можно назвать консервативной: были собраны и сведены изданные в разное время законы. При этом третий, предлагавшийся Карамзиным, этап кодификации – «общая критика законов» – так и не был произведен. Выпущенная из бутылки в начале XIX в. консервативная идея развивалась, следуя собственной логике.

Исследования в этой области очень важны. Они, во-первых, дадут возможность по-новому взглянуть на ряд так называемых историографических «общих мест», которые в действительности являются историческими мифами. Во-вторых, данный сюжет позволяет поставить вопрос о том, в какой степени различные идеологические конструкты использовались в бюрократической и придворной борьбе, а в какой наоборот – определяли ее ход.

1. *Латкин В. Н.* Законодательные комиссии в России в XVI–II ст. Историко-юридическое исследование. Т. 1. СПб., 1887; *Омельченко О. А.* Кодификация права в России в период абсолютной монархии (Вторая половина XVIII в.). М., 1989.

2. *Тамсинов В. А.* Светило российской бюрократии. М., 1991. С. 135 – 138.

3. *Эйдельман Н. Я.* Революция сверху в России. М., 1989. С. 85 – 86.

4. *Тургенев Н.* Россия и русские. М., 2001. С. 537 – 539.

5. *Пытин А. Н.* Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1908. С. 179.

6. История государства и права России: Учебник. Под ред. Ю. П. Титова. М., 1999. С. 183.

7. *Исаев И. А.* История государства и права России: Полный курс лекций. М., 1994. С. 177.

8. *Сперанский М. М.* Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 287, 637.
9. *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 90.
10. *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 2000. С. 104 – 105.
11. Цит. по: Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. В 2 т. Т. 1. СПб., 1861. С. 150.
12. *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. В 2 т. Т. 1. СПб., 1861. С. 155.
13. *Карамзин Н. М.* Указ. соч. С. 93.
14. *Мироненко С. В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 165.
15. *Карамзин Н. М.* Указ. соч. С. 91 – 93.
16. Здесь и далее все цитаты из Кодекса Наполеона и Проекта Гражданского уложения приводятся по изданиям: Французский гражданский кодекс 1804 года. С позднейшими изменениями до 1939 г. / Пер. с франц. И. С. Перетерского. М., 1941; Проект Гражданского уложения Российской империи. Ч. 1. О праве личном. СПб., 1810. Ч. 2. Об имуществах. СПб., 1810.
17. *Карамзин Н. М.* Указ. соч. С. 95.
18. Новый энциклопедический словарь. Издание бывш. Брокгауза-Ефрона. Т. 20. Ст. 902; Труды Комиссии составления законов. 2-е издание. Ч. 1. СПб., 1822. С. 44.
19. *Карамзин Н. М.* Указ. соч. С. 93 – 94.
20. См.: Куприянов А. И. Конфликты поколений и власть: частная жизнь в XIX в. (на примере казуса Депрерадовича) // АСТЮ NOVA 2000. М., 2000. С. 245 – 253.
21. *Сперанский М. М.* Указ. соч. С. 576.
22. РГИА, ф. 1260, оп. 1, д. 82, лл. 2 – 5 об.
23. Там же, л. 1.
24. РГИА, ф. 1260, оп. 1, д. 81, лл. 11 – 11 об.
25. Там же, лл. 10 – 10 об.
26. Там же, л. 4.
27. *Карамзин Н. М.* Указ. соч. С. 90.
28. РГИА, ф. 1260, оп. 1, д. 82, лл. 6 об – 7.
29. РГИА, ф. 1260, оп. 1, д. 83.
30. Проект Уголовного уложения Российской империи. Ч. 1 – 3. СПб., 1813.
31. Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. 1859, кн. IV.
32. Проект Гражданского уложения Российской империи. Ч. 1 – 3. СПб., 1814.
33. *Пытин А. Н.* Указ. соч. С. 177.
34. *Сперанский М. М.* Указ. соч. С. 576.

## Глава 6

«...Считал себя обязанным  
в сем участвовать»: почему  
М. Н. Муравьев не отрекся  
от Союза благоденствия?\*

В биографиях целого ряда российских консерваторов неизменно отмечается метаморфоза, которую эти деятели претерпевали где-то в середине жизненного пути, а то и раньше, превращаясь из увлеченных либералов или даже революционеров в проповедников прочной и сильной государственности и других этактистских ценностей. Примеры М. Н. Каткова, К. П. Победоносцева, Л. А. Тихомирова, С. В. Зубатова стали почти хрестоматийными. Можно предположить, что такую схему осмысления их жизненного опыта отчасти диктуют законы жанра: биографическое повествование почти всегда требует показа того, как герой преодолевал соблазны молодости, вырос, прозрел, мудрел и достигал «подлинной» цели своих прежних исканий. Предлагая читательскому вниманию данную работу, я рискую навлечь на себя упрек в некритическом усвоении канонов другого жанра – моралистической притчи о неуклонном следовании героя раз и навсегда принятым правилам и принципам. Тем не менее, я попытаюсь, не пользуясь метафорой метаморфозы как объяснительным ключом, реконструировать мотивы и цели молодых деяний человека, чей жизненный путь имеет шанс показаться сходным с тихомировским или зубатовским. Речь идет о Михаиле Николаевиче Муравьеве – в молодости активном участнике Союза спасения и Союза благо-

---

\* Автор выражает благодарность Джону Рэндольфу (John Randolph) за ряд ценных замечаний.

денствия, побывавшем в 1826 г. под следствием, а в зрелые и преклонные годы – усмирители двух польских восстаний, последовательном оппоненте творцов крестьянской реформы 1861 г., рьяном расследователе обстоятельств покушения Д. В. Каракозова. [1]

Участие М. Н. Муравьева в тайных обществах 1817 – 1821 гг. – это недостаточно проясненная страница не только в его биографии, но, пожалуй, и в истории декабризма. О том, сколь непростой для осмысления фигурой является Муравьев-заговорщик, свидетельствует сопоставление мнений, высказанных на этот счет П. Е. Щеголевым и Н. Я. Эйдельманом. Публикуя в 1913 г. материалы следственного дела Муравьева, Щеголев охарактеризовал его как случайного попутчика истинных декабристов, вступление которого в Союз спасения вслед за своим братом и знакомыми вызывалось лишь честолюбивыми надеждами на блестящую карьеру. Попросту говоря, Щеголев полагал, что Муравьев ошибся адресом в поиске перспективных служебных путей. Исследователь старался также принизить роль Муравьева в составлении устава Союза благоденствия – «Зеленой книги». [2]

Спустя почти шестьдесят лет Эйдельман подверг критике щеголевскую оценку, найдя ее пристрастной и обусловленной стремлением угадать в молодом офицере черты и ухватки будущего «вешателя» и «душителя», т. е. перенести на декабристскую юность Муравьева его позднейший политический облик. Оппонент Щеголева указал на органичное соответствие ряда поступков Муравьева духу и целям декабристского движения и отметил, что его «отход ... от поздних, наиболее решительных декабристских обществ» позволяет говорить «о нараставшей умеренности его взглядов», но не об их изначальной консервативности [3].

Как ни парадоксально это может показаться, но я думаю, что мнение о консервативной или, по крайней мере, авторитаристской мотивации вступления Муравьева в тайное общество и взгляд на него как личность, вовсе не чужеродную в среде заговорщиков на ранней стадии их движения, взаимодополняют друг друга. Иными словами, Щеголев, возможно, и прав, прозревая в молодом Муравьеве профиль сурового администратора, но это еще не значит, что в деятельности этого администратора не отразилось кое-что из

наследия того же Союза благоденствия. Более того – не давала ли сама программа или внутренняя атмосфера ранних декабристских союзов хотя бы частичного удовлетворения тем страстям натуры Муравьева, которые впоследствии нашли широкое применение на административно-политическом поприще?

Без преувеличения можно утверждать, что вступление Муравьева в Союз спасения послужило одним из факторов самоопределения конспираторов на новых началах. 21-летний поручик Гвардейского генерального штаба присоединился к Обществу истинных и верных сынов отечества, в числе основателей которого был его старший брат Александр, незадолго до того, как ведущие заговорщики прибыли в Москву в составе отдельного гвардейского корпуса (август 1817 г.). Вместе с И. Г. Бурцовым, М. А. Фонвиным, И. И. Пушиным и др. Михаил Муравьев принадлежал ко «второму призыву», вступившему в Союз уже после его организационного оформления и принятия «статута» [4]. Как явствует из сведений биографа Муравьева – Д. А. Кропотова, опиравшегося на семейные предания Муравьевых, этот шаг Михаила мог быть продиктован прежде всего тревогой за судьбу брата Александра – человека эмоционального и неуравновешенного. Несмотря на очевидную пристрастность Кропотова, который старался изобразить декабристское прошлое своего героя свободным от какой бы то ни было «нелегалщины», такая версия все-таки выглядит правдоподобной. Будучи самым младшим из трех братьев Муравьевых – членов «Священной артели», Михаил к 1817 г. вполне отчетливо обнаруживает притязания на роль лидера братского кружка. Логично предположить, что когда Александр открыл Михаилу тайну существования Союза, требующего от своих членов принесения торжественных и страшных клятв верности и безусловного повиновения «совету бояр», Михаил лишний раз ощутил себя оплотом благоразумия и спокойствия в семье и решил пойти на риск, чтобы быть рядом с братом и уберечь его от опрометчивых порывов.

Однако не подлежит сомнению и то, что независимо от этих братолюбивых побуждений М. Муравьев в качестве члена тайного общества сразу же поставил перед собой весьма амбициозные цели. В период пребывания гвардейского корпуса в Москве, в

перерывах между изматывающими церемониальными смотрами и парадами, члены Союза спасения вели запальчивые споры о способах практического действия ради достижения чаемых идеалов. Провозглашенный И. Д. Якушкиным с почти болезненной экзальтацией проект царевубийства ясно показал некое томление духа заговорщиков, чьи мечтания о преобразении отечества не уравнивались повседневной конспиративной работой. Условия для подобной рутинизации деятельности тайного общества, наполнения ее, так сказать, прозой жизни должен был создать новый устав. Михаил Муравьев явился одним из активнейших поборников такого переустройства.

Несостоятельность прежнего статута, начиненного масонскими ритуалами и грозившего превратить общество в самодовлеющий эзотерический кружок, была более или менее очевидна многим участникам. И тем не менее, соответствующая инициатива М. Муравьева, поддержанного, как можно заключить из разных источников, Бурцовым, братьями Петром и Павлом Колошиными (все трое – члены «Священной артели»), а возможно, также Никитой Муравьевым и С. П. Трубецким [5], на первых порах только усилила кипение страстей. Муравьеву и Петру Колошину даже пришлось прибегнуть к методу воздействия, напоминающему шантаж, – объявить о выходе из общества в знак протеста против его линии и правил. Пускался в ход и прием осмеяния: согласно семейному преданию, Муравьев «при каждом удобном случае подшучивал над уставом [Союза спасения], уверяя, что он составлен для разбойников муромских лесов» [6].

Развернувшуюся борьбу вокруг проекта нового устава, которую декабрист С. Н. Чернов несколько прямолинейно назвал столкновением «рыхлого большинства с крепкою и упорною в отстаивании своих позиций правой», [7] едва ли возможно реконструировать в деталях. На следствии в 1826 г. М. Муравьев описал обстоятельства создания Союза благоденствия в самых общих выражениях и вскользь упомянул, что «в сем обществе были собрания, в коих я был при написании устава его...» [8]. Из показаний других декабристов мы узнаем, что Муравьев не просто участвовал в подготовке устава, но возглавлял специальную груп-

пу, взявшую на себя эту задачу. Хорошо известно, что в основу текста, который впоследствии получил название «Зеленая книга», лег перевод устава прусского общества Тугендбунд (Союз добродетели), сыгравшего столь значительную роль в мобилизации национально-патриотического антинаполеоновского движения в Пруссии и других германских государствах.

В литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что устав Тугендбунда явился не более чем подспорьем для формулирования оригинальной, творчески осмысленной программы заговорщиков, но ни в коем случае не образцом для подражания [9]. Вместе с тем, вопрос о внутренних факторах и самой организации работ над «Зеленой книгой» вряд ли можно считать разрешенным. Лишь один пример: А. В. Семенова, автор одного из позднейших исследований, посвященных второй декабристской организации, обратила внимание на игнорировавшееся до нее декабристоведами любопытное предположение А. А. Корнилова (высказанное в 1915 г.) о причастности родственника Муравьевых А. М. Бакунина, крупного и влиятельного тверского помещика, к обсуждению проекта «Зеленой книги» [10]. Логика рассуждений Семеновой молчаливо подразумевает некую опосредованную связь между гипотетическим сотрудничеством Бакунина с авторами «Зеленой книги» и революционной судьбой его сына. Однако в том и дело, что отец знаменитого анархиста, воочию наблюдавший в свое время события Французской революции, был апологетом сильной монархической власти, входил в тверской кружок великой княгини Екатерины Павловны, оппозиционно настроенный относительно конституционных проектов Александра I [11]. Что же касается его контактов с братьями Муравьевыми по делу тайного общества, то сведения об этом можно найти не только у Корнилова, но и в гораздо более раннем биографическом труде Д. А. Кропотова, где пересказываются (правда, без ссылки на какие-либо документы) красноречивые предостережения насчет последствий государственного переворота в России, которые после ознакомления со статутом Союза спасения Бакунин делал Муравьевым [12]. Словом, факт сотрудничества с Бакуниным (который, впрочем, нуждается в до-

полнительных доказательств) – это еще один повод задуматься над сложной природой раннедекабристской ментальности.

Полное разъяснение обстоятельств написания «Зеленой книги», конечно же, требовало бы более точной атрибуции тех или иных ее фрагментов, сюжетов или смысловых блоков конкретным составителям. Хотя надежной текстологической основы для заключений на этот счет не имеется, анализ содержания «Зеленой книги» во всяком случае не противоречит ретроспективным свидетельствам о личном вкладе в нее Муравьева. Устойчивые лексические, стилистические, фразеологические особенности его речи, прослеживаемые по современной эпистолярной, да и позднейшим писаниям, созвучны выпендренной, витиеватой и дидактичной риторике «Зеленой книги». Так, не столь уж распространенный глагол «восчувствовать», который впоследствии стал опознавательной приметой муравьевского языка, фигурирует в том же самом гражданственно-патриотическом значении в параграфе 27-м книги четвертой устава [13]. Немало подобных параллелей к «Зеленой книге», особенно в вопросе о служебных злоупотреблениях и борьбе с ними посредством «общего мнения», отыскивается в поданных Муравьевым Николаю I меморандумах 1827 г., разбираемых ниже. В целом, ближайшее сопоставление с эпистолярной и показаниями Муравьева на следствии 1826 г. позволяет более или менее уверенно соотнести с его творчеством такие ярко представленные в тексте устава темы, как воспитание национального самосознания, культ исполнения служебных обязанностей [14], моральный ригоризм.

Однако, называя Муравьева без недомолвок и экивоков ведущим создателем «Зеленой книги», исследователь – хочет он того или нет – демонстрирует «непочтительность» по отношению к тому воззрению на устав Союза благоденствия, которое господствовало в советской историографии, а в смягченной версии продолжает транслироваться и сегодня, особенно в учебной литературе. Подавляющее большинство советских декабристоведов расценивало дошедший до нас текст «Зеленой книги» как средство отвести глаза правительства, своеобразный камуфляж радикальной «сокровенной цели» (термин А. Н. Муравьева), зафиксированной

в несохранившейся второй части устава и предъявляемой новым членам по мере их вхождения в коллектив заговорщиков. По словам С. Н. Чернова, «первая [часть] содержит в себе существо второй в ... завуалированном виде, прячет это существо в подробности постановлений, в редакционной осторожности и обилии благонамеренной риторики...» [15]. С данной позиции роль Муравьева – автора «Зеленой книги», действительно нелегко поддается истолкованию: коль скоро он, по его собственным и других декабристов показаниям, упорно и даже «с омерзением» [16] избегал любых разговоров о политическом перевороте и революционном введении конституции, то как же он согласился вплести в свое описание легальных форм деятельности целую систему тонких намеков на задачи, неизбежно требующие применения нелегальных практик? Не такой личностью был Муравьев, чтобы его запросто удалось обвести вокруг пальца и незаметно для него самого скорректировать уже подготовленную первую часть устава [17]. С другой стороны, современный уровень развития декабристovedения, конечно же, не позволяет реанимировать восходящую к А. Н. Пыпину трактовку Союза благоденствия как некоего полуоткрытого и безобидного клуба либеральных говорунов-филантропов.

Сделать хотя бы шаг к разрешению этих противоречий, а заодно и к раскрытию самосознания Муравьева-декабриста мы, думаю, сумеем, если допустим, что он представлял ту группу членов (смею полагать, немалую), которые парадоксально сочетали в своих воззрениях и установках лояльность императорской власти, законопослушание с захватывающей поэтикой заговора и потаенной корпоративности. Очень симптоматичным в этом смысле видится уже упомянутое обращение создателей «Зеленой книги» к опыту Тугендбунда. Как показано в новейшем исследовании этого сюжета, не только конкретные статьи устава, но и мифологизированный образ тайного патриотического общества произвели глубокое впечатление на декабристов. Образ Тугендбунда в восприятии декабристов подразумевал, в частности, уже состоявшееся или ожидаемое вскоре сближение членов патриотического общества с монархом, но в то же время и необходимость конспирации, вызванную самой миссией общества – освобождением отечества от

врагов-завоевателей [18]. Не случайно фигура императора словно бы распадалась в глазах декабристов на две ипостаси – врага отечества и потенциального союзника, благодетеля. К примеру, И. Д. Якушкин (свояк М. Муравьева), мечтавший в 1817 г. застрелить Александра I за его предполагаемую ненависть к России и обожание Польши, спустя три года в порыве энтузиазма составил проект адреса царю, подлежащего подписанию всеми членами Союза благоденствия, где «излагались все бедствия России, для прекращения которых мы предлагали императору созвать Земскую думу по примеру своих предков» [19].

Подобно многим другим деятелям разных эпох российской истории, члены Союза благоденствия черпали вдохновение не только в своих прозрениях лучшего будущего родины, но и в символически насыщенном идеале самоотверженных и даже жертвенных царских помощников, которые трудятся «в тайне» «для избежания нареканий злобы и зависти» [20]. Сама эта формулировка из программного определения цели Союза отсылает к представлению о прискорбной зависимости верховной власти от корыстолюбцев и интриганов, открытая борьба с которыми не под силу честным патриотам и слугам престола. О возможности такой культурной контекстуализации тайного общества в 1810 – 1820-х гг. свидетельствует и чрезвычайно интересное наблюдение Ф.В. Булгарина в начале 1827 г. Донося в III Отделение о слухах вокруг изданной А. Х. Бенкендорфом инструкции для тайной полиции, Булгарин – осведомитель добросовестный и компетентный – отмечал: «Ее [инструкцию] называют уставом Союза благоденствия. Это поразило меня и обрадовало. Итак, учреждение жандармов и внутренней политической системы ... не почитается ужасом, страшилищем, но Союзом благоденствия, которого цель представлена самыми блестящими красками в донесении Следственной комиссии. <...> Учреждение Внутренней политической системы почитается учреждением для искоренения злоупотреблений» [21]. И хотя агент уточняет, что эти толки исходят прежде всего от «мошенников», желающих «опорочить учреждение жандармов», у нас есть основания говорить о наличии в общественном сознании таких стереотипов восприятия тайной организации, которые десятью

годами ранее могли укреплять веру членов Союза благоденствия в свою миссию незаменимых сподвижников власти.

Вписываются ли в эту истолковательную схему немногие достоверные сведения о деятельности Муравьева в период членства в Союзе благоденствия и его признания на следствии в 1826 г.? Попытаюсь доказать, что да. В ответах на «вопросные пункты», в обращениях на имя Николая I и А.Х. Бенкендорфа, в письмах Следственному комитету Муравьев обрисовывает свое участие в тайном обществе до 1821 г. как результат верноподданнического усердия, проявление патриотических чувств: вступил «по влечению общего мнения...». Он несколько раз подчеркивает, что цели общества – «распространение добрых нравов и просвещение», сопротивление «лихоимству и неправде» [22] были настолько далеки от какой бы то ни было противозаконности, что и он сам и его товарищи желали представить устав на утверждение Александра I (правда, он не объясняет, почему же этого все-таки не сделали). В написанном по собственной инициативе «всепокорнейшем объяснении» Муравьева Следственному комитету от 4 апреля 1826 г. этот тезис формулируется с почти восторженной интонацией: «... С удовольствием участвовал [в обществе], ибо видел благонамеренную цель, помощь бедным, противуборство пороку и распространение просвещения; считал себя обязанным в сем участвовать, ибо видел сие согласным с добродетелью в Бозе почивающего Государя...» [23].

Безусловно, в этих заверениях были и преувеличения и недосказанность. Так, подследственный сумел разыграть совершенное неведение относительно плана царевубийства 1817 г., при обсуждении которого он почти наверняка присутствовал, пусть даже в качестве убежденного оппонента экстремистских мер. Однако приписать монархическую риторику Муравьева целиком и полностью страху за свою участь было бы ошибочно. «С удовольствием участвовал», «считал себя обязанным участвовать» – такие слова вряд ли мог произнести человек, клянувший себя за принадлежность к тайному обществу. Замечу также, что несмотря на иногда близкий к слезному тон взываний Муравьева к высшим сановникам – «... Умоляю вас всем, что есть священнее, – женою и детьми, не покиньте меня

и посетите меня в тяжком моем заключении...», он – в противоположность, например, своему брату Александру, покинувшему общество еще в 1819 г., – нигде не кается, не просит собственно о помиловании, о прощении ему грехов и заблуждений. В сущности, он раз за разом требует строгого соблюдения законности, почти открыто указывая на недопустимость содержания под арестом человека, которому не предъявлено никаких обвинений: «Если же имеются против меня какие доказательства, то позвольте мне оные выслушать и принести оправдание...» [24]. Такая стратегия в сочетании с заявлениями о борьбе Союза благоденствия против «лихоимства и неправды» складывается в довольно цельную и выразительную картину.

Характер участия Муравьева в практических мероприятиях, прямо или косвенно связанных с Союзом благоденствия, подтверждает идею о том, что «Зеленая книга», с ее апологией национального чувства, служебного долга, дисциплины, обязанностей и пр., могла по-своему стимулировать формирование авторитаристских убеждений. Начать с того, что одним из главных профессиональных занятий Муравьева в 1816 – 19 гг. было исполнение должности помощника начальника Московского заведения колонновожатых. Фактически курируя это училище, возглавляемое его отцом генерал-майором Н. Н. Муравьевым, в качестве поручика, затем штабс-капитана Гвардейского генерального штаба, руководя переработкой и систематизацией учебных программ, он зарекомендовал себя весьма суровым службистом, непримиримым к любым нарушениям того корпоративного этоса, который должен был спланировать будущих штабных офицеров [25].

Усиленное преподавание специальных военных и математических наук было призвано поднять престиж штабной (квартирмейстерской) службы, которая, к прискорбию для многих декабристов, ассоциировалась с засильем в высшей военной среде бесталанного немецкого рутинерства. Самое прямое отношение к веяниям раннего национализма, оставившим столь заметный след не только в программных декабристских документах, но и, например, в частной переписке трех братьев Муравьевых и других членов «Священной артели» [26], имел приоритет топографического дела в школе

колонновожатых. Из второсортного военного ремесла топографию надлежало превратить в инструмент внутреннего «завоевания» империи, покорения ее просторов точному позитивному знанию, рядоположения обширных и разнородных местностей посредством универсальных съемочных процедур, что в конечном счете давало толчок модернизации представлений о пространственном строении империи [27]. В немалой степени именно военно-топографическими проектами (одним из которых, словно в предсказание будущей государственной деятельности нашего героя, стало еще в 1816 г. описание дороги из Петербурга в Вильну и из Динабурга в Вилькомир [28]) обуславливался живой интерес Муравьевых к труднодоступным регионам империи и соседних владений, в частности Закавказью и Средней Азии. «... Трудись, любезный брат, освети лучом просвещения дикие хребты Кавказа – да загремит и в тех местах имя Муравьевых», – писал Михаил брату Николаю в октябре 1816 г. Это был особого рода колонизаторский интерес, который позволял рассматривать специфические задачи освоения и удержания далеких окраин в общем контексте с проблемами развития территориального ядра государства [29]. Таким образом, из самой категории географической удаленности изымались значения изоляции и центробежности. Но в то же время новый способ воображения имперского пространства и взаимозависимости между центром и периферией влек за собой оценку существующего центрального управления как слабого, неэффективного и имевшего непростительно малый радиус действия. Мы видим, что в этой патриотической, а в сущности националистической перспективе высвечивается логическая преемственность от строгих порядков школы колонновожатых и замысла «Военно-математических записок» к авторитарному централизаторскому администрированию Муравьева в литовско-белорусских губерниях всего десять лет спустя, в период первого польского восстания.

Не менее показательна и крупномасштабная, изрядно нашу-мевшая общественная акция, организованная в 1820 – 21 гг. Муравьевым, вместе с Якушкиным, Бурцовым, И. А. Фонвизиным, и прославленная впоследствии декабристами как выдающееся антикрепостническое выступление Союза благоденствия. Речь

идет о кампании по сбору средств для голодающих крестьян Смоленской губернии. Еще в 1820 г. Муравьев, в то время уже женатый человек и помещик, управлявший имением в 400 душ в Рославльском уезде, должен был истратить 20 тыс. руб. для обеспечения продовольствием крепостных – как своих, так и соседских. В только что отстроенной винокурне вместо прибыльного производства была устроена мирская столовая, куда ежедневно приходило до 150 крестьян. В начале 1821 г., когда голод в Рославльском уезде принял устрашающие размеры, а губернское начальство обнаружило неспособность к защите населения от этого бедствия, группа помещиков во главе с Муравьевым подвинула местных дворян на подачу акта о состоянии уезда самому министру внутренних дел В. П. Кочубею. Это был довольно смелый шаг: дворяне в данном случае выступали перед центральной властью как самовольный съезд, не санкционированное свыше собрание без легитимного статуса, т. к. официальное лицо – уездный предводитель дворянства не решился взять на себя представление подписанного ходатайства. Кроме того, этот крик о помощи прозвучал резким упреком губернской администрации в том, что она пыталась скрыть от Петербурга плоды своей несостоятельности.

Инициатива рославльских дворян увенчалась успехом: правительство немедленно отреагировало предоставлением им ссуды в 50 тыс. руб., а затем командированием на место сенатора со специальными полномочиями и экстренной суммой почти в 1 млн. руб. Но платой за это явилось недовольство императора и министра, заподозривших организаторов петиции в намерении наглядно доказать превосходство частных деятелей над властью; Александр I высказал сомнения в их благонадежности, и высочайшие слова дошли до членов уже распущенного к тому моменту Союза благоденствия. Не исключено, что именно этот отзыв царя заставил Муравьева в последующие четыре года ограничить до минимума круг общения и даже корреспонденции, жить почти безвыездно в деревне [30]. Как раз в проявленной правительством тревоге декабристоведа усматривают один из главных аргументов в пользу мнения о том, что помощь голодающим крестьянам задумывалась как принципиально антикрепостнический жест [31].

Такая интерпретация кажется мне натянутой, подогнанной к нужному шаблону. Разве можно упускать из виду, что Муравьев привлек к подписанию прошения не только товарищей по тайному обществу, но и несколько десятков помещиков, многие из которых были вовсе ему незнакомы (а среди знакомых был, например, будущий член следственной комиссии по делу 14 декабря В. В. Левашов)? Такая разнородная аудитория, конечно же, не согласилась бы присоединиться к фактическому протесту против губернской администрации, если бы этим людям хотя бы намекнули на опасность скомпрометировать себя близостью к заговорщикам. Стало быть, обосновывать необходимость обращения к министру приходилось совсем другими, привычными для провинциального помещика-душевнодателя доводами и соображениями. А коль скоро с такой задачей Муравьев блестяще справился, почему бы не предположить, что он искренне разделял с основной массой петиционеров помещичьи воззрения и заботы, сословно-дворянские представления о «враждебной» бюрократии? Наконец, нельзя игнорировать, что буквальный смысл послания был вполне крепостническим (в нейтральном значении слова): помещики просили правительство помочь им в выполнении *крепостнической* обязанности – продовольствовать крестьян в голодные и неурожайные годы [32]. Это один из тех случаев, когда крепостничество предстает многомерным феноменом, требующим от исследователя применения деидеологизированных подходов.

Позднейшие следственные показания Муравьева об этой акции также не позволяют вписать ее безоговорочно и безраздельно в контекст антикрепостнического движения. Не упоминая ни единым словом об обсуждении в Союзе благоденствия проблемы крепостного права (что вполне естественно), Муравьев, напротив, очень словоохотлив в рассказе о борьбе с голодом, о сохранении «тысяч полезных рук» государю и отечеству. Он не скрывает и того, что «подвергнул себя даже подозрению, старавшись спасти тысячи несчастных, оставленных без помощи горькой своей участи». Хотя хронология событий допускала изобразить рославльскую акцию не имевшей никакого отношения к тайному обществу (коллективное прошение помещиков было подписано чуть

позже последнего совещания Союза), Муравьев характеризует ее не иначе как достойное воплощение в жизнь легальных принципов «Зеленой книги», как доказательство «на опыте» «чувств, которые руководили мною в обществе...». Любопытно, что Следственный комитет не придавал значения данному тезису, зафиксировав в журнале от 16 февраля 1826 г., что Муравьев «был в Союзе благоденствия, но отстал еще прежде разрушения», т. е. до 1821 г. [33].

Из-под следствия по делу 14 декабря Муравьев, арестованный в Москве в январе, был освобожден в июне 1826 г. Почти полгода он провел сначала в Петропавловской крепости, затем в строго охраняемой палате военного госпиталя на Выборгской стороне, без права видаться с кем-либо из родных. Тяготившая его неизвестность усугублялась тем, что Следственный комитет ограничился получением от него письменных ответов на «вопросные пункты» и ни разу не вызвал на допрос или очную ставку, если не считать первоначального снятия показаний генералом В. В. Левашовым. В вопросах Муравьеву Комитет не допытывался подробностей об учреждении ранних обществ и дискуссиях вокруг «Зеленой книги». По-настоящему следователей волновал другой предмет – знали ли Муравьев, присутствовавший при самороспуске Союза благоденствия в 1821 г., о том, что тайное общество в действительности продолжало существовать и дальше? Муравьев сообщил следствию о том, что он оказался на съезде по чистой случайности, прибыв в Москву собирать пожертвования для спасения все тех же крестьян («... Приехавши в Москву, застал я еще собрание членов общества...»), и что был очень рад засвидетельствовать уничтожение организации, куда к тому времени «поступило много людей с разнородными мыслями». С. П. Трубецкой и Е. П. Оболенский подтвердили полную непричастность Муравьева к заговору после 1821 г., и на этом следователи поставили точку в дознаниях о Муравьеве [34].

Освобождение Муравьева с оправдательным аттестатом вполне соответствовало позиции Николая I по отношению ко многим членам Союза благоденствия, которые «вовремя» покинули ряды конспираторов. И все же слухи о том, что он оказал правительству некую крупную услугу, «донес» на всех, на кого только мог донести,

устойчиво циркулировали и при его жизни и после смерти [35]. Данная версия исчерпывающе опровергается доступными сегодня историку материалами следствия, но подобное опровержение не делает негативные черты образа Муравьева в сознании его современников менее реальными. Впрочем, репутация «изменника» не отравляла ему жизнь в такой степени, как другому николаевскому сановнику из декабристов – Я. И. Ростовцеву.

Более глубокий след в биографии Муравьева оставил этакий комплекс «заподозренности», сказавшийся и на его поведенческих схемах и на стиле администрирования. Ведь наряду со сплетнями о «рenegатстве», имела хождение и такая молва, что Николай I в душе не мог простить ему вовлеченности в декабристскую конспирацию [36]. Этим-то, возможно, объясняются его угодливость и искательность, слишком буквальное соблюдение этикетных норм по отношению к обладателям более высокого статуса в бюрократической иерархии, специфическая перестраховка для удержания достигнутой позиции. Не случайно многие эпизоды служебной деятельности Муравьева при Николае I производят впечатление назойливой демонстрации неслыханного усердия и рвения, бескомпромиссной исполнительности. Войдя в этот имидж, он не мог дать послабления там, где многие другие на его месте без долгих раздумий сделали бы уступку или сбавили нажим по каким-либо общечеловеческим резонам (жалость, лень, осторожность и т. д.).

При каких же обстоятельствах возобновилась карьера Муравьева, давшая обильную пищу всяческим пересудам? Здесь действительно не обошлось без декабристского фактора, но вопреки догадкам недоброжелателей, освобожденный подследственный отнюдь не спекулировал на отвращении Николая к заговорщикам и не рядился в тогу «новообращенного». Скорее наоборот: в момент самовыдвижения Муравьева император услышал от него суждения, актуализировавшие ряд важных принципов все той же «Зеленой книги».

В январе 1827 г. Муравьев, незадолго до того вновь зачисленный на службу в прежнем чине подполковника, но пока не получивший определенной должности, представил императору краткую записку «Опыт рассуждения о причинах лихоимства в России и о способах его прекратить». Николай прочитал ее с интересом,

одарил сочинителя высочайшей похвалой, и тот поспешил продолжить «рассуждение», подготовив к марту 1827 г. еще по крайней мере две записки, более пространные и касавшиеся более широкого круга проблем. Вручены они были графу В. П. Кочубею, министру внутренних дел и председателю комитета 6 декабря 1826 г. (в архиве комитета они и сохранились). Вскоре Муравьев получил назначение на должность витебского вице-губернатора, а еще через год – могилевского губернатора.

Неординарная инициатива вчерашнего подозреваемого отразила тот энтузиазм, с которым немалая часть общества встретила резкую смену культурной парадигмы властвования, появление на престоле молодого и харизматичного правителя, сумевшего зарекомендовать себя, в противоположность предшественнику, энергичным практиком государственного управления. Многие испытывали тогда обнадеживающее чувство обретения «истинного царя». Вспомним, что манифестом 13 июля 1826 г. Николай не только объявил о суровом наказании декабристов, но и призвал подданных «приносить к подножию трона мнения о необходимых улучшениях в государстве». Для рассмотрения таких мнений и выработки проекта административных и социальных реформ и был учрежден комитет 6 декабря. Муравьева, конечно же, никто не извещал официально о созыве секретного совещания, но едва ли обращение к императору спустя всего полтора месяца после создания комитета было простым совпадением.

Записки Муравьева 1827 г., неся на себе явственный отпечаток интеллектуальной атмосферы Союза благоденствия, предвосхищали в то же время направление и приемы его будущей государственной деятельности. Они отмечают поворотную точку биографии, скрытое «эволюционное звено» между Муравьевым-заговорщиком и Муравьевым-бюрократом, без учета которого эта трансформация может и впрямь показаться лишенной внутреннего смысла и логики. Ближайшей задачей записок было освещение условий и механизма (вплоть до делопроизводственных процедур) злоупотреблений в местных административных и судебных учреждениях, прежде всего губернском правлении и земском суде. Это должно было удостоверить императора в наблюдательности

и практическом складе ума Муравьева, а заодно и в том, что после отставки из Генерального штаба в 1820 г. он не замкнулся в сфере частных дел и готовил себя к возвращению на службу по гражданской части. Обобщая же конкретные наблюдения, автор делает попытку бюрократического «социоанализа» – иными словами, формулирует воззрение потенциального администратора на инструменты управления обществом во всей его социальной разнородности.

Безотрадная картина состояния России, рисуемая Муравьевым, достаточно типична для описаний и характеристик, которыми во все времена завоевывается доверие молодых и преисполненных благих замыслов правителей (пока разоблачаемые изъяны и ошибки еще не могут быть отнесены на их собственный счет). Без всяких околичностей ведется речь о вопиющей коррупции местных властей, «почти всеобщей страсти к лихоимству и продажности», об игнорировании распоряжений высших инстанций, о забвении «священного долга присяги и совести», об упадке «общественной нравственности» и даже о том, что «Правительство», «не будучи вспомоществуемо мнением общим, <...> так сказать отвлекает себя от Государства» [37].

Но если общий тон и фразеология записок не столь уж необычны для произведений служебно-публицистического жанра конца 1820-х гг., то аналитическая модель объяснения причин ситуации существенно отличается от весьма распространенных тогда конспирологических схем мышления. Муравьев совершенно не склонен связывать государственные неурядицы с действием случайных и единичных факторов, с подрывным влиянием неких злоумышленников или заемных идей, как делал, например, в 1831 г. разоблачитель «иллюминатского заговора» чиновничества князь А. Б. Голицын в своем «доносе на всю Россию» [38]. (Не говоря уже о стереотипном для первых последекабристских лет риторическом ходе – сведении социальных проблем к увлечениям «молодых людей» «ложными учениями».)

Автор «рассуждения о причинах лихоимства» берется раскрыть внутреннюю закономерность самовоспроизводства бюрократической коррупции и непрофессионализма: «... Главная причина зла

должна заключаться в самой гражданской службе: ибо неоспоримо, что ею образуется мнение общее, которое, бывши порядком и духом сей службы заражено, образовало и образует еще в том же смысле людей; итак, не воспитание, при всей неосновательности и непрочности оно у нас, главною самостоятельною причиною злоупотреблений, а более сама служба гражданская...». Идея о «зараженном» канцелярщиной «общем мнении», разумеется, не предполагала введения какого-либо представительного контроля за бюрократией. Она декларировалась для того, чтобы преодолеть патриархальный взгляд на природу управления, воплощенный в карамзинской максиме: «Не формы, а люди важны» [39].

Муравьев руководствовался более рационалистическим пониманием бюрократии, чем Карамзин, и старался переместить тему борьбы с «лихоимством» из плоскости персональной нравственности служащих в плоскость социальной политики. Иными словами, он полагал архаичной концепцию чиновничьей коррупции как совокупности аморальных поступков индивидов, будучи убежден, что при соответствующих институциональных условиях сносно служить будет и пройдоха: «Истина неоспоримая, что ... постановления образуют людей; а потому должно оные ограничить и устроить такой порядок службы, чтобы люди с самыми нетвердыми правилами сколько возможно менее имели средств делать зло и нарушать закон... Искоренить же злоупотребления ... одним помещением честных людей к должностям ... совершенно невозможно... Скорее избранные чиновники развратятся, нежели злоупотребления уничтожатся... Не имевши никакой над собою грозы, не страшась страму мнения общего и ответственности закона ... [они] должны неминуемо скоро соблазниться выгодою мздоимства...» [40].

В деловых предложениях Муравьева на этот счет угадывается привычка математически образованного человека мыслить по возможности исчислимыми величинами. Проецируя свое видение феномена коррупции на карту сословной стратификации, он радикально отождествляет заразу «лихоимства» с целым социальным слоем – мелкопоместным и личным дворянством. Эти категории предстают под пером Муравьева избыточным, чужеродным элементом в системе социальных отношений. Находясь в плену со-

словного предрассудка о том, что «вообще все дворяне и офицерские дети должны вступать в службу», эти люди наводняют своим потомством присутственные места, где «несчастные юноши сии, без всякого надзора и в нищете научаясь бессмысленному писанию ... вместе с тем приобретают совершенные познания всей промышленности торгового служебного...». Следовательно, канцелярский «разврат» и социальная предрасположенность к коррупции подпитывают друг друга, составляют порочный круг. Возникает однородная масса низшего чиновничества, пронизанная в силу самого своего социального происхождения духом невежества и издоимства, который по мере выхода в отставку переносится в местную дворянскую корпорацию: «Вот гнездо разврата нравов в уездах...». «Можно даже сказать, – сетовал Муравьев, – что во многих губерниях развратной сей класс дворянского сословия совершенно овладел поприщем чести и [дворянскими] правами...», т. е. почти прибрал к своим рукам избрание в дворянские должности [41].

Муравьев был далеко не единственным советником верховной власти, кто в начале правления Николая I бил тревогу о деградации мелкого дворянства. Но вот рекомендованный им способ лечения «сего несчастного класса» в масштабах всей России уж точно мало кому приходил в голову: «... Выселить многих на Кавказскую или Сибирскую линию, сделать из них род охранного войска, оставя им их привилегии, которые там вредны быть не могут, ни для общества, ни для них...». «... Нет никакого сомнения, – уверял он, – что несчастные сии дворяне, имевшие собственности лишь несколько десятин земли ... без неудовольствия на сие согласятся...». Для аргументации этой идеи Муравьев ссылался на уже известную нам смоленскую акцию 1821 г. (не страшась после наказания декабристов напомнить косвенно Николаю о Союзе благоденствия!), которая показала, что мелкопоместные плохо справляются с лежащими на них помещичьими обязанностями перед государством [42]. Эта ссылка Муравьева лишний раз предостерегает против принятой в декабристоведении оценки смоленской акции 1821 г. как антикрепостнической. Выступить за ликвидацию категории мелкопоместных дворян совсем не то же самое, что ратовать за отмену крепостного права.

Насильственное географическое перемещение целых групп населения ради «очищения» общества станет впоследствии излюбленной идеей Муравьева. Случай осуществить с размахом эту мысль на практике ему представится при подавлении восстания 1863 – 64 гг. в Литве и Белоруссии: тогда по распоряжению генерал-губернатора за Урал и в центральную Россию были отправлены тысячи семей мелкой и безземельной шляхты. В записках 1827 г. запечатлен самый момент зарождения плана, причем именно здесь хорошо просматривается в большей степени социальная, чем этнонационалистическая мотивация этой меры, ее не столько карательный, сколько реформаторский характер (впрочем, надо принять во внимание, что смоленское мелкое дворянство, знанием которого Муравьев так гордился, было по историческому происхождению родственно польской низшей шляхте). Учитывая огромную пропорцию мелкопоместных в составе российского дворянства, можно назвать «переселенческий» прожект заявкой на преобразование социальной структуры в масштабе всей империи.

Еще громче и безудержнее властная натура Муравьева заявляет о себе, когда он размышляет о том, как же все-таки навлечь благодетельную «грозу» и «страм мнения общего» на чиновничество. Вновь указывая на закономерность и своего рода регулярность бюрократических злоупотреблений, он проектирует небывалое для самодержавия XIX в. учреждение, которое, выполняя чрезвычайную и исключительную миссию, могло бы принять «образ и существование постоянное, правильное» и действовать «до совершенного истребления явного зла...» [43]. Таковым должно было стать «верховное судилище цензоров», т. е. орган высшего надзора за всем управленческим аппаратом. Если бы нашему герою было присуще в делах службы чувство юмора, я бы предположил, что термином «цензор» он намекал на сходство всевозможных ухищрений административного «лихоимства» с авантюрно-развлекательным литературным творчеством.

«Судилище цензоров» составлялось из лиц, персонально известных царю и не занимающих никаких постов в исполнительных учреждениях. (Стоит заметить, что автор проекта на тот момент обоим требованиям удовлетворял.) Цензоры получали

широкие и не стесненные «обыкновенными формами» полномочия для «узнания зла в губерниях, а чрез оное по круговым связям и в столицах», отстранения чиновников от должности и проведения судебного следствия. За основание для начала расследования могла быть взята та или иная «наружная примета» коррупции, набор которых тут же перечислялся. Одно из таких формальных доказательств – «явно развратная и буйная жизнь», а вот другое: «... Может ли губернатор оправдаться в неведении и неучастии в зле, когда секретарь его, не имевши прежде даже приличного одеяния, бывши в должности проживает по несколько тысяч в год...». Проверка должностного соответствия по этой методе обещала быть взыскательной даже в отношении университетских профессоров: «У нас профессора не имеют надобности заниматься науками... они ищут чинов... Устройте, чтобы профессора обязаны были издавать ежегодно в свет свои лекции и вы увидите, что большая половина оных ... не в состоянии будут сего исполнить». «Судилищу цензоров» открывался доступ ко всей информации о «состоянии каждого служащего» и его «частном бытии»; а потому именно ему передавалось от Сената право утверждения или неутверждения чиновников в должностях, «по узанию поведения и правил кандидата» [44].

Излишне говорить, что институт цензорства, будь он введен, не избавил бы бюрократическую систему от ее пороков, а то и расширил бы пространство для служебного произвола. Но надо учесть и другое: предложение Муравьева предполагало также признание во многих случаях приоритета личных способностей и компетентности над формальной выслугой. Его критические отзывы о «местничестве чинов», препятствующем «людям достойным занимать с пользою должности выше их чина», о назначении губернаторов «лишь по рассмотрению чинов» и др. очень созвучны разработанному позднее тем же комитетом 6 декабря проекту отмены производства в очередной чин «без определения к соответствующей оному должности» и прекращения пожалования в дворянство по выслуге [45].

Впоследствии Муравьев, насколько мне известно, не возобновлял своего предложения. Однако дух «цензорства», в смысле патер-

налистской модели взаимоотношений начальника и подчиненных, ощутимо повлиял на приемы его будущего администрирования. Мало сказать, что он всегда приводил с собой проверенных сотрудников – костяк управленческой команды – и обладал талантом распределять занятия между ними согласно умениям и навыкам каждого. На всех начальственных постах, где вышестоящая инстанция предоставляла известную свободу рук, Муравьев пытался, и зачастую успешно, словно бы вдохнуть собственную энергию в подкомандный аппарат, заразить людей азартом исполнения ответственной миссии, создать «микроклимат аврала», мобилизующую атмосферу коллективного штурма, прорыва к поставленной цели. Недаром о работоспособности и неутомимости Муравьева складывались почти легенды. Так, чиновник МВД и делопроизводитель Остзейского комитета П. А. Шульц, близко узнавший Муравьева в 1857 г., в бытность того министром государственных имуществ, вспоминал: «Он не вставал с своего кресла, – разве для обеда, на короткое время, или чтобы ехать в Государственный совет... Когда к нему ни приедешь: с утра в 10 часов и до первого часу ночи – его все застаешь в том же кресле, а в приемной несколько человек, ожидающих с докладами. Я удивлялся, как человеческий организм может выносить такое непрерывное умственное напряжение и такое отсутствие моциона» [46]. Несомненно, такое впечатление о себе сознательно культивировалось Муравьевым и было одним из средств дисциплинирующего воздействия на подчиненных, которое и должны были бы оказывать оставшиеся в 1827 г. на бумаге «цензоры».

Проведенный анализ не дает оснований видеть в М. Н. Муравьеве носителя отрефлектированной консервативной идеологии, проводника разработанных консервативных воззрений в практику государственного управления. Тем не менее, предыстория карьерного взлета Муравьева хорошо высвечивает логику формирования и развития особого, узнаваемого стиля администрирования имперской бюрократии, который можно назвать ригористско-авторитарным. Этот стиль включал в себя целый набор поведенческих установок, культурных стереотипов, знаковых эмоциональных реакций. Бюрократам такого типа были присущи пессимизм (под-

час наигранный) неумолимого ревизора, поза бескомпромиссного обличителя праздности, лени и «усыпления» чиновничества, склонность драматизировать свои и изъяны (нередко подмеченные случайно и/или преимущественно внешние) системы управления. Выдерживая такую линию поведения, они представляли носителями порядка, энергии и почти спартанской дисциплины посреди развала, хаоса и апатии. К концу жизни этот стиль стал неотъемлемым атрибутом репутации Муравьева. Так, в 1865 г. в Петербурге ходила молва, будто Муравьев, которого вскоре после почетного увольнения от должности виленского генерал-губернатора прочили в министры финансов вместо М. Х. Рейтерна, «*conditio sine qua* поп своего назначения ставит объявление государственного банкротства» [47]. Анекдот передает излюбленный управленческий прием Муравьева – устрашение общества грядущими бедствиями, встряска и мобилизация чиновничества посредством нагнетания предчувствия краха.

Разумеется, Муравьев не был изобретателем этого административного имиджа. Сам он, как можно предположить, отчасти следовал модели поведения, заданной Г. Р. Державиным в его экзальтированной борьбе в защиту «правды» и законности. Примечательно, что еще в 1803 г. Державин, тогда министр юстиции, высказал в официальном порядке мысль о выселении мелкой и безземельной польской шляхты, этих «праздных людей», в южные и восточные губернии европейской России и учреждении из них «ландмилицких полков» [48], – Муравьев же спустя три десятилетия развил эту идею и придавал ей размах, превзошедший державинские намерения. В царствование Николая I административный ригоризм и активизм державинского типа вступает в резонанс с постепенным нарастанием националистических настроений в имперской элите. Тема фатального «усыпления» бюрократии и даже власти в целом оказывается связанной с универсальными для европейского национализма образами национального пробуждения, выхода народа из сна и летаргии. Михаил Муравьев в гражданской администрации, как и его брат Николай Муравьев-Карский – в военной сфере [49], становятся еще при Николае I образчиками (в глазах немалоого числа людей одиозными) специфического латентного национализма,

выраженного в гипертрофированных практиках административно-дисциплинирования, бюрократического дидактизма и обличительного, хотя и избирательного, критиканства. Эти наблюдения возвращают нас к еще ожидающей глубокого исследования проблеме национализма в декабристском движении, опыт участия в котором на его ранней стадии был для М. Н. Муравьева важным фактором жизнестроительства и государственной деятельности.

1. О деятельности Муравьева в правление Александра II см.: *Долбилов М. Д.* Консервативное реформаторство М. Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае (1863 – 1865 гг.) // Консерватизм в России и мире: Прошлое и настоящее / Под ред. А. Ю. Минакова. Воронеж, 2001. С. 111 – 128; Он же. М. Н. Муравьев и освобождение крестьян: Проблема консервативно-бюрократического реформаторства // Отечественная история. 2002. № 6. С. 67 – 90.

2. *Щеголев П. Е.* Гр. М. Н. Муравьев – заговорщик // Современник. 1913. № 1. С. 301 – 309.

3. *Эйдельман Н. Я.* Об историзме в научных биографиях (На материалах русской истории XIX в.) // История СССР. 1970. № 4. С. 19 – 20.

4. *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 13; *Нечкина М. В.* Движение декабристов. М., 1955: В 2 т. Т. 1. С. 169; *Кропотов Д. А.* Жизнь графа М. Н. Муравьева, в связи с событиями его времени и до назначения его губернатором в Гродно: Биографический очерк. СПб., 1874. С. 198.

5. *Чернов С. Н.* Из работ над «Зеленою Книгой» // Декабристы и их время. М., 1932. С. 47 – 48.

6. *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 211.

7. *Чернов С. Н.* Указ. соч. С. 49. См. также: *Лавров Н. Ф.* Диктатор 14-го декабря // Бунт декабристов: Юбилейный сб. 1825 – 1925. Л., 1926. С. 155 – 157.

8. *Щеголев П. Е.* Указ. соч. С. 316.

9. *Нечкина М. В.* Указ. соч. С. 188.

10. *Семенова А. В.* Тайное общество декабристов «Союз благоденствия». Дисс. ... д-ра ист. наук. М., 1990. С. 32.

11. См., напр.: *Греф О. А.* Александр Михайлович Бакунин – создатель усадьбы Премухино // Вопросы истории. 2001. № 2. С. 142 – 147.

12. *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 207 – 211. Современный биограф Пестеля О. И. Киянская, ссылаясь на сведения Кропотова о борьбе, развернувшейся против Пестеля в Союзе благоденствия, не задается вопросом о степени их достоверности: *Киянская О. И.* Павел Пестель. Офицер, разведчик, заговорщик. М., 2002. С. 79.

13. Устав Союза благоденствия // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. В 3 т. [М.] 1951. Т. I. С. 265. Ср.: Русская старина. 1902. № 6. С. 494 – 495; Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма: 1840 – 1876. М., 1997. С. 226.

14. По частной переписке хорошо видно, как нерасторжимо переплелись в муравьевской апологии служения патриотический эмос, карьерные амбиции и установка на достижение личного счастья. В ноябре 1816 г. в письме брату Николаю, который после неудачного сватовства к дочери Н. С. Мордвинова Наталье в тоске и страданиях уехал служить на Кавказ с намерением никогда больше не возвращаться в Россию, Михаил советовал: следует «усладить тяжкое время сие беспрестанными занятиями для пользы Отечества, поприще обширное особливо в тех столь мало известных краях», и когда «возвратишься в свою родину ... с новой честью и славой, получишь большой вес в обществе и высшее звание по службе, чего больше для твоего счастья, ты сим самым приобретешь руку Н. М.». (Из эпистолярного наследия декабристов. Письма к Н. Н. Муравьеву-Карскому. М., 1975. С. 97). О представлениях составителей «Зеленой книги» о собственной «добродетели» см.: Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. М., 2003. С. 272 – 282.

15. Чернов С. Н. Указ. соч. С. 111. Ср.: Нечкина М. В. Указ. соч. С. 201.

16. Восстание декабристов. Т. III. С. 10 – 11 (показания на следствии А. Н. Муравьева).

17. Пример такой противоречивой трактовки роли Муравьева: Лавров Н. Ф. Указ. соч. С. 157.

18. Rogov K. Декабристы и «немцы» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 105 – 126, особ. с. 114 – 116. См. также: Жуковская Т. Н. Тайное общество декабристов: Европейские влияния и российский контекст // Империя и либералы. СПб., 2001. С. 52 – 64.

19. Якушкин И. Д. Указ. соч. С. 35, 468.

20. Устав Союза благоденствия. С. 242. В «Донесении Следственной комиссии» 1826 г. эта фраза цитируется с характерным разночтением: «злобы и ненависти» // Восстание декабристов. Т. XVII. М., 1980. С. 28.

21. Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение. М., 1998. С. 140.

22. Восстание декабристов. Т. XX. М., 2001. С. 371, 373, 378.

23. Там же. С. 378; ГАРФ, ф. 48, оп. 1, д. 189, л. 18 об.

24. Восстание декабристов. Т. XX. С. 377, 380. Ср. также с показаниями Ф. Н. Глинки: Там же. С. 120.

25. Кропотков Д. А. Указ. соч. С. 93 – 111; Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 309 – 310; Муравьев Н. [М.] Письма декабриста. 1813 – 1826 гг. М., 2000. С. 104.

26. См. об этом: Rogov K. Указ. соч. С. 107 – 109.

27. О значении топографии и картографирования для националистического дискурса см. важные замечания: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 190 – 192.

28. *Глиноецкий Н. П.* История русского Генерального штаба. СПб., 1883. Т. 1. С. 358.

29. Из эпистолярного наследия декабристов... С. 92. Характерный пример обоснования служебной деятельности в окраинном регионе как «центральной» не в географическом, но политическом смысле находим и в письме Александра Муравьева брату Николаю в Тифлис от января 1817 г.: «Живучи в столице, под бременем многих начальников ... никогда душа наша не может вылететь из тесного своего обиталища, она беспрерывно призываема искусительными чертами безделья, которые часто губят все наше политическое бытие; никогда не парит над морями ..., не спускается по течению судоходных рек, оживляющих государства, н[е] постигает нравы тьмы народов, не видит разно[о]бразия Отечества своего, не видит взаимных влияний сограждан и правительства... И потому истинный рус[с]кий несравненно полезнее бывает России в такой отдаленности, нежели в самом источнике... Не оставляя без внимания никакой отрасли познаний, до России относящейся, углубляясь в размышлениях на самый даже бездельный предмет, ибо оный непременно имеет связь с общим» (*Муравьев А. Н.* Сочинения и письма. Иркутск, 1986. С. 203 – 204).

30. *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 120 – 129; *Якушкин И. Д.* Указ. соч. С. 46 – 51, 549; *Нечкина М. В.* Указ. соч. С. 238 – 239.

31. *Эйдельман Н. Я.* Указ. соч. С. 20; *Семенова А. В.* Указ. соч. С. 203 – 207.

32. Не случайно один из членов Союза благоденствия, ненавистник крепостного права Н. И. Тургенев, всячески подчеркивавший свои заслуги в постановке перед участниками тайного общества проблемы уничтожения крепостничества, писал, что «подписка эта [в пользу голодающих крестьян] не имела к обществу никакого отношения» (*Тургенев Н.* Россия и русские. М., 2001. С. 55 – 61). Об интересе, который Муравьев, его свояк И. Д. Якушкин и другие родственники проявляли к благосостоянию крепостных своих соседей и знакомых, см. также цитируемое современной исследовательницей письмо А. И. Колечицкой: *Бокова В. М.* Указ. соч. С. 195 – 196.

33. Восстание декабристов. Т. XX. С. 374, 378; Там же. Т. XVI. М., 1986. С. 103.

34. Восстание декабристов. Т. XX. С. 379, 374; Там же. Т. XVI. С. 309, 62, 103, 133, 217, 272.

35. См., напр.: *Долгоруков П. В.* Петербургские очерки: Pamфлеты эмигранта. 1860 – 1867. М., 1992. С. 317. На странице 222 экземпляра книги Д. А. Кропотова «Жизнь графа М. Н. Муравьева...» (СПб., 1874), хранящегося в отделе редких книг научной библиотеки Воронежского госуниверситета,

имеется помета рукой В. М. Лазаревского, служившего в конце 1850-х гг. под началом Муравьева (правителем канцелярии председателя Департамента уделов): «Общий говор был, что Мур. просто выдал что только мог выдать – и за то помилован». Не исключено, что этот отзыв, как и многие ему подобные, заимствован напрямую из памфлета Долгорукова.

36. Оправдание оправданием, но в «Донесении Следственной комиссии», распространенном в 1826 г., имя Михаила Муравьева всплывало неоднократно, причем один раз в рассказе о сугубой крамоле – известном бобруйском плане 1823 г. (захвата императора в военном лагере), к исполнению которого С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин надеялись – без всяких на то оснований – привлечь его и М. А. Фонвизина. (Восстание декабристов. Т. XVII. С. 37.) Одно уже упоминание имени сколь угодно невиновного лица в подобном контексте могло порождать неблагоприятные для него ассоциации.

37. *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 234, 426; РГИА, ф. 1167, оп. 1, д. 111, л. 35.

38. См.: *Гордин Я.* Мистики и охранители. СПб., 1999.

39. *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 420; *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 98.

40. *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 427, 428.

41. Там же. С. 418; РГИА, ф. 1167, оп. 1, д. 111, л. 20 об., 21 – 21 об.

42. РГИА, ф. 1167, оп. 1, д. 111, л. 22 об. – 23.

43. Там же, л. 29 об.

44. *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 236; РГИА, ф. 1167, оп. 1, д. 111, л. 29 об. – 32 об.

45. РГИА, ф. 1167, оп. 1, д. 111, л. 26, 35 об.; Сборник РИО. Т. 90. СПб., 1894. С. 363 – 364.

46. Голос минувшего. 1915. № 1. С. 139.

47. Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, ф. 514, к. 1, № 1, л. 99 (дневник А. Н. Мосолова).

48. *Державин Г. Р.* Записки. 1743 – 1812. Полный текст. М., 2000. С. 252.

49. См., напр.: Письмо Н. Н. Муравьева А. П. Ермолову из крепости Грозной / Публ. М. В. Сидоровой // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах. XVIII–XX вв. Вып. XII. М., 2003. С. 388 – 389; *Милютин Д. А.* Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843 – 1856 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М., 2000. С. 296 – 297, 344 – 350.

## Глава 7

### Формирование консервативной программы министерства народного просвещения во второй половине 20-х гг. XIX в.

Вторая половина 20-х годов XIX в. явилась переломной в правительственной политике в области народного просвещения. В этот период впервые в истории министерства вопросы народного образования становятся предметом обсуждения коллегиального надминистерского органа – Комитета устройства учебных заведений, сформированного по личному распоряжению императора для разработки новых уставов всех учебных заведений империи, утверждения учебных планов, программ и учебных пособий, необходимых для преподавания. Организации Комитета предшествовала активная работа по выработке программных установок, которые впоследствии легли в основу деятельности Комитета и определили основные направления правительственной политики в области народного просвещения. Формирование программных установок связано с именами императора Николая I и известного литератора и государственного деятеля консервативной ориентации, министра народного просвещения А. С. Шишкова. Если повышенный интерес самодержца к вопросам народного просвещения был в значительной мере вызван восстанием декабристов, то внимание министра к проблемам воспитания было обусловлено системой взглядов и ценностей Шишкова, согласно которой воспитание подрастающего поколения является одной из приоритетных задач государственной политики.

В исследовательской литературе проблема формирования консервативной программы министерства народного просвещения

изучена недостаточно. С. В. Рождественский, одним из первых обративший внимание на формирование министерской программы, ограничился цитированием фрагментов речей и докладов Шишкова, отметив, что идеалом министра являлось построение национального народного образования [1]. Более подробно анализировали программу министерства С. А. Князьков и Н. И. Сербов, которые охарактеризовали приход нового министра как «начало национально-православной реакции» [2]. Л. А. Булгакова в уделе основное внимание принципу сословности в образовании, отстаиваемому Шишковым в ущерб всем остальным положениям программы [3]. Эймонтова Р. Г., подробно рассмотрев взгляды Николая I, вообще обошла стороной Шишкова и его министерскую программу [4].

Изменение политики в области народного просвещения имело свои причины. Помимо реакции на восстание декабристов, следует отметить разочарование итогами развития народного просвещения в первые пятнадцать лет существования министерства, возникшее как в консервативных, так и либеральных кругах русского общества. Поводы для разочарования были у всех разными. Если либералы были недовольны темпами распространения просвещения и равнодушием к школе в широких слоях русского общества, то консерваторы обращали внимание на отсутствие четких ориентиров в образовательной политике министерства. Идеи эпохи Просвещения, положенные в основу образовательной политики в начальный период деятельности Александра I, в глазах консерваторов себя не оправдали. Консервативный поворот в политике министерства, осуществившийся с приходом на пост министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына, вызвал, по разным причинам, резкое неприятие и либералов, и национально-православной части консервативно-православного лагеря. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, будучи одним из видных представителей национально-православного лагеря, А. С. Шишков, едва возглавив министерство, сразу же обнаружил недостатки системы просвещения России. «Вступив в управление министерством народного просвещения, усмотрел я из хода дел, что министерство сие от самого начала своего не име-

ло постоянного плана, которым бы, всегда руководствуясь, могло оно в продолжение времени все части оною привести в желаемое устройство». Шишков обратил внимание на непродуманность в организации системы просвещения, которая выразилась в том, что «с распространением училищ не приготовлены были учебные книги», необходимые «для единообразного преподавания наук». Отсутствие учебных пособий по преподаваемым предметам, а также унифицированных программ и планов для училищ привело к тому, что «учители в общем наставлении юношей следовали каждый своему произволу и понятиям». Самодеятельность учителей в преподавании учебных дисциплин, отсутствие четких правил для народного воспитания произвели «расстройство управления по частным и различным мнениям» [5].

Отсутствие учебной литературы, основанной на религии и нравственности, привело к появлению так называемых «рукописных тетрадей», в которых министр усмотрел еще большую опасность для государства, поскольку их содержание не контролировалось администрацией. Некоторые из них содержали идеи «вере нашей и монархическому правлению противные», поэтому «правительство, открывая иногда оные, предавало наставников суду» [6].

В целом, система народного просвещения России, по оценке Шишкова, находилась в упадке. Поэтому министр приступил к разработке обширной программы преобразований. С этой целью он учредил «временный комитет из трех членов Главного правления училищ для составления подробного обозрения порядка управления, всех учебных заведений и представления проекта нового и единообразного для всех их устава» [7]. Во вновь образованный Комитет вошли: сенатор, тайный советник И. И. Муравьев-Апостол, действительный статский советник М. Л. Магницкий, А. В. Казадаев. Комитет предложил попечителям, советам университетов и отдельным профессорам высказать свои предложения по поводу недостатков действующих уставов «и о способах исправить оные» [8]. На предложение Комитета откликнулись попечители Московского, Харьковского, Дерптского округов и некоторые профессора. Комитет просуществовал более года (с 5 января 1825

по 14 мая 1826 г.) и прекратил свою работу в связи с учреждением Комитета устройства учебных заведений. Реальным итогом его работы стали собранные материалы, которые Шишков впоследствии предложил Комитету устройства учебных заведений использовать «при рассуждении о устройстве университетов» [9].

Возглавив министерство, Шишков сразу определил основные приоритеты своей политики. На первом заседании Главного управления училищ, которое Шишков проводил в качестве министра, он, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что «науки, поощряющие ум, не составят без веры и без нравственности благоденствия народного» [10]. В религии, нравственности и патриотизме видел Шишков основы «истинного просвещения», без которого немислимо дальнейшее развитие общества. Об этом Шишков неоднократно заявлял и впоследствии [11]. Мнение Шишкова полностью разделял попечитель Дерптского учебного округа и член Комитета князь К. А. Ливен, подчеркивавший важность «нравственного образования» в системе общественного воспитания. «Нравственное образование», полагал Ливен, «порождает в человеке образ чувствований и мыслей – пружину всех его действий, от которых истекает благо или зло для государства» [12].

Для развития у учащихся религиозных чувств и нравственности министр предложил ряд мер. Во-первых, наблюдение за исполнением учащимися своих христианских обязанностей, таких как посещение храма в праздничные дни, общая молитва, чтение Священного писания по церковнославянскому тексту с соответствующими комментариями. Во-вторых, Шишков требовал осуществлять надзор за направлением преподавания, «чтобы в уроках профессоров и учителей ничего колеблющего или ослабляющего учение нашей веры не укрывалось». В-третьих, от самих преподавателей требовалась высокая нравственность, исключающая возникновение конфликтных ситуаций в преподавательской среде, «ибо сие может иметь пагубное наитие на нравы образуемого ими юношества». Поэтому Шишков указывал попечителям на необходимость следить, «чтобы в поведении и поступках распорядителей и преподавателей учебных заведений не было чего-либо явно соблазнительного». В-четвертых, начальство должно осуществлять

неусыпное наблюдение за поведением учащихся, с целью сохранения между ними мира и согласия. В качестве профилактических мер Шишков предлагал «тщательно избегать всякого повода к порождению ими взаимной вражды или распри, отклоняя, по возможности, все посторонние обстоятельства, которые могли бы сему содействовать». В-пятых, Шишков считал необходимым проводить мероприятия по охране нравственности воспитанников путем ограничения их взаимоотношений с внешним миром, советуя начальникам учебных округов применять «все нужные меры осторожности к предохранению воспитанников от пороков, дурных связей, неприличного обращения и знакомства» [13].

Несмотря на многообразие частных мер, предложенных Шишковым, все они представляют собой различные вариации одного административного действия – надзора со стороны начальства за подчиненными. Такая позиция диктовалась заботой Шишкова о формировании у учащихся религиозно-нравственного мировоззрения, то есть фундамента из твердых нравственных принципов, на котором затем должно было возводиться здание научного знания. Шишков был убежден в том, что науки «сколько полезны в благо-нравном человеке, столько же вредны в злонравном; ибо служат ему способами к изобретению и удобнейшему исполнению внушаемых в него страстями побуждений, и к развращению тех, кои без коварных его советов остались бы в простоте ума и сердца своего добродушными» [14].

Важное начало «истинного просвещения» Шишков видел в воспитании у учащихся патриотических чувств. Открывая заседания Комитета устройства учебных заведений, министр подчеркнул, что «первым и неперменным правилом» для народного просвещения является возвращение к национальным традициям воспитания. Задачу Комитета и министерства в этом случае Шишков видел в необходимости дать общественному воспитанию «такое направление, чтобы оно не изглаживало в Русских характера народного, но чтобы улучшало и укрепляло оный» [15]. Об изгнании из учебных заведений иноземного воспитания и обращении к собственным национальным корням Шишков говорил и раньше. Так, в самом начале своей министерской деятельности, в 1824 г., Шишков убеждал

членов Главного правления училищ, что «воспитание народное во всей империи нашей, несмотря на разность вер, ниже языков, должно быть русское» [16]. Идея формирования системы воспитания на национальных началах вполне логично проистекала из мировоззрения адмирала, активного защитника русского языка и сторонника развития российской словесности.

Особое место в программе министра занимал сословный вопрос. Ограничение прав других сословий на получение образования в казенных учебных заведениях и распределение преподаваемых предметов в соответствии с потребностями каждого сословия должно было, по мысли Шишкова, сохранить существующее равновесие между ними. Ибо, считал он, повышение уровня образования ведет к увеличению подвижности в обществе, что, в свою очередь, может нарушить порядок в государстве. Поэтому «науки полезны только тогда, когда как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет» [17]. Приобретение «излишних» знаний, носящих теоретический, отвлеченный характер, крестьянином способно, с точки зрения Шишкова, только пагубно отразиться на его труде, поскольку «наставлять земледельческого сына в риторике было бы готовить его быть худым и бесполезным, или еще вредным гражданином» [18]. Шишков искренно надеялся разработать такие учебные планы, которые отражали бы потребности каждого сословия в преподавании тех наук, которые потребуются детям купцов, мещан, крестьян в их будущей деятельности.

Для реализации поставленных целей Шишков полагал необходимым изменить сложившуюся при Александре I трехступенчатую систему образования с постепенным переходом учащихся от низших учебных заведений к высшим. Министр предлагал, сохранив существующие типы учебных заведений, «распределить» их между сословиями. Причем учебные планы должны были составляться для уездных училищ, гимназий и университетов с учетом того, что «учение, предназначаемое в каждом из них, будет расположено т[аким] о[бразом], чтобы оно могло служить окончательным образованием того класса людей, для которого таковые училища преимущественно учреждаются». Шишков утверждал,

что только один из ста выпускников уездных училищ поступит в университет, а все остальные ограничатся знаниями, полученными либо в училище, либо в гимназии. «Следовательно, – делал вывод Шишков, – при назначении постепенности учебных заведений отнюдь не должно исключительно иметь в виду приуготовление учеников к переходу от одного заведения в другое высшее, но потребности тех состояний, которые должны получить в них окончательное образование» [19].

Идеи Шишкова нашли полное понимание и поддержку не только у членов Комитета устройства учебных заведений, но и у императора. Последний в высочайшем рескрипте от 19 августа 1827 г. повелел, чтобы «повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, чтобы каждый, вместе с здоровыми, для всех общими понятиями о Вере, законах и нравственности, приобретал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи и, не быв ниже своего состояния, также не стремился чрез меру возвысится над тем, в коем, по обыкновенному течению дел ему суждено оставаться» [20]. Император поддержал не только основные начала сословной политики министерства, но и согласился с тем, что воспитание подрастающего поколения должно строиться на основе религии и нравственности. При этом Николай I подчеркнул необходимость специализации образования и, прежде всего, распространения сугубо практических, прикладных знаний.

Шишков также предложил краткий план «распределения» начальных учебных заведений между сословиями. Согласно ему в приходских училищах должны обучаться дети «крестьян, мещан и промышленников низшего класса», а в уездных – дети купечества, обер-офицеров и дворян. Впрочем, предложенная Шишковым схема отличалась определенной гибкостью и не устанавливала жестких сословных рамок. Министр признавал и для представителей других сословий право обучаться в уездных училищах и «пользоваться преподаваемыми в них наставлениями, особливо тех, кои приготавливаются для поступления в университеты и избирают ученое звание» [21].

Обращаясь в 1824 г. к членам Главного правления училищ, Шишков отмечал, что «излишнее множество и великое разнообразие учебных предметов должно быть благоразумно ограничено и сосредоточено: во-первых, в тех познаниях, кои самым учреждением разных учебных заведений постановлены, и, во-вторых, сообразно с званиями, к которым учащиеся предназначаются» [22]. Сокращая учебные программы, Шишков предполагал развивать образование в сторону углубленного изучения специальных наук, уменьшая количество часов, отпущенных на «отвлеченные» науки. Впоследствии министр допускал возможность некоторых отступлений в учебных планах от установленных правил в зависимости от будущей профессиональной деятельности, никак эти отступления не конкретизируя.

Шишков впервые обратил серьезное внимание на преподавание греческого и церковнославянского языков и российской словесности в учебных заведениях империи. По его мнению, церковнославянский язык и «классическая российская словесность повсеместно должны быть вводимы и ободряемы», а греческий должен потеснить латинский в учебных планах гимназий [23].

По-новому подошел Шишков и к проблеме воспитания молодого поколения на национальных окраинах страны, утверждая, что «все иноверное российское юношество должно учиться нашему языку и знать его. Оно должно преимущественно изучать нашу историю и законы» [24]. Тем самым закладывались основы русификаторской политики, настойчиво проводимые впоследствии министерством С. С. Уварова.

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что именно Николай I и А. С. Шишков предложили первую подробно разработанную консервативную программу мер в области народного просвещения, направленную на постепенное преобразование существующего строя в «видах правительства». Программа предлагала конкретные мероприятия и обосновывала необходимость их проведения. В то же время настоятельно требовалось подвести под систему народного просвещения идеологию, содержащую теоретические начала, которые должны были заложить фундамент политики в области образования. С этой задачей спустя несколь-

ко лет справился член Комитета устройства учебных заведений С. С. Уваров, разработавший идеологическую доктрину «Православие – самодержавие – народность».

1. *Рождественский С. В.* Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения (1802 – 1902). СПб., 1902. С. 166.
2. *Князьков С. А., Сербов Н. И.* Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II. М., 1910. С. 200.
3. *Булгакова Л. А.* Сословная политика в области образования во второй половине XIX века // Вопросы политической истории СССР. М.-Л., 1977. С. 106.
4. *Гросул В. Я.* Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика / В. Я. Гросул, Б. С. Итенберг, В. А. Твардовская, К. Ф. Шаццлло, Р. Г. Эймонтова. М., 2000. С. 120 – 123.
5. Российский государственный исторический архив (РГИА) Ф. 735. Оп.1, д. 6, л. 1 – 1 об.
6. РГИА. Ф.735, оп. 1 д. 6, л. 2.
7. РГИА. Ф. 737, оп. 1, д. 146, л. 4 об.
8. Там же. Л. 4 об-5.
9. Там же. Л. 5.
10. РГИА. Ф. 735, оп. 1, д. 3, л. 3 об.
11. РГИА. Ф. 737, оп. 1, д. 146, л. 20 об.; Две всеподданейшие записки А. С. Шишкова // Русская старина. 1896. № 9. С. 578.
12. РГИА. Ф. 737, оп.1, д.146, л. 118.
13. ОР РГБ. Ф. 226, Карт. 7, ед. хр. 57, л. 2 – 2об.
14. РГИА. Ф. 735, оп. 1, д. 3, л. 3 об – 4.
15. РГИА. Ф. 737, оп.1, д. 6, л. 5.
16. РГИА. Ф. 735, оп.1, д. 6, л. 5.
17. РГИА. Ф. 735, оп.1, д. 3, л. 4.
18. Там же. Л. 4 – 4 об.
19. РГИА. Ф. 737, оп. 1, д. 146, л. 14 – 14 об.
20. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения (1802 – 1863). Т. 2, отд. 1. Стл. 60 – 61.
21. РГИА. Ф. 737, оп. 1, д. 146, л. 14 об.
22. РГИА. Ф. 735, оп.1. д. 6, л. 5 об.
23. Там же. Л. 5.
24. Там же. Л. 5 – 5 об.

## Глава 8

### Польское восстание 1830 – 1831 гг., государственная идеология и русская поэзия

Бурная реакция, вызванная в Европе и в России Польским восстанием 1830 – 1831 гг., многократно становилась предметом научного изучения [1]. При этом исследователи, как правило, в едином потоке рассматривали самые различные тексты: официальные донесения, частную переписку, политические статьи и стихотворения. Между тем, поэтическое осмысление польского восстания в его специфическом для поэзии виде, а также в связи с попытками формирования официальной идеологии в России, не становилось еще предметом специального изучения.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что русские поэты разошлись не только в оценке восстания и его подавления, что вполне естественно на фоне резкой поляризации мнений, а в самом представлении о *поэтичности* этого события. То, что усмирение поляков не может и не должно быть предметом поэзии, особенно настойчиво отстаивал П. А. Вяземский: «Зачем перекладывать в стихи то, что очень кстати в политической газете <...> Как можно, – восклицал он – в наше время видеть поэзию в *бомбах* и *палисадах* <...>. Политике нужны палачи, но разве вы будете их петь». «Для меня, – признавался поэт, – назначение хорошего губернатора в Рязань или Вологду гораздо более предмет для поэзии, нежели взятие Варшавы» [2].

Между тем, в начале 1830-х гг. тема Польского восстания и его подавления активно осваивалась русской поэзией. На пер-

вый взгляд в этом нет ничего удивительного. Военные победы не только были традиционной темой русской поэзии, но и стояли у ее истоков. Начало, как известно, было положено «Одой на взятие Хотина» М. В. Ломоносова [3], которая открыла целый цикл од, воспевающих славу русского оружия. Вяземский, разумеется, не мог этого не знать, и в неотправленном письме Пушкину он критиковал В. А. Жуковского за уподобление взятия Варшавы Бородинскому сражению. Упрек косвенно был направлен, разумеется, и против «Бородинской годовщины» самого Пушкина: «Охота ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами) и не совестно ли «Певцу во стане русских воинов» и «Певцу в Кремле» сравнивать нынешнее событие с Бородиным? Там мы бились один против 10, а здесь, напротив, 10 против одного. Это дело весьма важное в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии» [4].

Таким образом, не отвергая в принципе право поэзии воспевать русское оружие, Вяземский резко осуждает одическую традицию, прославляющую государственную силу как таковую. В этом, безусловно, сказалась его реакция на разгром декабристского движения, когда он провел резкую черту между правительственным курсом и своей гражданской и человеческой позицией. Характеризуя политические взгляды Вяземского того периода, Ю. М. Лотман писал: «Вяземский летом 1826 г. считал, что у власти находятся «молокососные кровопийцы» и «подлые тигры», «мнимая Россия», «Россия-самозванец» ниспровержение которой – цель настоящей России» [5]. Польское восстание и европейские революции, на фоне которых оно проходило, лишь усилили эти взгляды. По мнению Вяземского, Россия должна развиваться в русле европейской цивилизации, воплощающей в себе идеи гуманности и прогресса. Поэтому его взгляд на польские дела был во многом обусловлен реакцией на них французской общественности.

Между тем, подобные настроения к 1830 г. сделались уже архаичными. Русская общественная мысль искала новые пути осмысления действительности. Поражение декабристов многим казалось исторической закономерностью, а российское самодержавие, победившее 14 декабря 1825 г., представлялось далеко еще

не исчерпавшей себя реальной политической силой. То, что самодержавие во Франции потерпело поражение, а в России одержало победу, предотвратив возможное развитие революции, внушало мысль об особом историческом пути России, не имеющем ничего общего с Западной Европой. Еще до того, как была сформулирована знаменитая уваровская триада «самодержавие, православие, народность», русские историки, публицисты и писатели заговорили о различиях в исторических судьбах Европы и России. При этом взгляд на Россию как на европейскую страну прямо признавался вредным. Так, по мнению С. П. Шевырева: «Карамзин написал Историю России в Европейских формах, как наружно, так и внутренно. Этот взгляд на Россию общий и вредный. Мы так думаем, что мы Европейцы по роду и образованию. Надо переменить этот образ мыслей и скромно показать, что мы Азиятцы, преобразованные в Европейцев» [6].

Близкие идеи звучали в лекциях М. П. Погодина начала 1830-х гг. Один из его студентов, впоследствии видный славянофил Ю. Ф. Самарин, вспоминал: «Чему нас выучил Погодин, я не могу сказать, передать содержание его лекций я был бы не в состоянии; но мы были наведены им на совершенно новое воззрение на русскую историю и русскую жизнь вообще. Формулы западные к нам не применяются; в русской жизни есть какие-то особенные, чуждые другим народам, начала, по иным, еще не определенным наукою законам совершается ее развитие» [7].

Эти же по сути дела мысли высказывал и Пушкин при чтении второго тома «Истории русского народа» Н. А. Полевого. Упреки автора в следовании Ф. Гизо, Пушкин писал: «Вы поняли великое достоинство французского историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада» [8].

Подобного рода высказывания, количество которых легко многократно умножить, на рубеже 1820 – 30-х гг. еще не составляли законченной официальной идеологии, но они отражали стремление правительства такую идеологию обрести.

Николай I, вступив на престол, обещал очистить «Русь святую от <...> заразы, извне к нам нанесенной» [9]. Под «заразой», разумеется, понимались европейские либеральные идеи. Таким образом, с самого начала в позиции Николая преобладал явный антиевропеизм, что резко отличало его не только от «благородных и великодушных принципов» Александра I, но от Петра I, дело которого Николай, по его собственным словам, «довершал». Многочисленные декларации Николая о преемственности своей политики от названных монархов в действительности были ничем иным, как идеологической мишурой. Если и Петр, и Александр видели образцы в западноевропейских общественно-политических институтах и думали о их перенесении на русскую почву, то Николай именно этого не желал допустить. Отсюда отсутствие у его реформ на ранних этапах правления ясных ориентиров.

Смысл своей политики сам царь как нельзя лучше сформулировал 30 марта 1842 г. на заседании Государственного совета. Произнеся сакраментальную фразу: «Крепостное право <...> есть зло для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему *теперь*, было бы делом еще более гибельным», царь продолжил: «Но если нынешнее положение таково, что оно не может продолжаться и если, вместе с тем, и решительные к прекращению его способы также невозможны без общего потрясения, то необходимо, по крайней мере, приготовить пути для *постепенного перехода* к другому порядку вещей и, не устраниаясь перед всякою переменою, хладнокровно обсудить ее пользу и последствия». Такая позиция не была лишена своего рода историзма. Во всяком случае, Николай апеллировал к историческому опыту, который «всего лучше и надежнее придет здесь на помощь. Этим опытом, без сомнения, развяжутся и такие вопросы, которые теперь без его пособия, кажутся затруднительными» [10].

Эти же мысли внушал Николаю его старший брат Константин, утверждая, что «для сохранения самых же главных состояний, коренных законов и уставов государственных сильнейшая есть ограда – древность их <...> Что касается существенных перемен, лучше казалось бы отдать их еще на суд времени» [11].

Широко распространенное представление, что Николай I был принципиальным противником любых конституций, нуждается в уточнении. Он действительно не сочувствовал конституционным монархиям, считая их пародиями на истинно монархический принцип. Но в то же время идеи легитимизма для него были выше монархизма как такового. Он вполне мирился с октроированной конституцией Франции 1814 г., так как она исходила от законного короля Людовика XVIII. Когда в июле 1830 г. премьер-министр А.-Ж. де Полиньяк распустил палату депутатов, отменил свободу слова и сократил электорат на три четверти, тем самым совершив государственный переворот с согласия Карла X, Николай неоднократно повторял, что «поведение Карла X постыдно, что он клятвопреступник». И, как следствие этого, царь в разговоре с В. П. Кочубеем признал, что последовавшее за этим восстание «справедливо, что оно спровоцировано», но при этом добавил: «Это революция, и приходится думать о последствиях» [12].

До определенного момента Николай был готов терпеть польскую конституцию как дело рук Александра I, хотя он и не скрывал чувства неловкости, порожденного в нем сознанием того, что он является конституционным королем в Польше [13]. По свидетельству А. Х. Бенкендорфа, «не совсем довольный собою и еще менее своим старшим братом, государь чувствовал неловкость положения русского монарха в королевстве Польском; чувствовал все зло либеральной и преждевременной организации этого края, которую охранять присягнул сам» [14].

Дело было не только в нелюбви к представительной системе как таковой. На это накладывалось глухое недовольство значительной части русского дворянства, пропитанного ненавистью к полякам. Екатерининский вельможа А. М. Грибовский писал в своем дневнике: «Странно видеть государя самодержавного, обладающего 50.000.000 народа на третьей части полушария, говорящего конституционным языком и представляющего власть свою ограниченную пред горстью народа, всегда России враждебного» [15]. Значительно позже в разговоре с А. де Кюстином Николай признается: «Я сам возглавлял представительную монархию, и в

мире знают, чего мне стоило нежелание подчиняться требованиям ЭТОГО ГНУСНОГО способа правления» [16].

В этом смысле восстание поляков Николаю было на руку. Оно позволило ему выйти из той двусмысленности, в которую ставила его польская конституция. Отношение Николая к польскому восстанию можно свести к двум основным формулам: поляки – *братья* и поляки – *предатели*. Сочетание этих двух определений практически развязывало Николаю руки в отношении Польши и делало оправданными любые идеологические построения на этот счет. Прежде всего «предательство» поляков объяснялось тем же, что и восстание декабристов – разлагающим влиянием Запада. Среди причин польского восстания А. Х. Бенкендорф в разговоре с польским полковником Ф. Вылижинским на первое место поставил «иностранный влияние и желание подражания». То же самое Вылижинскому заявил при личной встрече и Николай I: «Скажите от меня полякам, что я уверен в том, что на них действует иностранное влияние, которое я считаю главным поводом этой революции. Русский народ оскорблен и возмущен поступком Польши и Мне с трудом удается сдерживать его законное негодование» [17]. В этом деле Николай быстро нашел для себя роль милосердного монарха, сдерживающего праведный гнев русского народа. Однако стремление «качать зачинщиков мятежа, но не мстить народу, прощать раскаивавшихся и не допускать ненависти» [18] прошло сразу же, как наметился перелом в военных действиях в пользу царских войск. Если в 1830 г. речь еще шла лишь о подавлении восстания, то в 1831 г. Николай заговорил об уничтожении и Польши как политического устройства, и поляков как нации. В письме к Константину Павловичу от 3 января 1831 г. Николай писал: «Кто из двух должен погибнуть, – так как, по-видимому, погибнуть необходимо, – Россия или Польша?» [19].

В борьбе против Польши Николай, с одной стороны, опирался на общественное мнение, враждебное полякам, с другой, сам же его всячески стимулировал и подогревал. В собственноручной записке о польском вопросе Николай писал: «Польша постоянно была соперницей и самым непримиримым врагом России. Это наглядно вытекает из событий, приведших к нашествию 1812 года, и

во время этой кампании опять таки поляки, более ожесточенные, чем все прочие участники этой войны, совершили более всего злодейств из тех же побуждений ненависти и мести, которые одушевляли их во всех войнах с Россиею. Но Бог благословил наше святое дело, и наши войска завоевали Польшу. Это неоспоримый факт». И далее Николай прибегает к тому же аргументу, к которому в свое время прибегнул Н. М. Карамзин, пытаясь убедить Александра I не восстанавливать Польшу. В записке «Мнение русского гражданина» он писал: «Мы взяли Польшу мечом – вот наше право, коему все государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний» [20]. «В 1815 году, – продолжает Николай, – Польша была отдана России по праву завоевания». И далее царь прямо указывает на историческую ошибку Александра, как бы солидаризируясь с Карамзиным: «Император Александр полагал, что он обеспечит интересы России, воссоздав Польшу, как составную часть империи, но с титулом королевства, особою администрациею и собственною армиею. Он даровал ей конституцию, установившую ее будущее устройство, и заплатил таким образом добровольным благодеянием за все зло, которое Польша не переставала причинять России. Это было мезтью чудной души. Но цель императора Александра была ли достигнута» [21].

Взгляды Николая на Польшу развивал М. П. Погодин на страницах «Телескопа». Претендуя на беспристрастность и объективность («да присохнет язык к моей гортани, если я подумаю когда-либо святое науки умышленно представить в ложном свете для частных видов, хотя бы это было даже в пользу моего отечества»), Погодин тем не менее создает острый идеологический документ с ярко выраженной антипольской направленностью: «От основания Русского Государства и до позднейших времен, то есть, от IX-го столетия и до XVII-го, посягал ли Русский меч хоть на каплю Польской крови? И наоборот, иссякали ли хоть на короткое время, в продолжении сих столетий, реки Русской крови, пролитой Польскою, Литовскою саблею» [22]. Неблагодарные и коварные поляки, по мнению Погодина, никогда не были столь счастливы, как во время Александра I и Николая I в составе России. «Россия и Польша, – продолжает Погодин, – соединились между собою, по

естественному порядку вещей, по закону высокой необходимости и общего блага» [23]. Погодин фактически формулировал мысли Николая о необходимости «растворения» Польши в составе Российской империи. Не случайно его статья привлекла внимание царя, и Бенкендорф лично осведомился, чего Погодин «желает за статью о Польше, которая читана и понравилась?» [24].

От правительства явно исходил запрос на создание новой идеологии, которая не только привязала бы навсегда Польшу к России, но и обосновала бы основные направления внутренней и внешней политики. Польское восстание стало удобной отправной точкой для новых идеологических исканий. Старинная вражда двух славянских народов, победа, доставшаяся одной из сторон тяжелым путем, ощущение, что поставлена последняя точка в многовековой истории русско-польских отношений – все это явно провоцировало поэтические размышления над восстанием поляков и его последствиями.

Первым на Польское восстание откликнулся А. С. Хомяков. В конце 1830 г. он написал стихотворение «Внимайте голос истребления!», которое первоначально имело эпиграф «Прошу вас поляков не ненавидеть... Незабвенные слова возлюбленного нашего монарха» [25]. Стихотворение Хомякова состоит из трех частей. В первой части автор, который является сам воином (*И крик торжеств, мне крик знакомый // И смерти стон мне плач родной*) призывает прекратить начавшуюся войну:

О замолчите, битвы громы!  
Остановись, кровавый бой!

Автор ставит себя как бы над битвой, не отдавая предпочтения ни одной из воюющих сторон и осуждая войну как таковую. В то же время лирическая сопричастность боевым действиям (Хомяков участвовал в русско-турецкой войне) вносит в его призыв к миру личную заинтересованность. Обе враждующие стороны и сам автор принадлежат к общему славянскому племени.

Во второй части развивается намеченная в эпиграфе тема русско-польского братства. Но при этом не только отсутствует важная

для Николая и его окружения тема польского предательства, но и вся ответственность за происходящее снимается с обеих сторон и переносится в историю:

Потомства пламенным проклятьям  
Да будет предан тот, чей глас  
Против славян славянским братьям  
Мечи вручил в преступный час!

«В автографе к этому месту неизвестной рукой сделано примечание: «Едва ли не Святополк» [26]. Речь видимо идет о Святополке Окаянном, сыне Владимира Святого и зяте польского короля Болеслава I, который впервые привел на Русь поляков против своего брата Ярослава Мудрого. С этого момента и начинается, по мнению Хомякова, история русско-польской вражды:

Да будут прокляты сраженья,  
Одноплеменников раздор  
И перешедший в поколенья  
Вражды бессмысленный позор;  
Да будут прокляты преданья,  
Веков исчезнувших обман,  
И повесть мщенья и страданья,  
Вина неисцелимых ран!

Третья часть стихотворения содержит позитивный сценарий будущих русско-польских отношений, представленный в виде поэтического пророчества:

И взор поэта вдохновенный  
Уж видит новый век чудес...  
Он видит: гордо над вселенной,  
До свода синего небес,  
Орлы славянские взлетают  
Широким дерзостным крылом,  
Но мощную главу склоняют

Пред старшим Северным орлом.  
Их тверд союз, горят перуны,  
Закон их властен над землей,  
И будущих баянов струны  
Поют согласие и покой!

Будущее Польши Хомяков видит в едином союзе славянских племен, доминирующая роль в котором принадлежит России, точнее, русскому самодержавию – *Северному орлу*. Этот союз представляет собой мир Востока, противостоящий Западу и в конечном итоге диктующий свои законы всему остальному миру. Мысли о славянском единстве и о милости к поверженной Польше вплоть до ее восстановления как самостоятельного государства в дальнейшем займут одно из центральных мест в философско-поэтическом мирозерцании Хомякова. Россия как миролюбивое государство [27] должна выступить освободительницей и объединительницей славян. В этом заключается, по его мнению, всемирно-историческая миссия русского самодержавия.

И ждут окованные братья,  
Когда же зов услышат твой,  
Когда ты крылья как объятья,  
Прострешь над слабой их главой...  
О, вспомни их, орел полночи!  
Пошли им звонкий твой привет,  
Да их утешит в рабской ночи  
Твоей свободы яркий свет!

Местом сбора славян должен стать Киев – «русской славы колыбель». Лейтмотивами славянского единства у Хомякова выступают мир и духовность. Они могут изображаться в образах природной чистоты: *тихий, светлый ключ, кристальная глубина, небо голубое, зеленый дол* и т. д., православия: *главы церквей золоченые, духовная жажда, святое лоно, жизнь духа, дух жизни, чистая купель, молитва славянская, святой Кирилл* и т. д., родства: *родные братья, дети матери одной, славянские братья* и т. д.

Что касается непосредственно польской тематики, то в дальнейшем Хомяков не избежал общего представления об исторической вине Польши перед Россией:

Братцы, где ж сыны Вольны?  
Галич, где твои сыны?  
Горе, горе! их спалили  
Польши дикие костры;  
Их сманили, их пленили  
Польши шумные пиры.

Меч и лесть, обман и пламя  
Их похитили у нас;  
Их ведет чужое знамя,  
Ими правит чуждый глас.

Однако это не устраняло в глазах Хомякова необходимость быть милосердным к поверженной Польше. Чем явственнее проявлялась антипольская направленность политики Николая I, тем настойчивее поэт призывал к милосердию. Николай после подавления восстания, которое так и не получило европейской вооруженной поддержки, практически почувствовал собственную безнаказанность и уже не считал нужным как-то маскировать свою ненависть к полякам. Французский посол в России П. Де Баррант неоднократно в своих донесениях отмечал последовательное стремление Николая уничтожить все признаки польской народности. «Редко случается, – писал Баррант, – чтобы победитель испытывал к побежденному злобу столь сильную и презрение столь высокомерное» [28]. На этом фоне стихотворение Хомякова «*Ritterspruch – Richterspruch*» [29] звучит явным диссонансом с политикой Николая. Поляки, даже если они виноваты, заслуживают рыцарского прощения, а кара поверженного врага позором ложится на того, кто ее осуществляет.

Стихотворение Хомякова «Внимайте голос истребленья!» Николаю не понравилось и сначала не было пропущено цензурой. Царь лично наложил резолюцию «Не дозволять». Но уже в

следующем, 1831 году, оно было опубликовано в переводе на немецкий язык вместе с переводами стихотворений Пушкина и Жуковского [30]. Возможно, Николаю не понравился миротворческий пафос хомяковского стихотворения, а также то, что там не была подчеркнута предательская роль поляков. Не вдохновляла царя и идея славянского единства. Она явно не вписывалась в тот внешнеполитический курс, который в это время он стремился проводить. Панславизму Николай противопоставлял чисто национальный патриотизм «не из славянства, игрою фантазии созданного, а из начала русского, без всякой примеси современных идей патриотических» [31]. Такая установка определяла достаточно умеренные внешнеполитические претензии России на рубеже 1820 – 30-х гг. Свой международный долг Николай видел не в защите и освобождении славянских народов, а в следовании принципам Священного союза, который им воспринимался лишь как контрреволюционная сила, свободная от всех евангельских наслоений.

Летом 1830 г. Николай I и великий князь Константин Павлович обсуждали идею европейского крестового похода против революционной Франции. Константин явно не желал вмешиваться во внутренние дела Франции, опасаясь, «что рано или поздно то же оружие могут повернуть против нас самих». Николай же оставался непоколебимым, полагая, что «по части начал непреложных, священных никогда не следует оставлять места сомнениям». Видя свой долг в следовании «началам, унаследованным нами от нашего покойного ангела» [32], Николай не мог и не хотел приспособляться к изменившейся внешнеполитической конъюнктуре. В своей политической «исповеди» царь с благородной обреченностью писал о новом и одиноком положении России в мире, которое вместе с тем «почетное и достойное нас» [33]. Фактически придерживаясь нового принципа невмешательства во внутренние дела государств, Николай идеологически так и не смог с ним примириться.

8 сентября, в день Бородинской годовщины, Варшава была взята русскими войсками. Несмотря на то, что против поляков были брошены лучшие силы русской армии под командованием сначала И. И. Дибича, а потом И. Ф. Паскевича, лучшего с точки зрения Николая полководца, восстание было подавлено с большим

трудом, ценой множества жизней с обеих сторон. И уже этот факт сам по себе придавал этому событию неординарный характер. Оно могло осмысляться и как национальный позор, и как крупная победа над сильным и коварным врагом. Вторая точка зрения автоматически придавала победе над Польшей поэтическую окраску. Сам Николай видел в этом исправление исторической ошибки, совершенной Александром I – творцом конституционного Царства Польского, что было отмечено символически. По воспоминаниям Бенкендорфа, после подавления восстания в Москву «привезли <...> все знамена и штандарты бывшей польской армии, и государь приказал поставить их в Оружейную палату, в числе трофеев, скопленных тут веками. Там же, на полу, у подножия императора Александра, была положена и хартия, некогда им пожалованная царству Польскому». Сам Николай личным письмом благодарил за это И. Ф. Паскевича: «Спасибо за charte constutionnelle и за знамена; все здесь храниться будет в Оружейной палате, как памятник великодушия нашего Александра I-го и польской благодарности, равно как твоей славы и храброго нашего войска» [34].

Все это могло быть воспринято как социальный заказ на торжественную оду. Исполнителем такого заказа выступил Д. П. Рунич, опубликовавший в сентябре 1831 г. в отдельной книжке три стихотворения «На победы русских в Польше», «На победы князя Варшавского» и «К портрету князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского». Все они представляют собой по сути дела стихотворное переложение расхожих штампов о предательстве поляков и о мужестве и героизме русских войск. Тогда же появилась и другая брошюра – «На взятие Варшавы», включающая стихотворения В. А. Жуковского «Русская песнь», А. С. Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Если стихотворение Жуковского отличается от стихов Рунича лишь уровнем поэтического мастерства и фактически содержит те же пропагандистские штампы и стилистические приемы, то пушкинские тексты содержат в себе развернутую идеологическую программу, представляющую ответ на антирусские выступления французских депутатов и формулирующую новые принципы международной политики.

Собственно польский вопрос, как считает Пушкин, «легко решить: <...> у нас будет Варшавская губерния, что должно было случиться 33 года назад» [35]. Проблема заключается не в самом решении этого вопроса, а в международном признании за Россией права самостоятельно его решать. Отношение к самому восстанию поляков у Пушкина сформировалось в результате осмысления итогов восстания декабристов, с одной стороны, и неприятия зарождающейся буржуазной цивилизации, с другой. 14 декабря 1825 г. показало невозможность добиться политических перемен в России вооруженным путем. Единственный путь позитивных изменений – это правительственные реформы. Поэтому общественное мнение должно поддерживать Николая I в его реформаторских намерениях. Восстание поляков принесло двойное зло. Во-первых, оно явилось тормозом на пути преобразований, начатых Николаем, а во-вторых, оно обострило отношения России и европейских стран, в первую очередь Франции. Какое-то время Пушкин считал, что новая война с французами неизбежна. «Того и гляди навяжется на нас Европа» [36] – писал он Вяземскому 1 июня 1831 г.

Ассоциации с 1812 годом приходили самими собой. Их усиливал тот факт, что одним из информаторов Пушкина, находящегося в Болдино, о польских и европейских делах была дочь М. И. Кутузова Е. М. Хитрово. В письме к ней от 9 декабря 1830 г. Пушкин напомнил «кровавое слово» (*le mot sanglant*) «маршала, вашего отца. Когда он въезжал в Вильно, поляки бросились к его ногам. Встаньте, сказал он им, помните, что вы Русские» [37]. А спустя полгода Пушкин, в момент, когда «позволительно было утратить мужество» [38], пишет оду «Перед гробницею святой», посвященную М. И. Кутузову. Кутузов представлен в оде как человек XVIII в., «остальной из стаи славной екатерининских орлов». Упоминание екатерининской эпохи в контексте польских событий, конечно же, не случайно. Еще в 1822 г., находясь на пике оппозиционных настроений, Пушкин в так называемых «Заметках по русской истории XVIII века», давая в целом отрицательную оценку личности и правления Екатерины II, поставил ей в заслугу разделы Польши: «Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского наро-

да» [39]. Тогда эти слова звучали как протест против пропольской политики Александра I. В уже цитированном письме к Хитрову от 9 декабря 1830 г. Пушкин довольно резко отозвался о восстановлении Польши Александром I: «Ничего из того, что сделал Александр не может существовать, потому что ничто не основывается на истинных интересах России, а лишь на соображениях личного тщеславия и театрального эффекте» [40]. Поляков «надобно задушить и наша медлительность мучительна» [41], – писал он Вяземскому 1 июня 1831 г. после получения известия о сражении при Остроленке. Примерно в это же время на вопрос Е. Е. Комаровского «Отчего не веселы, Александр Сергеевич?» Пушкин ответил: «Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году!» [42].

В личности Кутузова для Пушкина сошлись различные линии размышлений, вызванных Польским восстанием: и екатерининская политика в отношении Польши как удачный пример решения проблемы, и спасение России в 1812 году, и отсутствие выдающегося военачальника, способного быстро «задушить» поляков. Сам Пушкин позже в сентябрьском письме к Хитрову, посылая ей оду, так охарактеризовал свое душевное состояние, в котором она была написана: «У нас нет слова, которое выражало бы слово *résignation*, хотя это состояние души или если хотите свойство, совершенно русское. Слово *Столбняк* передает его с наибольшей верностью» [43].

Стихотворение строится на переплетении мотивов смерти и славы. При этом смерть представлена не как небытие, а как сон. Начинается стихотворение как историческая элегия: герой посещает «гробницу святую», окруженную атрибутами славы – «знамен нависший ряд». Атмосфера молчания («все спит кругом») дополняется контрастными световыми характеристиками: «лампады во *мраке* храма *золотят...*» (курсив мой. – В. П.).

Далее следует одическая риторика, воспевающая Кутузова как полководца и государственного деятеля XVIII в.:

Маститый страж страны державной,  
Смиритель всех ее врагов,

Сей остальной из стаи славной  
Екатерининских орлов.

Переход от элегии к оде отмечен мотивом пробуждения. Гроб неожиданно ассоциируется не со смертью, а с жизнью, причем в максимальном ее проявлении: *В твоём гробу восторг живет!* С третьей строфы доминирующими являются звуковые характеристики, строящиеся вокруг дважды повторяемого слова «глас». Кутузов ассоциируется с былинным богатырем, сидевшим сиднем, потом вставшим и спасшим страну от внешних врагов: ««Иди, спасай!» – ты встал и спас». Если во второй строфе Кутузов представлен как государственный деятель, то в третьей как национальный герой с соответствующими атрибутами народности: *русский глас, народный веры глас, святая седина*.

Государственность и народность Кутузова в четвертой строфе соединяются в образе грозного старца, с которым связываются надежды на подавление польского восстания: «Встань и спасай царя и нас». Заканчивается стихотворение возвращением к начальной ситуации могильной тишины. Только теперь сон ассоциируется не с пробуждением, а с вечным покоем:

И тих твоей могилы бранной  
Невозмутимый, вечный сон.

До взятия Варшавы Пушкин не предавал это стихотворение огласке, да и после подавления восстания он послал оду только Хитрово. В печати же появились совсем другие стихи: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Причины понятны: в оде говорилось о слабости военного положения России весной-летом 1831 г., а в опубликованных стихах главным являлось воспевание государственной мощи России.

Почти одновременно с «Перед гробницею святой» Пушкин написал письмо Вяземскому, в котором подробно изложил свой взгляд на польские дела. Вяземский, как известно, был на стороне поляков, и Пушкин, отчасти из желания ему потрафить, допускает, что польское восстание «хорошо в поэтическом отношении» [44].

Но дальше он излагает свое политическое понимание событий: «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная разпря, мы не можем судить ее по впечатлениям Европейским, каков бы ни был впрочем наш образ мыслей».

Последняя фраза весьма существенна: отношение к польскому восстанию не должно зависеть от отношения к правительству Николая I. Этим Пушкин значительно расширяет контекст восприятия польских событий. Они касаются не лично Николая I, а затрагивают коренные российские интересы, которые глубоко чужды Европе, впрочем так же, как и европейские интересы чужды России. Отсюда следует новый принцип международных отношений – принцип невмешательства: «Выгода почти всех правительств держаться в сем случае правила non-intervention [45], т. е. избегать в чужом пиру похмелья. <...> Щастие еще, что мы прошлого году не вмешались в последнюю французскую передрагу! А то был бы долг платежем красен» [46].

Итак, в этом письме Пушкин сформулировал те политические принципы, которые чуть позже отразятся в «Клеветникам России» и «Бородинской годовщине». Суть этих принципов в следующем:

– Взаимоотношения России и Польши – дело сугубо внутреннее, и Европа не в праве в него вмешиваться.

– В международных отношениях действует принцип невмешательства во внутренние дела.

– Россия не вмешивалась в революционные события во Франции и в Бельгии, и эти страны соответственно не должны вмешиваться в русско-польский конфликт.

Стихотворение «Клеветникам России» начинается с риторического вопроса, обращенного к французским депутатам:

О чем шумите вы, народные витии?  
Зачем анафемой грозите вы России?  
Что возмутило вас? волнение Литвы?

И далее следует уже знакомый тезис:

Оставьте: это спор славян между собою,  
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,  
Вопрос, которого не разрешите вы.

Этот спор – не внезапно вспыхнувшая борьба поляков за свою свободу, а продолжение длительных и мучительных русско-польских отношений, уходящих корнями в глубину веков:

Уже давно между собою  
Враждуют наши племена;  
Не раз клонилась под грозою  
То их, то наша сторона.

Исход конфликта представляется Пушкину в виде альтернативы:

Кто устоит в неравном споре:  
Кичливый лях или верный росс?  
Славянские ль ручьи сольются в общем море?  
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Только Россия – единственное в мире независимое славянское государство – может представлять славянский мир в целом. Поэтому восстание других славянских народов против нее есть проявление этнического эгоизма, вредящего общеславянскому делу. Между тем, речь не идет, как у Хомякова, о панславизме. Пушкин мыслит не столько этническими, сколько имперскими категориями. Для него главное – государственная целостность России «от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды». При этом Россия изображается Пушкиным как мир, обороняющийся и все время одерживающий победы, а Европа – как мир агрессивный и терпящий поражения. Собственно польская тема занимает в стихотворении периферийное положение. Его непосредственным адресатом являются французские депутаты – «народные витии». Обозначив русско-польский конфликт как «спор славян между собою», Пушкин не считает нужным давать отчет в нем своим идейным врагам. Поэтому в центре и

«Клеветникам России», и «Бородинской годовщины» находится другой спор: России и Европы. Европа так же, как и Польша, была побеждена Россией и будет побеждена вновь, если выйдет против нее «своих озлобленных сынов».

Таким образом создается миф о непобедимости и непогрешимости России, который больше всего возмущал Вяземского, но который должен был стать краеугольным камнем новой государственной идеологии. Массированная атака французской либеральной прессы и палаты депутатов на Россию за ее действия в Польше поставила вопрос об ответном ударе. Невмешательство России во внутренние дела революционных Франции и Бельгии не только не получило никакого идеологического закрепления, но осознавалось и Европой, и самим Николаем I как проявление военно-государственной слабости. В то время как Николай уже обдумывал детали предстоящей военной операции против Бельгии, государственный канцлер К. В. Нессельроде прямо писал И. И. Дибичу об отсутствии у России материальных средств для ведения такой войны: «холера-морбус господствует в очень многих губерниях, которые посему пришлось освободить от рекрутского набора; внутренняя торговля остановилась вследствие мер, кои пришлось принять для воспрепятствования распространению этого бича, и мы не уверены в том, что он и здесь не настигнет нас, так как говорят о его появлении уже около Тихвина. Урожай был дурен, и поступление податей идет плохо. Вот под какими предзнаменованиями мы приступаем к приготовлениям к войне, последствия которой один лишь Бог может предвидеть» [47]. Начавшееся вскоре польское восстание окончательно сорвало планы Николая осуществить вооруженную интервенцию в Европу.

Пушкин же считал, что Европа должна в этом видеть не слабость России, а следование ее новым политическим принципам. Идеология Священного союза устарела и должна быть заменена новой, и сам поэт считал своим долгом принять непосредственное участие в ее разработке. Летом 1831 г. на имя Бенкендорфа Пушкин подает записку, в которой пишет, что «с радостью взялся бы за редакцию *политического журнала*, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы

я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению» [48]. В черновике поэт более откровенно заявлял о своей готовности сделать этот журнал проводником государственной идеологии: «Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растрavляемая завистию, соединила всех нас противу Польских мятежников; озлобленная Европа нападает покамест на Россию, не оружием, но ежедневной, бешеной клеветою – [Пр<авительства>] конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны... Пускай позволят нам, Русским писателям отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет». Как следует из дальнейшего, речь идет не о временном союзе писателей и правительства против европейских нападков на Россию за Польшу, а о постоянном сотрудничестве на идеологической почве. «Правительству, – продолжает Пушкин, – легко будет извлечь из них всевозможную пользу, когда бог даст мир и государю досуг будет заняться устройством успокоенного государства, ибо Россия крепко надеется на царя; и истинные друзья Отечества желают ему царствования долголетнего» [49].

В пушкинских текстах периода Польского восстания имя царя используется как символ отечества. Польское восстание еще раз продемонстрировало неоднородность населения России и актуализировало проблему государственной целостности. Это, в свою очередь, поставило вопрос о силе, которая могла бы в себе воплощать единство империи. Наиболее естественной и авторитетной здесь была мысль, неоднократно высказываемая просветителями, что монархия наиболее подходящая форма правления для обширных государств. Эта мысль применительно к России со всей определенностью была сформулирована Екатериной II в ее «Наказе»: «Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно» [50]. Для Пушкина монархия в первую очередь является антитезой деспотизма. Гарантию того, что монархия не является деспотизмом, Пушкин, как и Монтескье, видит в наличии дворянства как социокультурной силы. «Монархическое правление имеет одно большое преимущество перед деспотиче-

ским. Так как самая природа этого правления требует наличия нескольких сословий, на которые опирается власть государя, то благодаря этому государство получает большую устойчивость; его строй оказывается более прочным, а личность правителей – в большей безопасности» [51]. Более определенно Монтескье выразился в другом месте: «В монархии, где нет дворянства, монарх становится деспотом» [52].

С этих позиций Пушкин не приемлет петровскую Табель о рангах, размывающую корпоративную замкнутость дворянства и открывающую путь правительственному деспотизму. Еще в «Заметках по русской истории XVIII века» Пушкин писал, что при Петре I «все состояния, окованные без разбора, были равны пред его *дубинкою*» [53]. После поражения восстания декабристов Пушкин, находясь под обаянием личности Петра и абсолютизируя идею исторической необходимости и правоты самодержавия, увидит в ней воплощение сильного государственного порядка. Однако в 1829 г. его взгляды претерпят существенные изменения, и появится представление о человеке как мериле исторического процесса [54]. А вместе с этим встанет вопрос о силе, способной уравновесить самодержавие и гарантирующей права отдельной личности. Такой силой, в представлении Пушкина, является родовое дворянство, униженное реформами Петра. Поэтому распространившиеся в 1830 г. слухи об отмене Табели о рангах [55] воспринимались с надеждой на то, что русское самодержавие, восстановив древние права дворян, вступит на цивилизованный путь. По этому поводу Пушкин писал П. А. Вяземскому 16 марта 1830 г.: «Государь уезжая оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции Революции Петра <...> правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных – вот великия предметы» [56].

Пообещав своему корреспонденту «пуститься в политическую прозу», Пушкин начинает писать серию статей о роли и значении русского родового дворянства, к которому принадлежит и он сам. Как и Монтескье, Пушкин считает, что основным принципом монархии является *честь* – корпоративная принадлежность

дворянства. Честь предполагает естественное неравенство подданных, стоящих в различной близости к престолу, поэтому она невозможна в республиках, где все равны пред законом, и в деспотиях, где все равны перед деспотом. Честь заставляет дворянина служить монарху: «быть всегда готову по первому призыву *du souverain*» [57], но она же защищает его от незаконных покушений монарха. Угроза деспотизма, по мысли Пушкина, заключается не только и может быть даже не столько в покушениях монарха на права дворянства, сколько в стремлении новой знати сравняться со старым дворянством: меньшее дворянство уничтожило местничество и боярство [58]. В местничестве Пушкин видел охрану наследственных прав боярства, которые в свою очередь являлись «гарантией его независимости». Новая знать, лишенная тех преимуществ, которые связаны с родовой принадлежностью и передаются по наследству, полностью зависит от монарха и лишена таких необходимых в монархии качеств как оппозиционность и независимость. Без них монархия вырождается в деспотизм, отличительными чертами которого, в представлении Пушкина, являются «жестокые законы и мягкие нравы» [59].

Отстаивая в полемике с Полевым мысль об особом, неевропейском пути России, Пушкин сам мыслит европейскими категориями. Сравнивая положение русской и европейской аристократии, он приходит к выводу о том, что русское боярство, в отличие от европейских феодалов, не боролось за свои права с великими князьями, и не в силах было ограничить развивающееся самодержавие. «Одна фамилия, варяжская властвовала независимо, добиваясь великого княжества». В этом смысле «феодализма у нас не было и тем хуже» [60].

В настоящей монархии, по мысли Пушкина, должен сохраняться баланс между властью монарха и правами дворянства. Дворянин должен служить царю, но сама это служба мыслится не только как обязанность, но и как право, доставшееся ему по наследству от предков. Об этом необходимо не только помнить, но и напоминать царю. Сама древность рода является гарантией независимого положения дворянина. В 1834 г. в разговоре с великим князем Михаилом Павловичем Пушкин сказал: «Мы такие

же знатные дворяне, как Император и Вы» [61]. Эта фраза звучала явно полемически. С точки зрения европейского феодализма, Пушкины, ведущие свой род с XIII в., действительно ничем не уступали Романовым, но, как писал С. Б. Веселовский, «в Московской Руси место человека на лестнице служилых чинов, служебный уровень, на который он имел основание и право претендовать, определялись не только происхождением, но и сочетанием служебной годности и служб человека с учетом его родовитости, то есть служебного уровня его «родителей», родичей вообще, а в первую очередь его прямых предков – отца, деда и т. д. по прямой и ближайшей линии» [62]. Это обстоятельство унижало знать, делая ее прислужницей великого князя, и Пушкины, конечно же, по знатности уступали Романовым. Но, связывая свое значение с древностью своего рода и желая оградить дворянство от проникновения в него выходцев из других социальных слоев, Пушкин тем самым выступает как идеолог монархии европейского типа в ее классическом виде, описанном Монтескье.

Польское восстание пришлось на время надежд на то, что Николай возвысит дворянские роды, упразднив Табель о рангах и восстановив жесткие сословные перегородки.

Свою миссию как потомственного дворянина Пушкин понимал не в оппозиционных декларациях, а в служении монарху и защите своей чести. Идея свободы для него связывалась не с определенным типом политического устройства, а с личной независимостью. Поэтому он допускал, что царь имеет право казнить и поляков, и декабристов, но не мог допустить, что тот вправе читать его семейную переписку: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (*inviolabilité de la famille*) невозможно: каторга не в пример лучше» [63].

Не случайно незадолго до польского восстания внимание Пушкина привлекла речь Ф. Р. Шатобриана в палате депутатов, произнесенная 7 августа 1830 г. и опубликованная в «*Moniteur Universel*» 11 августа. «Я умираю от желания прочесть речь Шатобриана в защиту герцога Бордоского» [64], – писал Пушкин 21 августа Е. М. Хитрово. В этой речи Шатобриан проводит мысль, что наследственная монархия – единственная форма правления,

способная обеспечить политическую стабильность при сохранении прав отдельной личности. Идее народного суверенитета он противопоставляет внутреннюю свободу личности, основанную на соблюдении ее естественных прав: «Абсолютная независимость не существует нигде; свобода проистекает не из политического права, как полагали в восемнадцатом веке, она происходит из права естественного, фактически она существует при всех формах правления и монархия может быть свободна и гораздо в большей степени свободна, чем республика». Шатобриан понимает, что современная монархия утратила идею божественного происхождения, более того, сам принцип наследственной монархии может показаться на первый взгляд абсурдным, но исторически, в силу обычая (*par usage*), он оказался более предпочтительным, чем выборная монархия. Это, по мысли Шатобриана, объясняется тем, что наследственная монархия «лучше всего вносит порядок в свободу». Таким образом, форма государственного правления не должна быть предметом людского выбора. Выбор делается самой историей, независимо от людских страстей. Шатобриан подчеркивает, что лично он ничего не имеет против Луи-Филиппа Орлеанского: «Если бы я имел право распоряжаться короной, то я охотно положил бы ее к ногам герцога Орлеанского. Но я вижу вакантной только могилу в Сан-Дени, а не трон» [65].

Эта речь во многом была близка Пушкину в 1830 г. Как и Шатобриан, он видит в монархии исторически сложившуюся силу, способную обеспечить и политическую стабильность, и личную независимость. Как и Шатобриан, он считает, что свобода достигается не сменой политических институтов, а внутренней культурой человека, основанной на чести и чувстве собственного достоинства.

Таким образом, выступая против поляков и стоявших за ними французских политиков, Пушкин поступал как дворянин, поддерживающий своего монарха. Но эта поддержка имела четко обозначенные границы. Он понимал, что само социальное происхождение историческими узами связывает его с монархией: «водились Пушкины с царями». Он готов был поддерживать Николая-царя, но не Николая-деспота. Ему в равной степени были чужды как оппозиционеры, желавшие поражения русским войскам в Польше, так

и новая знать, пролагавшая путь правительственному деспотизму. Николая мало интересовали монархические убеждения Пушкина. Идея порядка, основанная на нивелировке сословных прав пред лицом престола, была ему значительно ближе. Если взгляды царя и поэта на Польское восстание и совпали, то это совпадение питалось различными политическими идеями.

Оттенки в политических настроениях Пушкина и Николая I в 1830 г. далеко не всегда ощущались современниками. Вяземский открыто обвинял его в политическом сервилизме: «*Народные витии*, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи подобные вашим» [66]. Н. И. и А. И. Тургеневы считали, что в Пушкине «есть еще варварство» [67]. С другой стороны, Чаадаев назвал Пушкина «национальным поэтом», заметив, что в «Клеветникам России» «больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране» [68]. На первый взгляд, отзыв восторженный, и А. И. Тургенев описывает в цитированном выше письме к Н. И. Тургеневу спор в Английском клубе, во время которого «мы немного нападали на Чаадаева за его мнение о стихах» [69] Пушкина.

Но если вдуматься и взять во внимание чаадаевскую оценку русских как нации рабов, погрязшую в варварстве и невежестве, ведущую темное существование вдали от мировой цивилизации, то его оценка Пушкина как национального поэта и даже русского Данте окажется весьма двусмысленной. Однако при этом Чаадаев, как и Пушкин, был противником отделения Польши. Не касаясь Польского восстания как такового и действий русского правительства в отношении Польши, Чаадаев в небольшой заметке, написанной по-французски как ответ польским депутатам, пытается прояснить историю польского вопроса. Противопоставляя «невежеству» французов «беспристрастный и хорошо осведомленный ум», Чаадаев считает, что поляки, в силу своей малочисленности, не могут образовать самостоятельного государства. «Знаменитая польская республика» в основном состояла из малороссов и бело-

русов. Этнические поляки были в меньшинстве, хотя и занимали господствующее положение и угнетали польское большинство. Следствием этого стали разделы Польши. Таким образом, по Чаадаеву, распалось не единое государство, а принудительное объединение народностей. Именно это делает идею восстановления Польши невозможной. Как и Пушкин в «Клеветникам России», Чаадаев ставит вопрос о слиянии славянских народов в русском государстве: «... первоначально Российская империя была лишь объединением нескольких славянских племен, которые приняли свое имя от пришедших Руссов, как нам сообщает Несторова летопись, и что поныне это все тот же политический союз, объединяющий две трети всего славянского племени, – единственный среди всех народов того же племени, ведущий независимое существование и на самом деле представляющий славянское начало во всей его неприкосновенности». Чаадаев намеренно избегает политических вопросов. Европейскому осмыслению польской проблемы в категориях «свобода – деспотизм» он противопоставляет фактор национального существования. При такой постановке вопроса поляки оказываются перед выбором: либо сохранить свою национальную идентичность в союзе славянских племен, либо, получив эфемерную государственность, тут же ее утратить вместе со своей национальностью в составе Австрии и Пруссии. «В соединении с этим большим целым поляки не только не отречутся от своей национальности, но таким образом еще больше укрепят ее, тогда как в разъединении они неизбежно подпадут под влияние немцев, чье поглощающее воздействие испытала на себе значительная часть западных славян» [70].

Любопытно, что Чаадаев нигде не дает оценки ни восстанию поляков, ни действиям русских войск. Вывод напрашивается сам собой: Россия как гарант польской национальности имеет право на подавление мятежа, во имя сохранения славянского единства.

Более отчетливо эти мысли выразил Ф. И. Тютчев в стихотворении «Как дочь родную на закланье», написанном по горячим следам взятия Варшавы [71]. Как полагает А. Л. Осповат, поводом для написания этого стихотворения послужили стихи Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Особен-

ность позиции Тютчева заключается в том, что, находясь на дипломатической службе в Мюнхене, он смотрит на польские дела из Европы. Будучи при этом русским патриотом, он считает, что Россия может укрепить свои позиции в Европе только во главе славянского мира. Поэтому поддержка поляков со стороны западной (немецкой) либеральной прессы [72] подрывает престиж России и требует от нее принести польскую независимость в жертву славянскому единству. Если Хомякова вдохновляет идея панславизма, а Пушкина идея империи, то Тютчева, как и Чаадаева, интересует прежде всего миссия России как хранительницы славянской самобытности. Ее историческую задачу он видит в том, чтобы

Славян родные поколенья  
Под знамя русское собрать  
И весть на подвиг просвещенья  
Единомысленных, как рать.

Ради этого просвещенья Польша была принесена в жертву. В отношении польского восстания и его подавления Тютчев расходится как с Хомяковым, призывающим прекратить «кровавый бой», так и с Пушкиным, видящим в действиях русских войск всего лишь подавление бунта: «и бунт раздавленный умолк». Тютчев же расправу над Польшей осмысляет в категориях античной трагедии:

Как дочь родную на закланье  
Агамемнон богам принес,  
Прозя попутных бурь дыханья  
У негодующих небес, –  
Так мы над горестной Варшавой  
Удар свершили роковой,  
Да купим сей ценой кровавой  
России целость и покой!

Россия Тютчевым мыслится иначе, чем Пушкиным. Для него важна антитеза «самодержавие – народ»: *Не за коран самодержавья кровь русская лилась рекой:*

Другая мысль, другая вера  
У русских билася в груди!

Подавление польского восстания русским самодержавием у Тютчева трансформируется в мистическую картину принесения в жертву одним народом другого ради высшей идеи народного братства:

Сие-то высшее сознание  
Вело наш доблестный народ  
Путей небесных оправданье  
Он смело на себя берет  
Он чует над своей главою  
Звезду в незримой высоте  
И неуклонно за звездою  
Спешит к таинственной мечте!

Если у Пушкина вопрос об исторической ответственности русских перед Польшей не ставится вообще, то у Тютчева появляется мотив братоубийственной вины, которая искупается обещанием исполнить то, во имя чего Польша была принесена в жертву:

Верь слову русского народа:  
Твой пепл мы свято сбережем,  
И наша общая свобода,  
Как феникс, зародится в нем [73].

Перефразируя лозунг польских повстанцев «за нашу и вашу свободу», с которым они обращались к русским войскам, надеясь повернуть их штыки против Николая I, Тютчев вместе с тем переосмысляет его. Из частного и разделительного – русские и поляки свободны по раздельности – он становится общим и объединительным: поляки утрачивают право своей государственности, но получают взамен равноправное место в общеславянском свободном мире.

Поэтическое осмысление темы польского восстания имело прямой выход на создание государственной идеологии. Мир, потрясемый революциями и национально-освободительным движением,

менялся на глазах. Положение России, которая, с одной стороны, отстаивала свободу Греции, а с другой – отказывала Польше в независимости, было довольно сложным. Идея Священного союза не соответствовала реалиям нового политического пространства. На этом фоне кризис официальной доктрины был очевиден. Поэтому русские поэты, касаясь польских событий, создавали определенные идеологические модели, в которых содержалась новое понимание места России в мировой политике. Хомяков и Тютчев, высказывая идеи панславизма, очерчивали историческую миссию России, которую они видели в освобождении и возрождении славянских народов: Россия во главе славянского мира против романо-германского. Пушкин, отстаивая принцип невмешательства, как новый принцип европейской политики, проводил черту, разделяющую Российскую империю в тех границах, в которых она исторически сложилась, и Западную Европу. Обе эти политические доктрины размывали идею Священного союза и уже в силу этого были неприемлемы для Николая I. Его представления о европейском порядке мало изменились со времен Венского конгресса. Принцип невмешательства он расценивал как проявление слабости, и идея славянского единства была ему глубоко чужда. Ей он противопоставлял идею русского патриотизма, понимаемую как единение всех сословий вокруг престола. Так подготавливалось рождение знаменитой триады «самодержавие, православие, народность», которая вскоре восполнит идеологический вакуум, возникший на рубеже 1820-х – 1830-х гг.

1. *Беляев М. Д.* Польское восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово // Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. Л., 1927; *Францев В. А.* Опыт исторического комментария к стихотворениям «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Пушкинский сб. Прага, 1929; *Эйдельман Н. Я.* Лунина. М., 1970. С. 231 – 239; *Перцева Т. А.* Польский вопрос в публицистике М. С. Лунина // Сибирь и декабристы. Иркутск, 1981. С. 37 – 56; *Осват А. Л.* Пушкин, Тютчев и польское восстание 1830 – 1831 годов // Пушкинские чтения в Тарту. Тезисы докладов научной конференции 13 – 14 ноября 1987 г. Таллин, 1987. С. 49 – 52; *Рудницкая Е. Л.* Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 года. М., 1999. С. 125 – 133; *Lednicki W.* Alexander Pouchkine. Kraków, 1926.

2. *Вяземский П. А.* Записные книжки (1813 – 1848). М., 1963. С. 212 – 213.
3. Ср. у Ходасевича:  
Из памяти изгрызли годы  
За что и кто в Хотине пал,  
Но первый звук Хотинской оды  
Нам первым криком жизни стал.  
(*Ходасевич В. Ф.* Стихотворения. Л., 1989. С. 302).
4. *Вяземский П. А.* Указ. соч. С. 212.
5. *Лотман Ю. М.* П. А. Вяземский и движение декабристов // Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958 – 1993). СПб., 1997. С. 516.
6. Цит. по: *Свердлов М. Б.* Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII–XX вв. СПб., 1996. С. 69.
7. *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Кн. 4. С. 4 – 5.
8. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1958. Т. VII. С. 144.
9. *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый: В 2-х т. СПб., 1903. Т. I. С. 331.
10. Сб. РИО. Т. 98. СПб., 1896. С. 114 – 117.
11. Там же. Т. 90. С. 467 – 468.
12. *Богданович Т.* Французская эмиграция, вопрос об интервенции, империя, июльская революция в свидетельствах русского вельможи (Из неизданных бумаг графа Виктора Кочубея) // *Анналы.* 1924. № 4. С. 131 – 132.
13. В разговоре с А. де Кюстином Николай I говорил: «Мне понятна республика, этот способ правления ясный и честный, либо по крайней мере может быть таковым; мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей; но мне непонятна монархия представительная. Этот способ правления лживый, мошеннический, продажный, и я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него» (*Кюстин А. де* Россия в 1839 году. М., 1996. Т. 1. С. 212). В воспоминаниях великой княгини Ольги Николаевны содержится более откровенное признание Николая I в симпатии к республиканскому строю: «По своему убеждению я республиканец. Монарх я только по призванию. Господь возложил на меня эту обязанность, и покуда я ее исполняю, я должен нести за нее ответственность» (Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности. Париж, 1963. С. 135).
14. Цит. по: *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 2. С. 283.
15. Там же. С. 280.
16. *Кюстин А. де.* Указ. соч. Т. 1. С. 212.
17. *Военский К.* Император Николай и Польша в 1830 году. Материалы для истории польского восстания 1830 – 1831 гг. Перевод с рукописи Фаддея Вылижинского. СПб., 1905. С. 48, 75.

18. *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 2. С. 324.

19. Там же. С. 334. Агрессивность Николая по отношению к полякам, макирующаяся под защитой «политического бытия России», после подавления восстания приняла совершенно откровенные формы. Так, например, в 1835 г., выступая в Варшаве перед польскими депутатами, он заявил: «Если вы будете упрямо лелеять мечту отдельной национальности, независимости Польши и все эти химеры, вы только накликаете на себя большие несчастья. По повелению моему воздвигнута здесь цитадель, и я вам объявляю, что при малейшем возмущении я прикажу разгромить ваш город, я разрушу Варшаву и уж, конечно, не я отстрою ее снова» (Русская старина. 1873. май. С. 680).

20. *Карамзин Н. М.* Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Т. 1. С. 5.

21. *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 2. С. 344 – 345.

22. *Погодин М. П.* Исторические размышления об отношении Польши к России // Телескоп. 1831. № 7. С. 303 – 304.

23. Там же. С. 307.

24. *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 3. С. 273.

25. 26 ноября 1830 г. вскоре после начала польского восстания, вспыхнувшего 17 ноября, Николай I обратился к группе офицеров и Инженерном замке с призывом подавить революцию и добавил: «Прошу вас, господа, поляков не ненавидеть: они наши братья. В мятеже виновны немногие злонамеренные люди» (*Хомяков А. С.* Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 552 – комментарий Б. Ф. Егорова).

26. Там же. С. 553.

27. Как и многие славянофилы, Хомяков считал, что «на нашей первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основанием государству русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщения» (*Хомяков А. С.* Сочинения: В 2 Т. М., 1994. Т. 1. С. 469). О миротворческих идеях Хомякова см.: *Рудницкая Е. Л.* Мир без войны: Русское преломление европейской идеи // Отечественная история. 2002. № 3. С. 78 – 81.

28. *Barrante P. de Souveniers.* Paris, 1896. Т. 5. Р. 467.

29. Приговор рыцаря – приговор судьи (нем.).

30. *Хомяков А. С.* Стихотворения и драмы. С. 552.

31. Цит. по: *Пресняков А. Е.* Николай I. Апогей самодержавия // Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М., 1990. С. 298.

32. Цит. по: *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 2. С. 299 – 300.

33. Там же. С. 315.

34. Цит. по: *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 2. С. 386.

35. *Пушкин А. С.* Письма. Т. III. 1831 – 1833. <б. м.> 1935. С. 9.

36. Там же. С. 22.

37. Там же. Т. II. С. 121.

38. Имеется в виду драматический момент, когда после удачного для русских сражения при Остроленке 14 мая 1831 г. И. И. Дибич, видимо, не без давления со стороны Константина Павловича принял решение не идти на Варшаву и тем самым дал возможность полякам оправиться после поражения.

39. *Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 10 т. М., 1958. Т. VIII. С. 128.

40. *Пушкин А. С.* Письма. Т. II. С. 121.

41. Там же. Т. III. С. 22.

42. Русский архив. 1879. Т. I. С. 385.

43. *Пушкин А. С.* Письма. Т. III. С. 49.

44. Там же. С. 22. Такому выводу предшествовало описание героических действий поляка Кржнецкого и его свиты в сражении при Остроленке.

45. Еще раньше принцип невмешательства как новый международный принцип, идущий на смену Священному союзу, Пушкин сформулировал в письме к Хитрово от 8 – 9 февраля 1831 г.: «Великий принцип возникает из недр революции 1830 года: принцип невмешательства, который заместит принцип легитимизма, поруганный от одного конца Европы до другого» (*Пушкин А. С.* Письма к Елизавете Михайловне Хитрово. Л., 1927. С. 88).

46. Там же. С. 22.

47. *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 2. С. 308 – 309.

48. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 16 т. <б. м.>, 1941. Т. XIV. С. 256.

49. Там же. С. 283 – 284.

50. Наказ. С. 4.

51. *Монтескье Ш.* Избранные произведения. М., 1955. С. 209.

52. Там же. С. 176.

53. *Пушкин А. С.* Полное собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. С. 126.

54. Подробнее см.: *Лотман Ю. М.* Пушкин. СПб., 1995. С. 137 – 138.

55. 23 марта 1830 г. М. П. Погодин писал С. П. Шевыреву: «Говорят о больших преобразованиях, уничтожении чинов и проч.; но это все слухи, хотя и достоверные, да без подробностей» (Русский архив. 1882. Кн. 3. С. 162).

56. *Пушкин А. С.* Письма. Т. II. С. 77.

57. *Пушкин А. С.* Полное собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. С. 147.

58. Там же. Т. VII. С. 143

59. Там же. Т. VIII. С. 146.

60. *Пушкин А. С.* Т. VIII. С. 142 – 143.

61. *Пушкин А. С.* Дневник. 1833 – 1835 / С комментариями Б. Л. Модзалевского, В. Ф. Саводника, М. Н. Сперанского. М., 1997. С. 24.

62. *Веселовский С. Б.* Род и предки А. С. Пушкина в истории // Род и предки А. С. Пушкина. М., 1995. С. 73.

63. *Пушкин А. С.* Письма к жене. Л., 1986. С. 59.

64. *Пушкин А. С.* Письма к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827 – 1832. Л., 1927. С. 9.

65. Le Moniteur universel. 1830. 11 aug.
66. *Вяземский П. А.* Указ. соч. С. 214.
67. *Истрин В. М.* Из документов архива братьев Тургеневых // Журнал Министерства народного просвещения. 1913. Ч. LXIV, март. С. 18.
68. *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. Т. 2. С. 72.
69. *Истрин В. М.* Указ. соч. С. 20 – 21.
70. *Чаадаев П. Я.* Указ. соч. Т. 1. С. 515.
71. Уточненную датировку этого стихотворения см.: *Основа А. Л.* Указ. соч. С. 51 – 52.
72. *Пигарев К. Ф. И.* Тютчев и проблемы внешней политики царской России // Литературное наследство. М., 1935. Т. 19 – 20. С. 191 – 192.
73. *Тютчев Ф. И.* Полное собрание стихотворений. Л., 1957. С. 126 – 127.

*Азизова Евгения Наильевна* – аспирант исторического факультета Воронежского государственного университета.

*Вишленкова Елена Анатольевна* – д-р ист. наук, профессор Казанского университета, заведующая кафедрой истории России до XX века.

*Долбилов Михаил Дмитриевич* – канд. ист. наук, доцент исторического факультета Воронежского государственного университета.

*Зверев Василий Васильевич* – д-р ист. наук, профессор Московского педагогического государственного университета.

*Иванов Олег Аркадьевич* – выпускник аспирантуры исторического факультета Воронежского государственного университета.

*Карпачев Михаил Дмитриевич* – д-р ист. наук, профессор исторического факультета Воронежского государственного университета, заведующий кафедрой истории России.

*Кондаков Юрий Евгеньевич* – кан. ист. наук, доцент Российского государственного педагогического университета, С-Петербург.

*Малинова Ольга Юрьевна* – д-р филос. наук, ИНИОН РАН.

*Мартин Александер* – Ph. D., ассоциированный профессор Оглторпского университета, Атланта, Джорджия, США.

*Минаков Аркадий Юрьевич* – канд. ист. наук, доцент Воронежского государственного университета.

*Парсамов Вадим Суменович* – д-р ист. наук, профессор, Саратовский государственный университет.

*Севастьянов Федор Леонидович* – канд. ист. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного горного института (технического университета).

*Шелохаев Валентин Валентинович* – д-р ист. наук, профессор, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), директор Института общественной мысли (ИОМ).

*Ячменских Константин Михайлович* – д-р ист. наук, профессор исторического факультета Черниговского государственного университета, Украина.



Программа “Межрегиональные исследования в общественных науках” была инициирована Министерством образования и науки Российской Федерации, “ИНО-Центром (Информация. Наука. Образование)” и Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) в 2000 г.

Целью Программы является расширение сферы научных исследований в области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фундаментальных и прикладных исследований, развитие уже существующих научных школ и содействие становлению новых научных коллективов в области общественных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимодействия российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ.

Центральным элементом Программы являются девять Межрегиональных институтов общественных наук (МИОН), действующих на базе Воронежского, Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгородского, Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государственных университетов. “ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)” осуществляет координацию и комплексную поддержку деятельности Межрегиональных институтов общественных наук.

Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы на соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общественных и гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым на научные исследования и поддержку академической мобильности.

Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается созданию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессионального развития грантополучателей Программы: проводятся российские и международные конференции, семинары, круглые столы; организуются международные научно-исследовательские проекты и стажировки; большое внимание уделяется изданию и распространению результатов научно-исследовательских работ грантополучателей; создаются условия для участия грантополучателей в проектах других доноров и партнерских организаций.

Адрес: 107078, Москва, Почтамт, а/я 231  
Электронная почта: [info@ino-center.ru](mailto:info@ino-center.ru),  
Адрес в Интернете: [www.ino-center.ru](http://www.ino-center.ru), [www.iriss.ru](http://www.iriss.ru)

*Министерство образования и науки Российской Федерации* является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки, попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

*АНО "ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)"* – российская благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию общественных и гуманитарных наук в России; развития творческой активности и научного потенциала российского общества.

Основными видами деятельности являются: поддержка и организация научных исследований в области политологии, социологии, отечественной истории, экономики, права; разработка и организация научно-образовательных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих ценностях; содействие внедрению современных технологий в исследовательскую работу и высшее образование в сфере гуманитарных и общественных наук; содействие институциональному развитию научных и образовательных институтов в России; поддержка развития межрегионального и международного научного сотрудничества.

*Институт имени Кеннана* был основан по инициативе Джорджа Ф. Кеннана, Джеймса Биллингтона, и Фредерика Старра как подразделение Международного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося официальным памятником 28-му президенту США. Кеннан, Биллингтон и Старр относятся к числу ведущих американских исследователей российской жизни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя Джорджа Кеннана Старшего, известного американского журналиста и путешественника XIX века, который благодаря своим стараниям и книгам о России сыграл важную роль в развитии лучшего понимания американцами этой страны. Следуя традициям, институт способствует углублению и обогащению американского представления о России и других странах бывшего СССР. Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, он ценит свою независимость от мира политики и стремится распространять знания, не отдавая предпочтения какой-либо политической позиции и взглядам.

*Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США)* основана Эндрю Карнеги в 1911 г. в целях поддержки "развития и распространения знаний и понимания". Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в соответствии со взглядами

Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его словам, должна “творить реальное и прочное добро в этом мире”.

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги являются: образование, обеспечение международной безопасности и разоружения, международное развитие, укрепление демократии.

Программы и направления, составляющие ныне содержание работы Корпорации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической миссией, так и наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в ее работе.

В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную задачу продолжения содействия развитию мирового сообщества.

*Фонд Дэсона Д. и Катрин Т. МакАртуров (США)* – частная благотворительная организация, основанная в 1978 г. Штаб-квартира Фонда находится в г. Чикаго (США). С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в Москве и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в России и других независимых государствах, возникших на территории бывшего СССР.

Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся добиться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится способствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ; поддержанию мира между государствами и народами и внутри них самих; осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека; а также сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоровых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки исследований, разработок в сфере формирования политики, деятельности по распространению результатов, просвещения и профессиональной подготовки, и практической деятельности.

Научное издание

КОНСЕРВАТИЗМ  
В РОССИИ И МИРЕ

ЧАСТЬ I

Лицензия ИД № 00437 от 10.11.99  
Подписано в печать 23.09.04. Формат 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Объем 16,5 п.л. Тираж 500. Заказ № 809

Отпечатано в типографии ВГУ  
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 3



**МИОН**

Межрегиональные  
исследования  
в общественных  
науках

